

Қазақстан Республикасының  
Мәдениет және Елорда  
Әкімшілігі



**БАХЫТ КЕНЖЕЕВ**

**ОБРЕЗАНИЕ ПАСЫКОВ**  
(Показный процесс)

Бахыт Кенжеев

Обрезание пасынков

Вольный роман

Автор благодарит Канадский совет по делам искусств  
за поддержку его работы над этой книгой.

The author wishes to acknowledge generous support  
from Canada Council for the Arts.

Посвящается Лене Стерлинг

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:

ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА

...Поэт глядит в холодное окно.

Гармония, как это ни смешно, –

Вот цель его, точнее, идеал.

Что выиграл, что проиграл? Сергей Гандлевский

1

Спички в коробочках из тонкой щепы снабжались привлекательными этикетками, обычно печатавшимися в два цвета. Иные содержали поучительную надпись («Носите на производстве рабочую одежду – и вы сохраните ваше платье»), другие изображали упитанного глухаря из Беловежской Пущи или кита из Антарктики, третьи рекламировали услуги Госстраха или междугородную телефонную связь («Ленинград? В течение часа, ждите. По срочному? Минут через десять, но предупреждаю, срочный тариф в три раза дороже»). Опустевшие коробочки, правильно называвшиеся коробка?ми, представляли собой значительную ценность, особенно летом, когда применялись для тюремного заключения жуков, кузнечиков, изредка – обитавших под камнями сороконожек. Всего интереснее были полосатые гусеницы, которые от отчаяния начинали оплетать себя густой паутиной, быстро ссыхавшейся до коричневого панциря. Коробок с образовавшейся куколкой следовало

приоткрыть, чтобы возникающая из нее бабочка не поломала крылья и могла спокойно улететь восвояси, навстречу непривычной воздушной жизни.

Из двенадцати коробков (охотно отдававшихся мальчику соседками) изготовлялся комод с выдвигаемыми ящичками, обклеенный плотной зеленой бумагой; правый верхний отводился под главную драгоценность – полтинник 1924 года с изображением могучего кузнеца над наковальней, содержащий, как сообщала надпись на ободке, сколько-то золотников чистого серебра. Общих спичек на коммунальной кухне не наблюдалось: очевидно, не умели договориться о том, кто и в какую очередь будет отвечать за возобновление запасов. Странно, потому что коробок обходился всего в копейку, то есть деньги никакие даже по тем временам, а спичек в нем насчитывалось не менее полусотни. (На спичку годится не всякое дерево, но лишь презируемая и негодная к иному употреблению осина – любил повторять мальчик отцовские слова.) Зато на каждой из трех газовых плит помещалось по пустой консервной банке; таким образом, отработанные, с обугленным кончиком спички не засоряли окружающей среды, а также пригождались для зажигания одной конфорки от другой. Банки покрыты копотью: изнутри – по понятной причине, снаружи – по необъяснимой. Длинноклювых хозяйственных зажигалок с пьезоэлементом, распространившихся лет пятнадцать спустя, еще не существовало. Впрочем, и обычная одноразовая зажигалка для курильщика встречалась редко (подарок от иностранного туриста, спросившего дорогу, сувенир из Болгарии). Когда газ кончался, изящное и полезное устройство относили в мастерскую «Металлоремонт» в Левшинском переулке, рядом со скрипучими железными воротами загадочного Института имени Сербского («Точка и клепка коньков. Заправка зажигалок. Ремонт утюгов. Пайка и лудильные работы» – в столбик, словно стихи Маршака, перечислялись услуги мастерской на жестяной вывеске у дверей). Поблескивая нержавеющей зубами, как и полагается при таком ремесле, мастер отвлекался от рассыпанных перед ним железок неопределенного назначения, деловито брал зажигалку натруженной мясистой рукой. Раздавался мгновенный не то скрип, не то визг – это просверливалось отверстие в пластмассовом доньшке. Затем в него вставлялся клапан для перезаправки и звучал змеиный шип – это в нутро приборчика заливался сжиженный газ. Операция стоила недешево – три новых рубля, однако подвергшаяся ей зажигалка становилась

практически (мальчик любил это слово) вечной. Замена стершемуся кремню покупалась в табачном киоске за четыре копейки; серый цилиндрок поражал своей крошечностью и готовностью потеряться мгновенно и навсегда. Действительно – менять кремь отцу приходилось самостоятельно, а ведь к колесу зажигалки его подталкивает пружина, похожая на рессору кареты для эльфов. Одно неверное движение – и новенький кремь, иногда вместе с пружинкой, отскакивал на невозможное расстояние и, главное, в неизвестном направлении. Искали, ползая по полу, всей семьей и находили далеко не всегда – щели в дощатом полу были немногочисленны, однако довольно широки. У отца имелась еще трофейная зажигалка – алюминиевый брусочек с откидной крышечкой. Доньшко при нажатии отскакивало, внутри обнаруживался кусок чего-то схожего с ватой, на которую полагалось наливать авиабензин из особого стеклянного флакончика. Но пользоваться ею отец не любил, потому что одна из стенок была украшена выгравированным фашистским знаком.

Сам я слишком много курю и вдобавок неаккуратен в привычках; зажигалки появляются и исчезают в моих карманах, словно пришельцы с Проксимы Центавра. Несомненно, покупаю и похищаю у знакомых, но скорость утери и мстительного обратного воровства превышает скорость приобретения; кроме того, иногда газ в чудом сохранившейся последней зажигалке кончается, а на месте мастерской «Металлоремонт» давно уже обустроена модная лавка. Добрый приятель в один из своих нечастых приездов подарил мне купленное на блошином рынке увесистое стационарное устройство (бронза, покрытая благородной патиной, дубленая кожа, основание из камня змеевика), но купить для него авиабензин не доходят руки. Имеется в хозяйстве еще один дареный предмет: огонь выходит у позолоченного козлика изо рта

после нажатия на кокетливо приподнятую переднюю ногу, заправка газом обеспечивается с помощью шутового отверстия под хвостом животного; на постаменте бурой пластмассы надгробная надпись: «Изумительное высококачественное изделие китайского народного промысла». Рабочая конечность у сногшибательного изделия через пару дней сломалась, запасы газа в брюхе истощились, но выбрасывать фигурку жалко. Я прикуриваю от раскаленных нагревательных пружиннок тостера, довольный тем, что нашел применение застоявшемуся предмету бытовой техники. Неудобно? А попробуйте прикурить от электрической плиты. Все познается в сравнении.

2

Красота мира в его ежедневном существовании и развитии достается нам даром и, следовательно, остается неоцененной. Мы странствуем в поисках непривычного, забывая о том, что красота заключается едва ли не в любом предмете, рассеяна едва ли не в самом воздухе, которым мы дышим с целью окисления питательных веществ. Мало кому выпадает счастье постоянно любоваться миром и уж тем более – убедительно сообщать свой восторг соплеменникам. Полагаю, что дело не только в пресыщении (что имеем – не храним, потерявши – плачем), но и в том, что красота (как и все остальное) без любви – ничто. А с любовью у нас, людского племени, известные трудности. Умеем ненавидеть, обучились щуриться высокомерно и брезгливо. Умеем, как зверки, совокупляться в ночной тьме, забывая, что совершаем таинство. Между тем жизнь проходит, как последняя электричка. Ты прекращаешься – и вся вселенная исчезает. Не успеваешь осесть и растаять подмосковный снег, снегирям не хватает времени расклевать яростные ягоды бесполезно пылающей рябины. Уже никогда не дойти до подслеповатого сельпо утомленному жизнью прохожему довольно средних лет в набухшем от дождя драповом пальто и угловатых ботинках остроумной фабрики «Скороход», чтобы обменять свои сиротские рубли и копейки на буханку «Орловского», сигареты «Ява» и немецкое существовательное портвейн, источник православной радости. Как их всех не пожалеть, болезных (а ты ведь и сам не долговечнее), как не вспылать к ним женской жертвенной любовью. Вот вам, господа хорошие, и неопалимый источник красоты, или, скажем точнее, гармонии.

Угощайтесь.

Разнокалиберные и разновозрастные, помятые и несозревшие, рассаживаются за столом, покрытым ветшающей клеенкой мироздания, и справедливо присваивают происходящему имя

застолья. Шпроты в черно-золотой баночке и полукопченая колбаса, быстро сереющая на разрезе, расхватываются стремительно, сыр ярославский и капуста квашеная – неторопливее. Салат оливье удался. Студень схватился. Картошка в мундире исходит целебным паром. Обязательно находится какой-то неудачник, хватающий чаще и проворнее прочих; на него косятся с беззлобным неодобрением. Предлог: допустим, несомненный день рождения одного из разнокалиберных и разновозрастных. Пирующие незначительны перед лицом Господа: небогаты, невезучи, не слишком одарены (как, впрочем, и все остальное человечество). Рюмочки в виде граненых конусов мутного и невежливого стекла, поставленных на худые ножки с круглыми основаниями. Вилки библейские мельхиоровые. Год оруэлловский метафорический или десятью-двадцатью годами раньше.

Если никто не перепьется, выстроится праздник любви, могу поручиться. Неумелый, неуклюжий, истинный. Будут с просветлевшими лицами тянуть разрозненным хором про подмосковный городок, про эх-дороги-пыль-да-туман, будут поднимать рюмочки за

именинника, потом за всех присутствующих по очереди, даже за оголодавшего неудачника с двумя полукопченными кусочками, завернутыми в носовой платок и припрятанными в задний карман широких штанов. Будут вставать, выпивая за прекрасных дам вообще и за хозяйку, чьи перманентные кудри выкрашены гэдээровским красителем в цвет фальшивого красного дерева, в частности. Будут выходить курить на лестничную клетку. И вообще

будут.

Нет, вряд ли можно жить без любви. О чем отмечалось еще в дряхлой советской песне: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?»

Итак, лемма: наполненность мира красотой можно осознать исключительно через любовь.

Проверял: заставлял себя забыть о своей тогдашней страсти к временно прописанной взволнованной деве с 11-й линии Васильевского острова, содержавшей в съемной коммунальной комнате порученного кем-то сиамского кота, недоброго и назойливого. Сойдя с душного поезда, всласть отстучавшего по рельсовым стыкам, задерживал взгляд, скажем, на мартовском московском дереве с безжалостно отпиленными ветками и вершиной – в те годы это считалось лучшим способом борьбы с тополиным пухом. Дерево и дерево, хотя скорее высокий пенёк, только уж очень искалеченное. Пробудится ли, подобно Лазарю? Или не переживет борьбы победивших фабричных с бронхиальной астмой и весенней аллергией? Потом прерывал самовнушение, позволяя себе вспомнить о своей барышне с короткой стрижкой и несложившейся по моей вине личной жизнью. Полумертвый обрубок преображался. Я вдруг замечал, как борется он с гибелью, как сохранившиеся рудиментарные почки дают начало новым побегам, как [

следующая страничка рукописи утрачена ].

3

В сравнительно недавно воздвигнутом шестиэтажном «Детском мире» на площади Дзержинского предлагались за рубль с чем-то крошечные электромоторчики, работавшие от тогдашних семнадцатикопеечных батареек размером с сигаретную пачку, приятно оттягивающих руку, с двумя алюминиевыми, а может быть, и лужеными язычками на верхней плоскости. Язычки приклеивались к поверхности бумажной полоской, которую следовало отодрать, а затем лизнуть оба язычка одновременно, чтобы почувствовать кисловатое биение электрического тока.

В ящике с хозяйственными предметами всегда проживал запас медных проводков в праздничной разноцветной изоляции: рабочие то и дело бросали на улице ненужные куски свинцового телефонного кабеля (иногда довольно длинные), где их было сплетено десятка два-три.

Оболочка кабеля плавилась на коммунальной кухне, в консервной банке или (тайком от родителей и соседей) в самой маленькой из материнских кастрюль. Жидкий металл выливался на потертый желто-коричневый кафель пола для получения увесистых, неправильной формы бляшек, напоминавших блинчики-недомерки, выпекавшиеся иногда Басей Григорьевной под презрительное прысканье других соседок (

«Вымешивать ей толком лень, да и выстояться тесто не успевает, чему же вы удивляетесь, Ирина Леонидовна!»). Иногда кафель возмущенно трескался. Посияв пару дней, бляшки покрывались тусклым налетом и переплавлялись снова, а чаще терялись или выменивались

у приятелей на плексигласовый шарик или патрон от мелкокалиберной винтовки (отломать пулю, высыпать порох, далее – либо ударить по гильзе молотком для получения оглушительного хлопка, либо применять гильзу в качестве пронзительнейшего из свистков). При выливании же свинца в холодную воду та пузырилась, вскипая, а металл превращался в подобие неясного изваяния – не то куст, прозябающий в тундре на заполярном ветру, не то недобрый дух с бессчетными неправильными конечностями и искаленным злым тельцем.

Содержимое кабеля – разноцветные проводочки – использовалось для плетения колечек и браслетов (девочками) или держалок для ключей (мальчиками), а также для непредсказуемых домашних надобностей: прикрутить, продеть, повесить, скрепить. Если же зачистить два-три сантиметра на конце проводочки (пламенем спички, например), пластиковая изоляция чернеет, вспыхивает, чадя, и следует уловить верное мгновение, чтобы стащить ее, размягченную, пальцами с медной проводочки. Поторопишься – обожжешься, помешкаешь – она вновь застынет и сцепится с основой прочнее прежнего. Когда обнажена достаточная длина проводочки, ею обматывается один из язычков батарейки; другой конец крепится к клемме (сочное, незнакомое слово) моторчика, поблескивающего позолоченными боками. По словам отца, ни о какой позолоте речи не шло, а желтый цвет объяснялся игрой света на невидимой пленке прозрачной окиси. Хорошо бы для верности обмотать контакт изолентой. Липкая серая полоска прорезиненной ткани свернута в рулон, похожий на жернов; отделяясь от следующего слоя, она издает едва слышное недовольное потрескивание. Но изолента куда-то запропастилась, а время не ждет.

То же самое проделывается с другим язычком и другой клеммой. Упоительный миг замыкания цепи: моторчик начинает жужжать, ось приходит во вращение столь стремительное, чуть ли не тысяча оборотов в секунду, что оно остается едва заметным.

Первое, что мальчик делал с запустившимся моторчиком, – насаживал на ось крошечный полиэтиленовый пропеллер, продававшийся для нужд авиамodelистов. Получавшийся вентилятор отличался неустойчивостью: следовало бы поначалу молотком прибить моторчик гвоздиками (пользуясь четырьмя отверстиями в его основании) к плоскому куску дерева (все это, вероятно, отыскалось бы в хозяйственном ящике, хранившемся в кладовке). Скоропалительное изделие приходилось держать в руках, выключатель отсутствовал. Все это испугалось, однако, наличием настоящей работающей вещи.

Затем, насладившись ветерком, исходящим от вентилятора, мальчик брал пластмассовую соломинку (большую новинку в тогдашнем городе). В один торец соломинки для уплотнения помещался кусочек полиэтилена размером с копеечную монету (незаметно отрезавшийся от одного из пакетов, которые после мытья и сушки хранились в кухонном шкафу); затем соломинка с уплотнителем надевалась на ось моторчика. В другой торец вставлялся обломок спички, а на его выступающую часть – тот самый пропеллер. Получалась отменная, хотя и слабенькая, мешалка, вызывающая в неполном стакане порядочный водоворот.

Должно быть, когда бы не первородный грех, не проклятие Господне, вряд ли заслуженное потомками Каина, вся наша жизнь доставляла бы нам такую же бескорыстную радость, как в детстве.

4

Как известно, КПД поэтической деятельности неправдоподобно низок.

Один, реже два сборничка бесспорных лирических текстов остается даже и от самых выдающихся. Мне напомнят: десять томов Пушкина, восемь томов Блока, семнадцать томов

Маяковского, который справедливо и хлестко сравнивал свое ремесло с добычей радия («в грамм добыча, в год труды»). Если, однако, произвести нехитрую операцию вычитания, изъяв из того же Пушкина поэмы, сказки, прозу, письма, исторические сочинения, драматургию, то останется неизбежный сравнительно тощий томик. Вычитать из Блока и Маяковского придется другое, но в любом случае – выработанное не тем участком души, который отвечает за лирическое переживание. Быть может, самый яркий пример – Тютчев, стихотворения которого по традиции (нарушающей, к слову, основные законы научного издания) выпускаются разделенными на лирические и, в числе прочих, политические. Драгоценность первого раздела неоспорима, во втором же обнаруживаются тщательно сработанные поделки, по достоинствам не слишком отличные от «Прозаседавшихся» Маяковского.

Итак, производительность поэта невысока, но отчего же? Почему бы, обладая талантом преображать жизнь в красоту, не предаваться этому возвышенному занятию ежедневно, если не ежечасно?

Ответ, увы, неочевиден.

Даровитых художников вообще поразительно мало; мне представляется, что процентная их доля с ростом народонаселения планеты даже падает – в противном случае среди шести миллиардов человек по законам статистики в каждом поколении находился бы десяток Дантов, Шекспиров и Монтеней, как на обширной площади леса естественно обитает больше ежей и ужей, чем в одном отдельно взятом бору. Впрочем, кроме теории вероятностей, существует еще и воспетая Марксом экономика, простодушные законы спроса и предложения, вытекающие из общепринятого мировоззрения (в нашем случае: установки на рост благосостояния). В условиях избытка и относительной доступности ценностей осязаемых потребность в духовных не то что отмирает, но явно уменьшается – слаб человек, и кто его за это осудит! Если же учесть, что истинные духовные ценности скорее будоражат, чем успокаивают, скорее печалят, чем веселят, то картина становится еще яснее. (Вероятно, по той же самой причине сегодняшнее общество, несоизмеримо более зажиточное, чем три-четыре столетия назад, предпочитает воздвигать на свои средства не соборы, а офисные небоскребы.) В условиях равновесной демократии тиражи хорошей литературы на душу читающего населения куда скромнее, чем лет двести назад; в условиях зрелого социализма книга – предмет дефицита, и, думается, при переходе к более осмысленному общественному устройству любовь к чтению у нас, русских, ослабеет сама собой, а с нею сойдет на нет и привлекательность литературных трудов для молодежи.

Вернемся, однако, к поэтам-ленивцам, хронически не вырабатывающим свою норму. Частый мотив у Пушкина (унаследованный от романтиков) – это

*dolce far niente*, сладкое безделье. Одни поэты служат, кляня свое постылое ярмо; другие перебиваются случайными заработками; встречаются счастливцы, не горбящие спину вовсе. Правда, со временем источники их доходов забываются или вспоминаются как нечто забавное, подобно службе Т.-С. Элиота клерком в банке или Тютчева – председателем «комитета цензуры иностранной» (не помню, чтобы он запретил издание хотя бы одной переводной книги). Между тем Державину (как, впрочем, и Гёте) случалось бывать и министром финансов; Лермонтов нес обычную армейскую службу со всеми ее тяготами и опасностями, Мандельштам во второй половине 20-х годов надрывался над переводческой халтурой, случай Пастернака слишком известен. Однако непосредственной связи между внелитературной трудовой нагрузкой и производительностью поэта, пожалуй, не усматривается: человек и автор пересекаются мало. Сказать по чести, пресловутая поэтическая лень – не более чем один из видов кокетства. Вспоминаются знаменитые китайские сферы из слоновой кости, вложенные друг в друга; каждая следующая внутренняя вырезалась сквозь узкие отверстия в окружающих ее внешних. На изготовление иных безделушек, содержащих до двадцати восьми подобных шаров, могла уйти вся жизнь мастера. Низкая производительность поэтов свидетельствует лишь о редкости гармонии и

мучительной сложности ее постижения. Жизнь в целом вряд ли прекрасна; мы способны умиляться ее светящимся проявлениям, отчаиваться от чернеющих, словно крыло мертвого ворона на свежем снегу, но подлинный ее смысл, боюсь, навсегда останется неуловимым. (Замечу, что гениальные фотографы, казалось бы, норовящие различать гармонию в самом непосредственном зрительном впечатлении, то есть, вроде бы, при самом скромном вмешательстве творческого начала, встречаются немногим чаще, чем гениальные живописцы.)

При этом художник, ощущая он себя самым что ни на есть небожителем («Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»), несомненно, является не только и не столько демиургом, сколько простым смертным («...но божество мое проголодалось...»). Испытав на себе тяжесть сочинительства (точнее,

вынашивания стихов), он нередко поддается соблазну занести на бумагу нечто, возникшее не на божественном, а на человеческом уровне, то есть на уровне мысли без участия страсти. (Отсюда затершееся от цитирования пушкинское: поэзия, прости Господи, должна быть глуповата.) Получается провал, холостой ход.

Как бывший поэт могу засвидетельствовать, что это, видимо, одна из причин, по которой стихотворцы так тянутся к прозе. Им кажется, что этот способ создавать гармонию не требует столь изнурительной и малопродуктивной работы сердца. Увы, у прозы, как я выяснил на собственном горьком опыте, имеются свои тайны, свои хитрости. Но об этом я напишу лет через двадцать – двадцать пять.

5

Сердась на своих небольших детей, молодые матери твердили: сколько раз тебе повторять, не пей из-под крана! Водопроводная вода, предположительно нечистая и припахивающая хлором, хотя мальчик этого не замечал, считалась пригодной для питья только после кипячения. Но кипяченая (не помещавшаяся в забитый холодильник) всегда была противно тепловатой, а из-под крана, если дать ей стечь, даже летом несла в себе холод земных глубин, откуда приходила по железным трубам.

(

В такой тесноте и в такой темноте, как прочел он про эту воду много лет спустя.)

Чаевничали под шелковым оранжевым абажуром, пили из узбекских пиал с золотым ободком, украшенных синими цветами хлопчатника. Индийский чай встречался редко, но стограммовая пачка с изображением радостного слона на фоне условных мусульманских куполов включалась в праздничные наборы, так называемые заказы, которые родителям два-три раза в год позволялось приобретать по месту службы. На полках гастрономов пылился грузинский в пятидесятиграммовых пачках из оберточной бумаги под марками, которым присваивались необъяснимые номера. Тайное знание: смесь номер, кажется, 36 содержала не только отечественный чайный лист, но и известную долю хинди-руси-бхай-бхай. Чай заваривался, понятное дело, в фаянсовом чайнике, трижды ополоснутом крутым кипятком – ни в коем случае не в эмалированном! (На крышке чайника, как и на изогнутом носике, обязательно темнело по давней щербинке.) Однажды в доме появилась так называемая

баба, ситцевая кукла с цветастой юбкой на вате, которую сажали на чайник, чтобы тот медленнее остывал. Заварку разбавляли кипятком из другого чайника, алюминиевого. Взрослым кипятку наливали поменьше, мальчику – побольше. Иногда на блюдечке подавался

лимон, разрезанный на тонкие ломтики. Сахар покупался двух видов: песок и пилёный. Первый накладывался в чай, второй предназначался маме для чаепития вприкуску и раскалывался на небольшие кусочки крутобедрыми никелированными щипчиками. Бытовал, впрочем, и сахар-рафинад быстрорастворимый, досадливо отвергавшийся семьей, поскольку, не имея никаких преимуществ перед песком, не годился и на роль заменителя пилёного: слишком стремительно, как и обещало его название, растворялся во рту, и полноценное чаепитие вприкуску не удавалось. И уж совсем легендой был иногда появлявшийся сахар колотый, куски неправильной формы, которые постепенно исчезли из продажи безвозвратно – а ценились куда больше пилёного.

Да, а еще любой чай в пачке назывался

байховым. Лишь годы спустя мальчик узнал, что слово это (от китайского

бай-хоа ) означало всего лишь листовый, рассыпной чай, в отличие от кирпичного, спрессованного, который в годы его детства если и продавался, то разве что в среднеазиатской глубинке или, может быть, в загадочной республике Тува, где сородичи монголов часами кипятили свой чай с бараньим жиром и верблюжьим молоком в буддийских бронзовых котлах. Ночью мальчик, просыпаясь от жажды, топал на кухню, где на столике его семьи, на серо-зеленой клеенке, стоял заварной чайник, и с наслаждением выпивал из носика густую горчащую черную жидкость. Утром озадаченные родители снова заваривали чай, подозревая в похищении заварки то одну, то другую соседку.

Пили также квас. Поздней весной в переулок по утрам пригоняли желтую цистерну, подсоединенную, в рассуждении санитарии и гигиены, к водопроводной сети. Собственно, о том, что ее именно пригоняли, мальчик догадался самостоятельно (один из первых уроков отвлеченного мышления), потому что неискушенный мог подумать, что она стоит на углу вечно. Но ведь квас иногда кончался, размышлял мальчик, значит, цистерну следовало снова наполнить, а для того – увезти. Очевидно, увоз цистерны осуществлялся во мраке ночи, а возвращение – утром столь ранним, что по дороге в школу она уже осваивалась на своем месте и веселая женщина в белом халате (признаемся, не самом чистом на свете) уже сидела на своем складном стульчике, выполняя общественно полезный радостный труд. Перед продавщицей располагалось подобие откидного прилавка, а на нем – алюминиевый круг с подведенным шлангом, от нажатия на который испускался фонтан воды, очищавший грязную кружку, подозрительно похожую на пивную. Кстате, кружки были разные – на двести пятьдесят граммов и на поллитра, ценою три и шесть копеек соответственно.

В жаркие дни у цистерны теснилась очередь. Многие держали в руках авоськи с пустой трехлитровой банкой внутри. Просили наполнить банку и еще налить маленькую кружку: небольшой подарок самому себе за томительное топтание, медленное продвижение. Медяки на фаянсовом блюде у продавщицы – мокрые, коричневатые, липкие от капель попадавшего на них кваса. Так было летом, а в осенне-зимний сезон (мальчику нравилось это важное газетное обозначение прохладного времени года) употребляли напиток, называвшийся

гриб. В той же трехлитровой банке на окне рос огромный, во всю ширину сосуда, кусок влажной плесени, который заливался разбавленным сладким чаем. Чай придавал напитку терпкость, сахар перерабатывался грибом (напоминавшим медузу из «Детской энциклопедии») в кислоту и углекислый газ. Напиток сливался через марлю, чтобы в него не угодили куски плесени.

Лучше всех, разумеется, была газировка в бутылках, которая покупалась на дни рождения и праздники: сладкая, с резким запахом грушевой или мандариновой эссенции; при неосторожном открывании она выплескивалась, подобно шампанскому, из своего темно-зеленого хранилища. Как бы противовесом ей служил отвратительный горько-соленый боржом в таких же бутылках, которым поили мальчика во время болезней. Этикетка у него

всегда была потерянная, а к самой бутылке приставали ошметки соломы, добавлявшейся в ящики с целью сохранения стеклотары во время длительного железнодорожного пути.

А в табачных и газетных киосках в углу витрины обнаруживались четырехкопеечные пакетики с линялой красной надписью «Шипучка». Собственно, надпись была какая-то другая, но это уже неважно. В пакетиках содержался белый порошок (сода, лимонная кислота, сахар), при высыпании в воду начинавший живо пузыриться и в конечном итоге превращавшийся в полноценную газировку. Вот где пригодились мешалка на батарейке, присоединенная к электрическому моторчику.

6

Сознательно отказавшись от сочинений в рифму, я все-таки помню, что сегодня – мой поэтический день рождения.

Десять лет назад я написал свои первые двенадцать стихотворений. До этого было только три безделицы, изготовленные в девятом классе, которые я, затаив дыхание, показывал тогдашнему своему товарищу Саше С., отчасти связанному с литературой: он был сыном неудавшегося драматурга. Впрочем, похвалам его (а были ли они?) верить в любом случае не стоило. Тогда же, кстати, в девятом классе, я решил попытаться счастья в прозе. Двухкопеечная тетрадка в линейку, содержащая начало моего первого романа, давно потерялась. Сам я запомнил из него фамилию главного героя:

Широков, в соответствии с добрыми традициями посредственной советской литературы. Впрочем, помню еще, как звездолет приближался к неизвестной планете, проходя сквозь густые облака .

Первые стихотворения записывались на обороте бланков библиотечных требований физического факультета МГУ, впоследствии указавшего мне на дверь за ненужностью. Год стоял: 1969.

(Только что сообразил: между 1953, когда открылся университет, и 1969 годами прошло всего 16 лет. Это означает, что на время моего поступления здание МГУ, казавшееся мне вечным, было еще сравнительно новым. И действительно, в продуктовой ларьке при студенческой столовой еще висели рекламы начала пятидесятых годов – какао и что? Ах да, пищевые концентраты: каши, супы, сухофрукты.)

Видимо, задолго до 1953 года согласовывалась смета на оснащение библиотек университета. Утверждались дубовые (о да!) столы, добротные полукресла с мягкими дерматиновыми сиденьями, ласковые лампы с зелеными стеклянными абажурами и – в последней, должно быть, строке сметы, – бланки требований, печатавшихся все тем же зеленым цветом на дефицитной мелованной бумаге. Выписывая требование, я украдкой похищал нетолстую стопку бланков, штук, должно быть, двадцать-тридцать, и прятал их в карман своего кургузого студенческого пиджачка румынского, помнится, производства. О сочинениях я еще не думал, но слишком уютной и приятной на ощупь была поблескивающая бумага. Пригодится, размышлял я.

В главном здании МГУ, в зоне, если не ошибаюсь, Д...

Зонами отдельные секции огромного здания назывались всегда и всеми, но – неофициально. Правильное название было «корпус». Легенда гласила, что слово «зона» взяло начало от

строительства МГУ трудом заключенных. Кажется, Саша Сопровский, хохоча, предложил однажды вместо того, чтобы строить памятник жертвам массовых убийств 30-х годов, объявить таковым весь университетский комплекс.

Да, в зоне Д размещался так называемый профилакторий. Подавший заявление в профком (следовало приложить справку от врача о наличии у просителя

вегетососудистой дистонии, номинального недомогания, означавшего общую слабость и необходимость в отдыхе) с большой вероятностью и за ничтожные деньги, чуть больше половины месячной стипендии, получал путевку в профилакторий на двадцать четыре дня. Это означало отдельную комнатку в 6 кв. м (душ и туалет делились со счастливицом, обитавшим в зеркальном отражении моей комнатки по соседству, дверь в дверь), чистое белье, трехразовое питание (фрикадельки, салат из свежей капусты, паровые котлетки, компот, кисель, макароны по-флотски, треска жареная с картофельным пюре). Приводить гостей не позволялось, но в девятнадцать лет мне этого и не требовалось. За ладным письменным столиком, в стандартном полукресле, любясь видом из окна, за которым медленно осыпалась желто-серая керамическая плитка со стен противоположного корпуса (зоны?), я исходил счастьем. И то сказать – пресловутая *privacy* в те годы была явлением еще более невиданным, чем сейчас; полагаю, что до профилактория я вообще никогда не жилал в одиночестве.

Стихи сочинились не просто так: уже год с лишним я был дружен с сокурсником Яшей М., молодым человеком столь же просвещенным, сколь утонченным. Ему-то и сообщил я, получив в ответ недоверчивую усмешку, что нынешняя поэзия жалка и если мне дадут

условия, то есть уединение, отсутствие алкоголя и приятелей, то я в первый же вечер сочиню шедевр.

Условия воплотились в жизнь: уже, признаться, подзабыв о своей похвальбе, я оказался в уединении, имея в распоряжении стопку библиотечных требований и шариковую ручку. Правда, моя путевка пришлась ровно на время зимней сессии; все пространство письменного столика было завалено учебниками по механике, математическому анализу и истории партии. Предстояло сделать выбор: преодолеть соблазн стихотворчества и готовиться к экзаменам не за страх, а за совесть, чтобы, кстати говоря, получить повышенную на двадцать пять процентов стипендию, либо отдаться зовам музыки, рассчитывая, что как-нибудь обойдется. Разумеется, я выбрал второе и никакой повышенной стипендии не получил. Впрочем, виной тому, кажется, стала тройка по истории партии. Сочинительство оказалось несовместимым с этой своеобразной дисциплиной, из которой я запомнил только разницу между абсолютным и относительным обнищанием пролетариата в изложении нашей незамысловатой преподавательницы.

«Ну, – объясняла она, – абсолютного обнищания пролетариата в капиталистических странах уже давно нет, так как он, пролетариат, уже сто с лишним лет как успешно – и отчасти под вдохновением победившей революции в России – борется за свои права. Однако имеется

относительное обнищание. А именно: если бы в Америке установилась советская власть, то пролетариат там был бы раза в три богаче».

Впрочем, шедевров, как и следовало ожидать, тоже не получилось.

Облупившуюся зеленую беседку в центре двора окружал хоровод столетних лип, шуршащих ветками зимой и шелестящих летом. В песочнице копошились дошкольники в фиолетово-синих байковых костюмчиках, в беседке оживленные отцы семейств передавали друг другу прозрачную бутылку, понемногу отхлебывая из горлышка и закусывая пухлыми солеными огурцами, похожими на состарившиеся дирижабли. Дом мальчика в конце двадцатых годов надстроили, и потолки на верхних трех этажах были заметно ниже, чем на первых. Тяжелый, тронутый ржавчиной навесной замок на двери чердака иногда забывали запирать (мальчик с дворовыми друзьями проверял состояние замка едва ли не ежедневно). Под наклонными сводами чердака темнели разошедшиеся комоды, толстостенные сундуки, охромевшие венские стулья с гнутыми ножками, исходили затхлостью картонные коробки с пожелтевшими письмами с фронта и семейными фотографиями, на которых неизвестные и, скорее всего, давно умершие отличались особой серьезностью и торжественной четкостью очертаний. В окошко чердака открывался вид на котлован (где вскоре начнет испускать клубы теплого пара открытый бассейн «Москва»), за ним сияли церковные луковицы Кремля.

Дом царил над окрестностями, как крепость, окруженная с двух сторон кирпичными стенами, а с третьей стороны – замыкавшей двор группой приземистых домов попроще, пропахших изнутри чем-то резким – подгнившим деревом и нафталином, как понял мальчик годы спустя.

Поднимаясь по парадной лестнице к приятелю, мальчик останавливался перед полусодранным плакатом, лет сорок назад наклеенным прямо на стену лестничной площадки второго этажа. Главная надпись – под которой более мелким шрифтом следовала подробная инструкция о получении в Госстрахе пособия на похороны – еще различалась. Черный и парадный ходы сообщались через неглубокий подвальный этаж, в котором и жил мальчик. В почтовом адресе полагалось писать «квартира 1 п/п», то есть

полуподвал, как он не без гордости объяснял товарищам. Действительно, такого адреса больше ни у кого не было. Что помещалось в полуподвале до революции – бог весть. Должно быть, те ужасные рабочие казармы, где изможденные и полуголодные фабричные с туберкулезным кашлем слонялись по тесным сырým коридорам.

Туберкулез давно побежден: школьная медсестра царапала предплечье острой иголкой, и это называлось

пирке. Если царапина распухла, Тамара Викентьевна качала головой и делала примерно в то же место укол крошечным шприцем. Это называлось

манту. Может быть, у кого-то реакция и была положительной, может быть, и притаились в организме злобные бациллы, но для таких убогих существовали лесные школы и санатории, откуда они вскоре возвращались без следов болезни. В одну из зим вдруг стало часто звучать внушительное слово

полиомиелит. От него лечили просто – давали всем школьникам по сладкому желтому драже. Видимо, болезнь была совсем несерьезная.

А вокруг теснились скрипучие особнячки, по московскому обычаю также покрытые желтой штукатуркой. Там, где она обваливалась, обнажалась крестообразно уложенная дранка, а под ней – потемневший от возраста сосновый брус. На одном из домиков серела гранитная мемориальная доска с парным профилем, сообщавшая мальчику, что здесь жили не возбуждавшие никакого любопытства братья Танеевы. Не считая двух-трех тяжеловесных доходных домов, выстроенных в начале века (и державшихся усилиями облупившихся грудастых кариатид), окрестности были малорослыми и густонаселенными. Проветривали с помощью форточек: книга по домоводству сообщала, что они обеспечивают наилучший режим освежения воздуха без выстуживания помещения. У одних форточки открывались особой палкой с крючком, другие залезали на подоконник, смешно стояли на коленях, дергая

неподатливую щеколду, и, неловко слезая, издавали довольное «уф». Рамы, разумеется, были двойные, в пространстве между ними клали толстый слой ваты, изображавший снег. От влажного дыхания многочисленных жителей оконные стекла покрывались морозными узорами. Это было красиво, но непрактично: приходилось раньше включать свет, да и вид из окна, каким бы скромным он ни был, все-таки необходим человеку, говорил отец, ножом соскребая со стекол ледяное великолепие, напоминавшее о словах «кактус» и «акант». Знающие люди уверяли, что бороться с ним нетрудно, следует всего лишь поставить между рамами открытую склянку с олеумом, в просторечии – купоросным маслом, или аккумуляторной кислотой. Но взять ее родителям мальчика было негде, а может быть, они опасались несчастного случая: олеум, попадая на кожу, говорят, сразу прожигал тело чуть ли не до кости. Зато на вате лежала желтая пластмассовая уточка и штук пять снежинок, вырезанных из цветной бумаги. Осенью окна заклеивали – нарезали длинные полоски газетной бумаги, варили полупрозрачный крахмальный клейстер, долго разглаживали бумагу, прилепляя ее к щелям между рамами. Иногда, может быть, раз в три года, отдирали старую бумагу: сцементированную, превратившуюся в папье-маше. Едва ли не целый квадратный метр полезной площади вдоль стен похищался радиаторами парового отопления, убранными в фанерные кожухи, но верхняя сторона их использовалась под полочки, так что потеря жилого пространства ощущалась уже не столь болезненно.

Мир казался куда более плотным, весомым и убедительным, чем впоследствии.

8

В состоянии неудержимого восторга погружен юный поэт. Все поражает его, все кажется достойным описания, а пуще всего – собственные размышления, открытия, страдания. Особенно радуется юноша (девушка), когда открывает для себя несовершенство мира во всех его проявлениях. Скверное настроение, похмелье, несчастная любовь, неустроенность жизни просятся в строки, жаждут рифм и образов.

Дистанция между жизнью и подобными стихами – невелика, качество их заведомо сомнительно.

Время идет, сменяются эпохи. Юный поэт (всякого) нового поколения с огорчением обнаруживает, что он не оригинален. Собственные стихи справедливо начинают казаться ему упрощенными и подражательными. Он задумывается и нередко приходит к заключению, что читателя следует удивить, то есть выразить те же наблюдения, мысли, чувства по-новому. Он начинает упорно работать над рифмой, над образом, наконец, над тем способом, которым он воспринимает окружающий мир и передает свои впечатления читателю. «Каноны для того и существуют, чтобы их нарушать» – вот один из нередких итогов этих размышлений.

Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Будем видеть в мире символы за каждым предметом! Будем называть лилию «еуы»! Добьемся прекрасной ясности! Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!

Это примеры из прошлого. Нынешний юный скальд то (пугливо оглядываясь) заходится солдатским матерком, то наслаждается технологическими прелестями нового века, то запузывает такой образ, что переворачивается в гробу сам Хлебников. Он ставит опыты и с формой, и с содержанием, в сладкой уверенности, что эти две составные части и образуют поэзию, что стоит вложить необычное, а еще лучше – скандальное содержание в необычную, а еще лучше – скандальную форму, – и место на Парнасе обеспечено.

Он ошибается, как сотни тысяч его предшественников, как в свое время ошибался и я. Цель

поэзии состоит не в содержании и не в форме, а, боюсь, в гармонии. (Как писал недавно Сергей Гандлевский: «Гармония, как это ни смешно, вот цель его, точнее, идеал...») Правда, само это понятие требует истолкования. Словари дают подробные комментарии к музыкальной гармонии, в философском же плане ограничиваются понятием «состояние мирного порядка». Вряд ли согласился бы с этим Тютчев, видевший гармонию «в стихийных спорах», то есть в буре и урагане.

Споря с Тютчевым, Заболоцкий признавался, что не ищет гармонии в природе, что ему милее гул электростанций и удары плотницких топоров. «Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы...» Какая уж тут гармония, какая «разумная соразмерность начал»! (Заметим в скобках, что поэт совершает распространенную логическую ошибку, когда

худшее из одного множества сравнивается с

лучшим из другого множества; можно представить себе стихотворное противопоставление заката над Памиром с газовой атакой близ Ипра, что будет не менее – но и не более – убедительно, чем торжественная проповедь бывшего обэриута.)

Гармония есть сочетание красоты и справедливости. Или, в идеальном случае, красоты и добра.

Куда проще!

Однако мир наш устроен таким образом, что подобное сочетание встречается ненамного чаще, чем платиновые самородки на улицах Царево-Кокшайска.

Всякий способен ощутить гармонию. Скажем, во время свадьбы или рождения ребенка. Но чувство это недолговечно. Поэт, существо от природы восторженное, испытывает его, вероятно, легче, чем другие, и более того – способен закрепить его, выразить в своем творчестве, тем самым поделившись с читателями.

Так?

Нет, конечно.

Лет пять назад мы с друзьями прожили неделю на необитаемом островке в Карелии, собирая бруснику для последующей продажи на московском рынке. Могучий неухоженный лес, крепкие подосиновики, стальная вода озера, грозные северные закаты... Даже скрипучая подтекающая лодка казалась нам прекрасной. Все было неоспоримым воплощением той самой гармонии. Мои многократные попытки описать ее, однако, оказались бесплодными. Есть гармония общедоступная, которую – во всяком случае, средствами поэзии – ни описать, ни разделить с читателем невозможно.

Дело в том, что наш мир, вообще говоря, некрасив и несправедлив, во всяком случае, по человеческим меркам.

( Природы вековая давящая соединяла смерть и бытие в один клубок – но мысль была бессильна соединить два таинства ее...) Говорят, пути Господни неисповедимы, и где-то в вышних, в неведомой нам системе координат и ценностей, дела обстоят по-другому. Там раздавленные танками душманы наслаждаются обществом высокотехнологичных роботов женского пола, расстрелянные чекистами монахи умиленно играют на арфах, праведные индусы с облегчением растворяются в мировой стихии, счастливые избавлением от собственного «я», а удушенные циклоном Б варшавские младенцы радостно гукуют на руках у воскресших матерей.

Проверить эту воодушевляющую гипотезу, к сожалению, невозможно. Даже если она справедлива (что было бы, по выражению Набокова, невероятным сюрпризом), в

нашем мире приходится обходиться своими силами. В 1914 году французские и немецкие священники по разные стороны фронта молили Господа Бога даровать победу соответственно французскому или немецкому оружию. Когда я думаю об этом, мне становится не по себе. Равным образом, когда я пишу эти строки, иракские и иранские солдаты молят одного и того же Аллаха о победе на поле брани. Если Господь и впрямь всеблаг и всеведущ, он давно разочаровался в своей земной постановке и уж во всяком случае прекратил в нее вмешиваться, оставив нас более или менее на произвол судьбы.

Возможно, я преувеличиваю. Покидая наш мир, Бог оставил нам то, что подарил при рождении, – тягу к искусству, закономерное продолжение наших чувств, в том числе – чувства прекрасного. Немало копий сломано в спорах о взаимоотношениях разума и чувств, и не мне, с моим незаконченным образованием, подробно разбирать эти дебаты.

Замечу только, что вряд ли кто-то из нас захотел бы обитать в мире, основанном исключительно на трезвом расчете. Не захотели бы мы жить и в неандертальском мире, основанном на страстях, где невозможно было бы сколь-либо осмысленное устройство общественной жизни. Homo sapiens, лишенный чувств, едва повзрослев и обретя разум, должно быть, тут же наложил бы на себя руки по причине очевидной бесцельности земного существования. Лишенный разума... но тут я пасую. Разума в человечестве и так не слишком много, см. общеизвестные примеры из всемирной истории.

Вернемся, однако, к поэзии. Человеку свойственно тосковать по некоему идеалу. Вряд ли найдется народ, не сложивший преданий о золотом веке. Но и помимо этого существуют, несомненно, идеалы добра и красоты. Иными словами, гармония, о которой я уже упоминал выше.

В жизни эти идеалы, повторю, воплощаются редко. Истинные праведники попадают по несколько человек на поколение. И все же человек стремится по крайней мере держать гармонию у себя в поле зрения. Поскольку она недостижима и редка, художники выработали недорогие заменители гармонии в виде массового общедоступного искусства, которое служит не просветлению, а развлечению (или отвлечению, что, в сущности, то же самое).

Неутешительная особенность искусства (в том числе и поэзии) состоит в том, что оно способно выразить прочувствованную художником гармонию лишь на своем особом языке. Любой пересказ, любое переложение ведет к умалению или вообще исчезновению того высшего смысла, который содержится в произведении за счет построения речи по законам красоты. И действительно, ни один великий лирический поэт за пределами своей страны не пользуется такой любовью, как на родине, поскольку звуковое, привязанное к родному языку строение стиха не выдерживает перевода. (Так современные – весьма логические и безошибочные – переводы Евангелий вызывают значительно меньше трепета, чем устаревшие, во многом неточные, но вошедшие в плоть языка старые переложения, а Коран в научном переводе Крачковского – источник скорее читательского недоумения, чем священного трепета.)

Магазины, находившиеся в пределах пешей ходьбы, делились на скучные и удивительные. Некоторые обладали собственными именами: гастроном близ улицы Веснина назывался

серым магазином, а овощная лавка напротив бывшей церкви Николы на Могильцах –

базой, потому что именно там во время войны располагалась продуктовая база. (Война в те годы была свежим воспоминанием, а Сталин умер и вовсе недавно: мальчик еще успел застать его тело, пропитанное смесью глицерина и формалина, в усыпальнице на Красной площади.) Молочная и булочная на Кропоткинской назывались нарицательно, а вот гастроном рядом с ними носил имя

угловой.

Соль и молотый красный перец, равно как и загадочные

кардамон и

бадьян молотый, томились на прилавках любого гастронома, как, впрочем, и некоторые другие продукты, например жалобно скорчившаяся мороженая треска в серой чешуе и по-солдатски выпрямленные макароны; неизменными были также рис, пшено, манка, светло-зеленый горох и никогда не покупавшаяся, зато солнечно-желтая крупа «Артек». Молочные продукты продавались в бутылках с широким горлышком, различаясь цветом крышечки из толстой алюминиевой фольги: серебристая для молока обычного, желтая для молока топленого, зеленая для ненавистного кефира, фиолетовая (видимо, в силу поэтического созвучия) – для вязкого ацидофилина. Пустые бутылки сдавались тут же, в магазине, в обмен на полные, а крышечки сохранялись в коробке из-под зефира в шоколаде в надежде на неведомое будущее использование в хозяйстве.

В четверти часа ходьбы располагался Арбат, волшебный мир, куда мальчика посылали редко. Был царь магазинов: гастроном «Смоленский», где волновались змеистые очереди за небывалым товаром. Там продавалось масло медовое, сырное, селедочное, шоколадное, обыкновенное: соленое и несоленое. Там продавалось нечто сушеное, черное, морщинистое под названием «морской огурец». На витринах мясного отдела прятали мертвые головы под крыло серо-коричневые тетерева. Лоснящаяся икра черная и икра красная в эмалированных судках покупались, быть может, раз в год и хранились, залитые постным маслом, в двухсотграммовой баночке из-под майонеза. В эмалированный судок грудой наваливались осетровые головы, по привычке продолжавшие изображать дельфинью улыбку.

Магазин «Диета» хвастался лакомствами: больше всего мальчику нравилось дрожащее фруктово-желе в виде небольших усеченных конусов, уложенных на круглые кусочки вощеной бумаги.

А в магазине «Консервы», где из опрокинутых – также конических – сосудов наливался в стаканы сок яблочный, вишневый, томатный и виноградный, однажды промелькнуло нечто похожее на гигантскую сосновую шишку: мать объяснила, что это ананас и что по вкусу он, говорят, похож на клубнику.

10

Среди громов, среди огней,

Среди клокочущих страстей,

В стихийном, пламенном раздоре,

Она с небес слетает к нам —

Небесная к земным сынам,  
С лазурной ясностью во взоре —  
И на бунтующее море  
Льет примирительный елей.

«Парадокс в том, – писал просвещенный критик, – что в стихах Тютчева, где  
громов, огней и прочего

стихийного пламенного раздора предостаточно,

примирительного елея почти нет». И продолжает: не примирительный елей, а отчаянные попытки «заговорить» боль и ужас, раствориться в невозможных, отчаянных, не сулящих оправдания, но неодолимо рвущихся на волю словах.

Бедный исследователь!

Примирительный елей, он же гармония, он же просветление, редко имеет прямое отношение к содержанию поэзии. «Душесмутительный поэт» Баратынского постигает «меру вышних сил» «в борьбе с тяжелой судьбою» и покупает их выражение «сердечных судорог ценою». Уж каким мастером непосредственной, в открытую выраженной гармонии был Пушкин! И то: «На холмах Грузии лежит ночная мгла; шумит Арагва предо мною. Мне

грустно и легко,

печаль моя светла;

печаль моя полна тобою...»

Как смысл жизни заключен в самом ее течении, так и гармония возникает из самого существования поэтической речи. Тут мы согласимся с критиком – если речь о боли и ужасе, об отчаянии, то она именно

заговаривает эти состояния, воплощает их в Слово, подобное заклинанию или молитве.

«Поплачь, поплачь, полегче будет», – говорим мы близким в самые тяжелые минуты.

Трагическая поэзия – именно такой очищающий плач: о Господи!.. и это пережить... И сердце на клочки не разорвалось...»

Пользуясь словами того же Баратынского:

Болящий дух врачует песнопенье. Гармонии таинственная власть Тяжелое искупит заблужденье И укротит бунтующую страсть.

Душа певца, согласно излитая, Разрешена от всех своих скорбей; И чистоту поэзия святая И мир отдаст причастнице своей.

Справедливо; однако в этой чеканной формуле таится опасность для начинающих (да и не только начинающих) поэтов. Во-первых, велик соблазн преувеличивать собственные страсти – а то и вообще питаться чужими. К таким стихотворцам обращался Баратынский:

А ваша муза площадная, Тоской заемною мечтая Родить участие в сердцах, Подобна нищей

развращенной, Молящей лепты незаконной С чужим ребенком на руках.

Вспомним опус четырнадцатилетнего юноши, впоследствии ставшего лучшим русским поэтом:

Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты; Остались мне одни страданья, Плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой Увял цветущий мой венец – Живу печальный, одинокой, И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист, Один – на ветке обнаженной Трепещет запоздалый лист!..

Во-вторых, случается, что поэт подспудно радуется своим страданиям как источнику вдохновения; не говоря уж о безнравственности подобных ощущений, стихи в таком случае обыкновенно выходят негодные. В-третьих, при всем сказанном выше, мы живые люди, и чрезмерное страдание вряд ли может оказаться питательной почвой для лирических упражнений. Оно прокладывает себе дорогу в поэзию другими, окольными путями, входя в состав жизненного опыта. Казалось бы, самые драгоценные стихи должен писать поэт умирающий или лишившийся любимого ребенка – но нет, когда гремят пушки, музы молчат; на смерть любимой дочери Цветаева откликнулась всего одним стихотворением.

Здесь возможности поэзии заканчиваются; здесь, как это ни печально, усмотреть гармонию невозможно. Впрочем, Петрарка или Тютчев бы с нами не согласились.

11

По воскресеньям мальчик иногда с утра отправлялся на Арбат в Кинотеатр юного зрителя, приземистое здание, выкрашенное, как и все окрестности, в желто-белый цвет. Билеты на дневные сеансы стоили зажатый в ладони рубль, а с 1 января 1961 года – гривенник нового образца. Именно с 1 января на небольшом мраморном прилавке у полукруглого окошка кассы, напоминавшего амбразуру, появилась и начала углубляться довольно длинная царапина: всякий нетерпеливый юный зритель, переминаясь в очереди, непременно проводил по мягкому красноватому камню туда-сюда своей законной монеткой. На афишах указывались качества фильмов: цветной, широкоэкранный; впрочем, все мультфильмы и сказки уже были цветными, а экран для юных зрителей особенной шириной, как, впрочем, и высотой, не отличался. Между тем на Пушкинской площади, за спиной чугунного поэта, только что закончили сооружение нового кинотеатра, самого большого в стране, с подходящим названием «Россия». Этот действительно был широкоэкранным, и более того –

панорамным. Бабушка подарила мальчику и его родителям билеты на один из первых сеансов. Показывали «Человека-амфибию» по роману Александра Беляева. Плескалось синее море, белело множество приземистых южных зданий (снято в Одессе), благородный человек-амфибия, то есть наш, простой советский парень, которого ученые снабдили акульими жабрами, целовался под водой с черноволосой красавицей Гуттиэре – так, кажется, ее звали, – и бодрый хор провозглашал: «Лучше лежать на дне! В тихой прохладной мгле! Чем мучиться на жестокой, суровой, проклятой земле!» И еще: «Уходит рыбак в свой опасный путь, – Прощай!.. – говорит жене. Быть может, придется ему отдохнуть, уснуть на песчаном дне...» Еще много дней после сеанса мальчик надоедал домашним, напевая песенки из фильма и строя подобающие трагические (или просто печальные) рожи. И не мог заснуть на своем желтом диване, вспоминая, как отважного, несчастного Ихтиандра увозят на гибель нехорошие люди в цистерне для живой рыбы.

Фильм показался куда более цветным, чем обычные детские ленты. Кажется, именно после «Человека-амфибии» мальчику впервые приснилось, что он летит на небольшой высоте, не выше чайки, над солнечным приморским городом, различая белые барашки волн на лазурном море. Детство, словно жизнь в Эдеме, не сопряжено с бунтом. Дитя не задается вопросами ни о справедливости мира, ни о возможности его изменить. Его мир сходен с миром зверка – в клетке, на свободе ли, – который принимает все как есть. Невозможны другие родители. Невозможен другой дом. Другое солнце и другой запах палой листвы, тлеющей на Гоголевском бульваре.

А Кинотеатр юного зрителя? Печально, но запомнилась – если можно употребить это слово – лишь некая всеобщая лента. Носатая баба-яга, волшебники с палочками, летящие куда-то драконы – и все это полустертое, тускловатое, отсылающее к заключительным титрам: фильм снят на киноленте Шосткинского химкомбината. Этой надписи на «Человеке-амфибии», похоже, не было.

12

Почему поэты рано умирают?

Скользкая тема: слишком романтична, слишком опошлена, слишком взхлеб обсуждается среди юных авторов, которым безвременная гибель представляется чем-то вроде благословения с небес, своеобразной визой на страничке из книги судеб. Погиб во цвете лет? Покончил счеты с жизнью самостоятельно? Натуральный поэт, следовательно, не выдержавший грубости окружающей жизни.

Увы и ах, неурочная смерть больших поэтов, особенно в роковом тридцатисеми-тридцативосьмилетнем возрасте, – вещь слишком распространенная. Иным везет больше: в этом возрасте или около него (если дожили) они всего лишь на пять-десять лет замолкают, а потом воскресают для творчества, как правило, уже совсем иного. Поэты-долгожители порою даже ощущают известный комплекс вины перед рано ушедшими собратьями:

Взметнутся голуби гирляндой черных нот.

Как почерк осени на пушкинский похож!..

Ты старше Моцарта и Пушкина вот-вот

переживешь...

Александр Кушнер

Не будем увлекаться лежалым романтизмом: долгая жизнь поэта не означает его второсортности, тем более в наше время, когда настоящее возмужание происходит, пожалуй, куда неторопливее чем лет двести тому назад. И все же, все же, все же... Почему? Ведь если призвание одного поэта, как мы предполагаем, состоит в поисках красоты и уловлении высокой гармонии, зачем не воспользоваться долгой, прекрасной, противоречивой жизнью во всей полноте Господнего замысла? Мятужной юностью, взвешенной зрелостью, опрятной старостью? Разве не предан он своей профессии? Разве не наслаждается благосклонным

вниманием, как писал тот же Пушкин, прекрасной половины рода человеческого? Да, юношеские иллюзии неизбежно рассеиваются, но почему бы им не уступить место убеленной сединами мудрости? Сравнительное долголетие мастеров живописи, композиторов и прозаиков общеизвестно. Неужели поэтическая гармония неполна и ущербна по отношению к более подлинной, которой занимаются другие искусства? Мне доводилось встречаться с одним известным борцом с советским режимом, человеком начитанным и обаятельным, который говаривал, что поэзия имеет ценность лишь в период полового созревания, когда в крови юноши или девушки бродит избыток гормонов, а взрослый должен оставаться к ней равнодушным. Но даже мне, дезертиру, выбравшему путь более спокойный, не хотелось бы в это верить.

Впрочем, бабочка живет считанные дни, а секвойя – тысячелетия. Но и та и другая, похоже, одинаково славят Господа.

13

Никто из человеческих жителей полуподвальной квартиры не держал домашних животных: ни собак, ни кошек, нет, не уважал четвероногих друзей. Должно быть, причина состояла в тесноте и вероятном недовольстве соседей. А может быть, в том, что обитатели подвала – скорее, обитательницы – не относились к состоятельным слоям населения. Например, Бася Григорьевна Черномырдик с костистыми и длинноносими дочерьми Розой и Нюрой занимала пенальчик площадью, вероятно, не более десятка квадратных метров, где едва помещались три кровати с никелированными шариками на железных спинках да крошечный обеденный стол со стульями. Суровая Марья Ивановна с зачесанными седыми волосами, напротив, обитала в одиночку в истинных хоромах, существенно более просторных, чем комната мальчика. Зато у нее постоянно стояла полутьма: добрую половину света отбирал кусок стены, неудачно расположенный прямо против окошка. Зря она не заведет кота, думал мальчик. Он бы не только скрасил ее пожилое одиночество, но и освещал бы комнату пылающими зелеными глазами, а также электрическими искрами, возникающими при поглаживании. В шесть-семь утра все соседки помоложе расходились на работу, то есть, как понял он впоследствии, видимо, были фабричными – если не считать осанистой и загадочной Анастасии Михайловны, занимавшей комнату у самого выхода из квартиры. Большинство книг в коричневых с золотом переплетах, составлявших ее изрядную библиотеку, были скучные и к тому же набраны с ятями и фитами. Ковыляли обратно в сумерках, нагруженные авоськами с хлебом, бутылками кефира и мясным фаршем в промокшей оберточной бумаге. Сгорбившись у плиты, не без зависти поглядывали на родительский холодильник, из-за которого доля семьи в счетах за свет значительно увеличивалась. (Отец предъявил расчеты, основанные на мощности агрегата, и соседки не стали спорить.)

Жил еж под радиатором парового отопления, пыхтел по ночам, топоча по дощатому полу, сворачивался в клубок, когда к нему приставали, желая погладить по серым иголкам.

Жил уж, вернее, ужонок, бесшумно подымавший головку с раздвоенным языком, зверь, напоминавший игрушечную кобру.

Еж хрустел капустой и морковкой, иногда съедал кусочек говядины или курицы, вытягивал в Божий мир заостренную мордочку, принюхиваясь, ершась. Уж питался молоком и размоченным хлебом из блюда, прокрадываясь к нему, опять же, по безопасным ночам.

Оба довольно скоро исчезли.

Уж уполз к свободе – на смертельный для него заасфальтированный двор. Ежа отдали

знакомым по гигиеническим соображениям: он так и не научился отправлять естественные надобности в миску с песком.

Жили в клетке разнообразные чередующиеся пернатые, характерные для средней полосы России, но вспоминать о них было бы слишком грустно.

Не уверен, что рыб можно считать полноценными домашними животными, но на один из дней рождения родители подарили мальчику аквариум, в котором сновало полдюжины небольших созданий с пышными хвостами. Аквариум стоял на подоконнике. Рыбок кормили дафниями, почти невидимыми серо-зелеными тварями, за которыми ходили в зоомагазин напротив Кинотеатра юного зрителя. Наиболее характерный отличительный признак рода – сросшиеся с головой антенны самок. Кроме того, у самок обычно хорошо развит рострум, а вентральный край створок выпуклый. У обоих полов створки, как правило, несут шипики и образуют непарный вырост – хвостовую иглу. У большинства видов (кроме некоторых австралийских видов, часто относимых к роду *Daphniopsis*

) в эфиппиуме два яйца. Все щетинки антенн обычные, с длинными сетулами. Их продавали стаканами, вместе с водой. Для рыб покрупнее имелся мотыль, темно-красные червячки толщиной с сапожную нитку. Сухой корм, рассыпавшийся по поверхности аквариума: рыбки стремительно и неизящно хватили его губастыми ртами. Жизнь в чистом виде, движение в ограниченном пространстве, питание, размножение. Гуппи неприхотливы, но максимального расцвета могут достичь только при благоприятных условиях. Потомство самых породистых родителей в плохих условиях не достигнет ни их яркости, ни их пышности плавников. Для содержания десятка производителей достаточно сорокалитрового аквариума с грунтом из песка или гальки. В нем должно быть достаточно места для плавания, густо заросшие углы, грунт темных тонов и яркое освещение. Недостаток света способствует блеклости окраски. Хорошо поставить аквариум так, чтобы утром или вечером в него ненадолго попадали прямые лучи солнца. Если самцов содержать отдельно от самок, это ускорит их рост и сохранит в целостности роскошные плавники. Рыбки казались довольными, но мальчик мог ошибаться: возможно, про себя они кляли свою участь безруких, безногих, заключенных в стеклянную тюрьму, не умеющих выразить своего отчаяния. Следовало тщательно следить за беременными: живородящие, они производили на свет мальков, по размерам мало отличавшихся от дафний и циклопов, и, если сразу после родов не отсадить всех взрослых рыбок в стеклянную банку на два-три дня, они справляли бы каннибальский пир, пожирая свое новое потомство.

14

Многочисленные вещи, люди и обычаи безвозвратно исчезли за время детства мальчика, не отмеченное никакими войнами или государственными переворотами. На смену им приходили новые вещи, люди и обычаи, которые, однако, не воспроизводили старых, пускай в усовершенствованном виде, а были просто другими.

Тем, кто хранит в памяти недобрую историю двадцатого (или любого другого) века, эти изменения покажутся ничтожными. Куда им до мировых потрясений, граничащих со светопреставлением!

Ходят боты, ходят серые у гостиного двора,

И сама собой сдирается с мандаринов кожура...

– тосковал Мандельштам по нехитрой, но безвозвратно разорванной ткани сложившегося

быта.

Все меньше тех вещей, среди которых Я в детстве жил, на свете остается, – вторил ему стареющий Тарковский. Но тут речь о сокрушительной революции, о войне – им сам Бог велел губить мировой порядок. Наше поколение, родившееся в середине века, оказалось едва ли не первым в истории России, если не человечества, которое знало войну только из газетных сообщений, да и войны-то были, прости Господи,

локальные, далекие, ничуть не охватывавшие всю страну.

Отсюда, что греха таить, одолевающее меня порою чувство собственной неполноценности перед людьми с «настоящей» биографией.

Отсюда увлечение поколения постарше байдарочными походами и альпинизмом: несомненная примета благополучного общества, нуждающегося в дополнительном адреналине. В бессмертном фильме «Июльский дождь» (1967) выведена галерея молодых интеллигентов мирного советского времени, которые либо неохотно делают карьеру, либо – по безразличности к установившемуся мироустройству – не знают, как собой распорядиться. Один из них – чуть постарше – фронтовик, и это (по замыслу) дает ему решительное преимущество над остальными.

Другой бредит стройками коммунизма в далекой и романтической Сибири, тоже получая за это сто очков вперед, однако существует в фильме лишь в виде телефонного голоса, как некий призрак. Ни тот ни другой не вызывали у меня ни зависти, ни желания последовать их примеру. Война кончилась, Сибирь полна гнусом – и реальным, и метафорическим, участие в строительстве Братской ГЭС чревато потерей московской прописки и отсутствием ватерклозетов, что бы ни писал об этом в рифму Евгений Александрович Евтушенко.

Воздержимся, однако, от того, чтобы все поносить советскую власть, то есть подпадать под статью 190-3 Уголовного кодекса, предусматривающую несуровое, но весомое наказание за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй.

Беспокойство и охота к перемене мест свойственны любой стране и эпохе.

Имеют ли они отношение к гармонии, к смыслу жизни, к поэзии?

Опасаясь, что ответ если и не отрицателен, то неоднозначен.

Бальмонт воодушевленно участвовал в революции 1905 года, объездил самые небывалые страны, пережил всероссийскую славу и эмигрантское забвение – однако остался Бальмонтом. Гумилев, самая экзотическая и благородная фигура русской поэзии, остался любимым поэтом тринадцатилетних. Поколения, родившиеся с 1920 по 1940 год и прожившие мучительно трудную жизнь, кажется, так и не дали нам ни одного безусловного поэтического гения.

Нет, истинная жизнь поэта, пожалуй, разворачивается в другом измерении. Страна и история могут погубить его, могут задушить его талант – но связь между общественными потрясениями и становлением поэтического гения если и существует, то опосредованно. Господь и без того осудил нас не только на радости, но и на муки – зачем же добавлять к ним мучения рукотворные? Вольно было Мандельштаму: «Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь...»

«Кто знает, – с горечью говорила его вдова, – может быть, без этих нечеловеческих страданий Осип писал бы еще лучше...» (Не ручаюсь за точность.)

Короче, не благодаря, а вопреки. И когда я утверждаю это, мне удовлетворенно кивает тень

Варлама Шаламова, говорившего о том же с бесспорной убедительностью страстотерпца.

И действительно, одна из самых пронзительных книг Библии, книга Экклезиаста, написана обладателем всех богатств, в то время представимых.

15

Перед выборами приходил

агитатор, и все население квартиры обступало его на кухне, смеясь и уверяя, что убеждать их ни в чем не нужно, что все они, несомненно, в назначенный час отправятся на избирательный участок и проголосуют утвердительно. Иногда агитатору наливали пятьдесят граммов в граненый стаканчик, и он, поотнекивавшись осушал его с довольной ухмылкой хорошо потрудившегося человека, совершающего простительный маленький грех. Мама объясняла, что на выборы обязательно надо пойти, иначе у агитатора, такого же простого человека, как мы, будут

неприятности. С утра наряжались, как на Первое мая: отец надевал белую нейлоновую рубашку и галстук в широких разноцветных полосках, мать – выходное крепдешинное платье, желтое, в крупных алых розах. Погода, разумеется, требовала, чтобы поверх платья, под пальто, накидывался серый пуховый платок. Шествовали неторопливо, осторожно обходя лужи, образовавшиеся от таяния почерневшего мартовского снега. Иногда отец брал мать за руку. Уже на известном расстоянии от школы, на первом этаже которой оборудовался избирательный участок, слышалась деловитая музыка, сообщавшая приподнятое настроение подходившим гражданам. У входа на школьный двор звуки становились оглушительными, а внутри, в гулком и просторном актовом зале, откуда были убраны все стулья, затихали. Отец с матерью оглядывались в поисках правильного столика, над которым висела рукописная табличка с названием их переулка и номера дома, быстро находили его, протягивали паспорта и получали от девушки-общественницы избирательные бюллетени. Большинство пришедших отправлялось в дальний угол актового зала, чтобы опустить свой бюллетень в избирательную урну, то есть деревянный ящик со щелью наверху, обтянутый красным кумачом – таким же, какой шел на пионерские галстуки и первомайские транспаранты. За урнами, впрочем, располагались две кабинки, вход в которые завешивался – не кумачом, но триумфальным багровым плюшем. Никто из меньшинства, заходившего в кабинки, не задерживался там дольше чем на двадцать-тридцать секунд, зато бюллетени у них были сложены – у кого вдвое, у кого вчетверо. В таком виде они и отправлялись в урну. Вероятно, они делали это

из принципа, чтобы воспользоваться правом на тайное голосование, то есть абсурдной, но все же существовавшей возможностью вычеркнуть кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Мальчик, уже читавший газеты, раскрыл невинный секрет этих гордецов: на самом деле никто из них и не думал голосовать против! В отчете о голосовании, который на следующий день появлялся в «Правде», ясно говорилось: за кандидатов подано 99,5 процента голосов, а со статистикой, важно говорил мальчик отцу, не поспоришь.

Проголосовав, направляются в школьный буфет, где сегодня продают ярко-желтый мандариновый сок из Абхазии, горькое пиво «Двойное золотое» в бутылках, украшенных рельефом, и бутерброды: с влажной соленой рыбой морковного цвета и тускло-багровой колбасой с мелкими кусочками жира, нарезанной совсем тонко, как в магазине не умеют. Кроме того, горою громоздятся желтые хрустящие яблоки в чуть заметных черных крапинках (в очереди шепчут загадочное слово:

ливанские – и еще одно:

салями). Рыба на поверку оказывается восхитительной, яблоки – тоже, а

салями – пересоленной, переперченной, похожей на лекарство. Непонятно, что находят в ней взрослые и почему мать заворачивает два бутерброда с колбасой в носовой платок, чтобы отнести домой. Нарядная бутылка из-под «Двойного золотого», выпитого родителями пополам в тот же вечер, потом чуть ли не до лета стоит на холодильнике – сдать ее, нестандартную, трудно, а выбрасывать жалко. Соседки говорили, что на выборы выделили еще и мешок вяленой воблы, но до школьного буфета он так и не добрался, доставшись девушкам-общественницам. Жаль, подумал мальчик, у которого это было любимое лакомство.

16

Иногда воблу приносил дядя Юра. Ее полагалось поначалу крепко ухватить за хвост и несколько раз изо всей силы ударить по столу: от этого рыба размягчалась и легче чистилась. Чешуя снималась на газете, впоследствии отправлявшейся в мусорное ведро; был момент тревожного ожидания – с икрой или без икры? Икра особенно ценилась любителями, но чаще в брюхе у рыбы содержались лишь скверно пахнущие волглые внутренности да бесполезная, в общем-то, несъедобная молока. Трапеза начиналась с ребрышек, почти не содержащих мяса, за ними следовало обглодать тощий хвост, и лишь в разгаре пира, когда все косточки были обсосаны и хвост превращался в голую кость, наступало время поедания спинки – небольшого, твердого, почти прозрачного кусочка, вкус которого еще долго ласкал довольное нёбо.

Взрослые, распивающие пиво по скверам и неизвестно где достающие свою закуску, соблюдали еще один обряд: плавательный пузырь рыбы подвядливался на огне спички и с преувеличенным смакованием разжевывался. Но этой привычки мальчик понять не мог и норовил, к неудовольствию дяди Юры, пузырь выбросить сразу же после извлечения из рыбьего брюха.

Много лет спустя, уже переселившись в другую страну, он обнаружил только что открывшуюся русскую лавочку, единственную на весь город, набитую гастрономией детских времен. На охлаждаемом рыбном прилавке посверкивала жестяным серебром та самая вобла, топорща плавники с выступавшей соляной пудрой. Непредусмотренная трата была произведена. Две рыбины во всей своей красе выложены на кухонный стол. Другой мальчик, его сын, войдя на кухню, вытаращил глаза и вскричал: «Что за вонючая мерзость, папа!» Погоди, объяснял он, краснея, всякая такая рыбка была для меня в детстве праздником. Ее очень интересно разделять по давнему обычаю. Он взял одну из рыбок за хвост и с замиранием сердца ударил по столу. Во все стороны полетела мелкая чешуя. «Папа, ты знаешь, как я тебя люблю, – сказал мальчик. – Как редко я тебя о чем-то прошу. Умоляю, не приноси больше в дом эту гадость или по крайней мере поедай ее в мое отсутствие». Он со вздохом спрятал рыбу в полиэтиленовый пакет и принялся готовить мальчику его любимый полдник: стебельки сельдерея, намазанные желто-коричневой арахисовой пастой, похожей на мягкую оконную замазку.

Вспомнил: в керосиновой лавке продавалась и замазка в виде плотных увесистых брусков в пергаментной бумаге. Ее следовало хранить под влажной тряпкой, чтобы избежать превращения хозяйственной вещи в сухую, ни к чему не пригодную глину. Замазка пахла олифой; ею пользовался стекольщик, два-три раза в год обходивший двор с протяжными криками, дававшими жителям знать о его полезном существовании в их окрестностях. На толстом холщовом ремне, перекинутом через плечо стекольщика, висел ящик с

разнокалиберными оконными стеклами, мятый подбородок был небрит, а лицо сосредоточенно и печально. Седые волосы на непокрытой голове странника шевелились под апрельским ветерком, развевались, спутывались. Оконное стекло, казалось бы – вещь надежная, почти вечная. Но и оно разбивалось, а чаще – трескалось, открывая дорогу холоду и сквознякам.

Однажды отец попробовал заменить стекло самостоятельно. Многократно измерил раму маминым портновским сантиметром, записал цифры на обрывке газеты, отправился с мальчиком в керосиновую лавку. Очереди не было. Служитель в синей спецовке изучил бумажку и скрылся в подсобном помещении. Сквозь открытую дверь мальчик видел целую стопку оконных стекол, с торца окрашенную не то в лазурный, не то в бутылочный цвет. (У стекольщика в ящике они стояли вертикально.) Служитель, задержав дыхание, отделил одно из стекол от стопки и рачительно перенес его на особый стол. Деревянной плотницкой линейкой отмерил правильные габариты, извлек из кармана нечто, похожее на карандашик, и провел по поверхности стекла решительную быструю черту. Подобие карандашика издало резкий визг (похожим звуком, возникающим от потирания стекла мокрым пальцем, можно в считанные минуты довести домашних до белого каления). Чуть надавив на край стекла, служитель отломал от него ненужную полоску, затем еще одну. Край отлома оказался на удивление гладким. «Это у него алмазный стеклорез», – пояснил отец. Обзавелись также бруском замазки и пакетиком мелких, так называемых обойных, гвоздиков. Стекло не помещалось под руку, отцу пришлось – неловко, стараясь не поскользнуться, – нести его в обеих руках. Мальчик семенил рядом, стараясь не отвлекать несущего, который мог не только уронить свой груз, но и порезать пальцы, сжимавшие его с торцов.

Гвоздики, державшие старое стекло, искалеченное безнадежной ветвящейся трещиной, были аккуратно отогнуты имевшимся в хозяйстве сапожным молотком, пересохшая старая замазка отколупана ножом (не самый легкий труд). Подоконник обильно покрылся желто-коричневыми крошками. Отец, улыбнувшись, осторожно вынул стекло, покрытое снаружи пыльными разводами, и поставил его на подоконник. В комнату ворвался свободный поток живого и влажного апрельского ветра. Новое стекло оказалось на сантиметр длиннее и шире, чем требовалось. Отец побледнел, должно быть, стыдясь собственной неумелости перед мальчиком, а может быть, жалея о напрасных хлопотах и расходах. «Не огорчайся, – сказал ему мальчик, – я маме ничего не скажу». Замазка, впрочем, пригодилась – с ее помощью восстановили в правах старое стекло, приговоренное было к уничтожению, а дня через три двор огласился памятным полусорванным голосом бродячего мастера. Хмыкнув, он согласился забрать себе неправильно вырезанную заготовку и вставить новое стекло не то за половину, не то за четверть цены. «Не впервой», – сказал он, весело обнажив черные передние зубы, и мальчику запомнились эти слова. Начав возиться над стеклом, он вытянул левую руку, и мальчик заметил на полпути между запястьем и локтем шесть синих цифр. Что это было? Телефон давно покинутого дома? Или тайный знак братства бродячих стекольщиков?

17

Многие вещи, люди и обычаи необъяснимо исчезли за время детства мальчика. Потом исчезло и другое, но это случилось уже значительно позже.

В керосиновой лавке в один прекрасный день повесили табличку «Продажа керосина с такого-то числа прекращается». Это было хорошо; это означало, что по всей округе провели газ и нужда в голубоватом, опалесцирующем продукте у местного населения отпала. Но в булочной у Кропоткинских ворот, напротив котлована, где должен был стоять Дворец

Советов, а потом построили бассейн «Москва», как-то постепенно ушли в небытие булочки, называвшиеся фигурной сдобой. Мальчик больше всего любил булочку в виде лебедя с глазом-изюминкой. Однажды он отважился спросить продавщицу, возвышавшуюся за стеклянной витриной. «Не завозят, мальчик», – она пожала плечами. И жирные пирожки с капустой также постепенно испарились с московских улиц.

Правда, люди вокруг почти не умирали. Мальчик пришел в горестное недоумение, когда у дверей соседки Насти, занимавшей комнатку вместе со старой, обильно кашляющей и почти не встающей с постели матерью, появился стоявший торчком деревянный ящик непривычных очертаний: продолговатый, со скошенной пирамидальной крышкой. Значительную часть крышки покрывали без особого тщания прибитые лоскуты кумача, а сбоку был намертво приклеен ярлычок из оберточной бумаги с указанием цены и номером артикула «изделия», так и не названного по имени. Мама, кося глаза в сторону, назвала изделие и объяснила его предназначение. Из комнаты тети Насти доносились тихие всхлипывания. Мальчика одели и отвели к бабушке, жившей в получасе ходьбы, а когда он вернулся, проведя ночь на диванных подушках, уложенных на пол, ящик уже исчез, всхлипывания прекратились, и тетя Настя с помощью дяди Пети – единственного мужчины в квартире, кроме отца, – вытаскивала из комнаты односпальную кровать с панцирной сеткой. «Полежит пока в кладовке, а потом, может, и продам, – возбужденно вещала тетя Настя, и ее круглое, чуть помятое лицо шло нездоровыми красными пятнами. – Ведь рублей пятнадцать дадут, правда, Петруша?» Увечный и пьющий Петруша согласно кивал.

Люди, может быть, и не умирали, но – исчезали. Сначала исчез стекольщик: просто не явился в положенное время, и Анастасия Михайловна, имевшая в нем нужду, переживала. Потом исчез старьевщик – особая история. Потом точильщик ножей-ножниц со своим замечательным механическим станком. Дольше всех держался темнолицый чистильщик обуви на углу переулка и Кропоткинской. Отец говорил, что все чистильщики обуви в Москве – ассирийцы.

Это не мы, это они – ассирийцы,

жезл государственный бравшие крепко

в клешни,

глинобородые боги – народоубийцы,

в твердых одеждах цари, – это они...

Я проклиная подошвы царских сандалий.

Кто я – лев или раб, чтобы мышцы мои

без воздаянья в соленую землю втоптали

прямоугольные каменные муравьи?

Прочитав эти строки и затрепетав, повзрослевший мальчик усмехнулся.

Ассириец из будки пах сапожным товаром, держал небольшое, но рачительно устроенное хозяйство, всякое утро в заведенном порядке вывешивал на распахнутой дверце своего пристанища шнурки бежевые и шнурки черные, стельки войлочные разных размеров, крем для обуви черный, рыжий, белый, бесцветный в плоских круглых баночках. Он горбился

перед креслом для клиента, в ногах, голову поднимал редко и никакой бороды, тем более глиняной, не носил. Две щетки в его руках сновали по запыленным ботинкам с внушительной скоростью, а затем сменялись тряпочкой, с помощью которой наводился окончательный лоск. При необходимости он мог сделать мелкий ремонт обуви в присутствии клиента – это называлось «с ноги». На стесавшиеся каблуки прибавался клинообразный кусок резины, возвращавший им первоначальную форму; иногда набивалась также

подковка, железная пластинка с тремя отверстиями для гвоздей, предохранявшая каблук от снашивания и приятно, по-гусарски прищелкивавшая при ходьбе.

Ассириец с грубо очерченным массивным ртом, набитым мелкими сапожными гвоздями, тоже безвозвратно растворился во времени, как и обычай чистить обувь на улицах. Жаль: редко доводится видеть то простодушное счастье, которое озаряло лица его клиентов, бросавших первый взгляд на свои блистающие штиблеты.

К жареным на постном масле пирожкам (пять копеек, если с капустой, картошкой и рисом, десять – если с вареным рубленным мясом) подавался клочок голубовато-серой бумаги, отрывавшейся от рулона ленты для кассовых аппаратов. (Салфетки встречались только в ресторанах да в столовых почище, где каждая разрезалась на восемь частей.) Сами же пирожки хранились в алюминиевом ведре в глубине белой тележки, покрытые многочисленными слоями текстиля, и оставались если не горячими, то теплыми даже в двадцатиградусные морозы, которые в те годы были в Москве не в диковинку.

18

В комнате, как и положено, над столом висела лампа в оранжевом абажуре с кистями. Ткань абажура носила имя, которое подошло бы принцессе, –

вискоза. У изголовья родительской кровати на тумбочке притулилась настольная лампа в виде грибка с тускло-зеленой эмалированной шляпкой. В нее вкручивалась слабая, всего в пятнадцать свечей, лампочка, чтобы не мешать мальчику спать, когда мама читала перед сном журнал «Работница» или газету «Неделя». Лампочка в абажуре – мощная, не менее шестидесяти свечей, – освещала только круглый стол, покрытый клеенкой в цветочек, оставляя значительную часть комнаты в полутьме.

Необходим был торшер.

Во многих домах уже появились приземистые столики на тонких раскоряченных ножках, которые назывались журнальными. За ними, если верить «Работнице», «Юности» и «Неделе», следовало мелкими глотками пить кофе по-турецки, листать альбомы с репродукциями импрессионистов, а может быть, беседовать о скалолазании и горных лыжах в кругу худощавых бородатых друзей-атомщиков, представлявших мальчику похожими на дядю Льва.

Журнальный столик, разумеется, занял бы слишком много жилой площади, как объяснял мальчик на своем книжном языке. Даже мамину мечту – фикус – было негде поставить. Торшер – другое дело. Площади он потребовал бы меньше, чем массивный глиняный горшок для фикуса, зато мальчик смог бы читать в постели вечерами, а в комнате появился бы

стильный предмет обихода. За торшер просили сто пятьдесят рублей, то есть четверть маминой зарплаты и пятую часть – отцовской. Дороговато, говорил отец, от смущения слишком глубоко затягиваясь своей «Примой», вставленной в антитабачный мундштук,

вещь некрасивую, но сберегавшую здоровье. После покупки «Севера-2» в семье копились деньги на велосипед «Школьник» для мальчика и на телевизор. Определенные суммы откладывались с каждого аванса и с каждой получки, то есть первого и шестнадцатого числа всякого месяца, однако почти всегда оказывались завышенными, то есть за два-три дня до получки (или соответственно аванса) в значительной мере тратились, как говорила мама, на жизнь. Не занимать же у соседок, которые сами жили от зарплаты до зарплаты.

Между тем у дяди Льва и тети Агаты торшер уже появился, и хозяева с улыбкой похлопывали его, словно любимую лошадь, по желто-серому ведрообразному абажуру из толстой пластмассовой пленки, натянутой на проволочный каркас. «Очень, очень удобно и красиво, советую», – говорил дядя Лев. «А может быть, мои родители просто мещане?» – с ужасом думал мальчик. Иначе им не было бы жалко денег на современный предмет!

Поразмыслив, он признавал свою неправоту: у мещан должна на подоконнике цвести герань, в клетке содержаться канарейка, а на комодике стоять семь мраморных слоников. Ничего этого не присутствовало в их доме. Значит, родители просто духовно неразвитые люди, успокаивался он, и рано или поздно поймут свою ошибку. Откуда он нахватался этих оборотов, скорее ужасавших, чем радовавших его родителей, никто не знал, потому что и «Работницу», и «Юность» (которую приносил иногда дядя Юра) он читал тайком, а существенную часть времени, отведенного на гуляние во дворе, проводил за чтением газет, вывешенных в переулке на особых застекленных щитах. Некоторые были пониже, и мальчик, пренебрегая призывами дворовых товарищей, подолгу стоял перед ними, вытягивая свою цыплячью шею.

19

Возможно ли полностью порвать с поэтическим обычаем?

Разумеется. Так поступил в свое время Ломоносов: «Но первый звук Хотинской оды нам первым криком жизни стал...» – В. Ходасевич. Так дерзнул в прозе Карамзин. Так – в значительной мере – пел сладкоголосый Жуковский, расчистивший дорогу для Пушкина.

Все это, однако, случилось на стадии зарождения русской литературы, когда молодые и неокрепшие обычаи в определенном смысле создавались на голом месте.

Несомненно, всякий большой поэт – новатор, даже если изображает из себя архаиста. Он вводит в творческий обиход непривычные темы, которые зачастую требуют и внешних нововведений. Он, в конце концов, отражает свой взгляд на мир, включающий в себя мировоззрение своего поколения.

Так выстраивается новый язык, но происходит это весьма неспешно.

Предположительный поэт, который возжелал бы сочинять на совершенно ином, своем собственном языке, вообще говоря, возможен. Но он по определению работал бы на эсперанто – на мертвом языке, единицы которого оторваны от традиции поэтической речи. (Если бы, разумеется, не оказался долгожданным гением, призванным преобразовать все строение русского стиха – но на сегодняшний день наследников у Ломоносова и Державина пока не объявилось; трудно дважды открыть Америку или изобрести велосипед.) Стихи обэриутов, эти великолепные упражнения в гармонии от противоположного, остались явлением обособленным; не хочется представлять себе поэзию, состоящую сплошь из раннего Заболоцкого, Хармса и Введенского. Вряд ли случайно называют Велимира Хлебникова поэтом для поэтов – открыв гармонии новые горизонты, сам он создал на

удивление мало.

Горький говорил, что Ходасевич идет самым трудным путем – путем Пушкина. Сомневаюсь: в чеканный сосуд пушкинской ритмики и строфики он вливал иное, куда более горькое вино. Однажды Владислав Фелицианович решил продолжить известный пушкинский отрывок:

В голубом эфира поле Ходит Веспер золотой.

Старый дож плывет в гондоле С догарессой молодой. Догаресса молодая На супруга не глядит, Белой грудью не вздыхая, Ничего не говорит... С Лидо теплый ветер дует, И замолкшему певцу Повелитель указывает Возвращаться ко дворцу.

Брюсова в его продолжении «Египетских ночей» погубил, что уж скрывать, недостаток вдохновения, холодок рассудочности, столь свойственный символистам. Опыт Ходасевича по отделке стиха, по музыке, по интонации мало чем отличается от Пушкина – и тем не менее стихи эти читаются (слушаются) с улыбкой, а не с замиранием сердца, ибо, пожалуй, на них, словно на лбу у описанного Ходасевичем Каина, явственно проступает экзема скорбной иронии, никак не свойственной Александру Сергеевичу. Хотел ли поэт поиздеваться над учителем или над самим собой – так и останется тайной.

Словом, нововведения в искусстве – штука тонкая. Господи правый, как упражнялись в преобразовании русского стиха Маяковский, Сельвинский, ранний Пастернак!

Телеграмма пришла в два сорок ночи. Ковровый тигр мирно зверел.

Повторюсь – главным в поэзии остается погоня за гармонией. Остальное приложится. Если твоя собственная гармония требует твоей собственной формы, то эта форма – при наличии дара, разумеется, – придет сама собой. Не торопитесь, юные поэты!

20

Толщина горизонтальных и округлых линий в прописях составляла не более волоса. Вертикальные, напротив, выводились с самоуверенным барственным нажимом. Буквы соединялись между собой особыми хвостиками, сочетавшими административную прямоту с вкрадчивыми изгибами. Заполненные в типографии строки чередовались с пустыми, на которых предполагалось воспроизводить заранее напечатанные образцы.

Мальчику было года четыре с небольшим, когда мать, вздохнув, отправилась на кухню, обеими руками обняв непомерную неряшливую стопку сладко пахнущего белья, только что принесенного с морозного двора (общественная доска для глажки оказалась свободной), а сына снабдила первой попавшейся детской книжкой. Пренебрегая давно изученными картинками, он начал приглядываться к столбикам черных значков на бумаге, благо почти весь текст давно помнил наизусть. Значок, похожий на избушку на курьих ножках, видимо, обозначал звук «д». Кружок – «о». Кружок с запорожским чубом (с картины про письмо турецкому султану) – «б». Полукруглый флажок с древком, для устойчивости опущенным ниже границы строки, – «р». «Д-о-б-р».

«Добр». Где же «добрый», почему на месте двух звуков стоят три буквы? «Это одна буква, – сказала мать, поставив утюг на торец подальше от мальчика, – просто она состоит из двух половинок. Хочешь морковку или яблоко?» – «Нет». Стремительный топот убегающих детских ног по длинному полутемному коридору. Ага. Два столбика с косою перекладиной, с перевернутой шапочкой наверху. «Добрый до...» Эта, с молодецки выставленной ножкой,

должно быть, «к», табуретка в профиль – «т», кружок уже известен, только читается не совсем как «о», наверное, так надо, флажок знаком, треугольник на ножках понятен. «Добрый доктор Айболит!» Последний значок, видимо, поставили для красоты. Мать вернулась с той же стопкой, но уже укрощенной, раза в два сократившейся в объеме, и положила ее на кровать. «Я научился читать, – сказал мальчик. – Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит». – «Обманывать нехорошо, – засмеялась мать, – я же знаю, какая у тебя прекрасная память». Мальчик насупился. «Я научился читать», – повторил он отцу за ужином. «Сейчас проверим! – улыбнулся тот, и на щеках его стала заметнее вечерняя щетина. – Держи», – он протянул мальчику наугад развернутую «Правду».

«Оче...очередные... п-р-о...про-иски импе...империали...империалистов, – прочитал мальчик, неверно расставляя ударения. – Я не знаю этих слов», – сжался он. «И не надо», – сказал отец, сияя.

К концу весны как-то сама собой освоилась таблица умножения, затем – умение покрывать бумагу кривоватыми печатными буквами, которые уже самостоятельно складывались в небогатые, но осмысленные слова.

Когда бы не чистописание, мальчик был бы самым счастливым учеником в классе.

«В старину писали гусиными перьями, – рассказывала учительница, – они косо обрезались на конце и расщеплялись. Эти перья были недолговечны, быстро тупились, их приходилось постоянно заострять – вот откуда пошло выражение “перочинный нож”. Стальные перья, которыми пользуетесь вы, позволяют писать гораздо красивее и разборчивее. Благодаря их продуманной форме можно за один раз набрать достаточно чернил, чтобы вывести несколько строчек, не обмакивая пера в чернильницу». Мальчик поднял руку. «А почему в школе нельзя пользоваться авторучкой?» – «Наша задача – научить вас писать красиво. Автоматическая ручка не дает такой возможности». Итак, деревянная палочка, выкрашенная в темно-коричневый или малиновый цвет, с железным патрончиком на конце, куда вставлялось описанное учительницей стальное перо номер 86 (продавалось более редкое перо какого-то еще номера, не менее странного, но им пользоваться не позволялось, потому что утолщение на конце пера не давало возможности выводить тонкие линии). Ионовы, сестры-близнецы из Ленинграда, называли ручку необыкновенным словом «вставочка» и обижались, когда их не понимали. Скользя по бумаге, острое перо выдирало из нее крошечные волокна и довольно быстро (под рукой мальчика – уже минуты через две) начинало писать неряшливо, тонкие линии становились толстыми, а толстые – неровными; тут пригодились перочистка: пять-шесть круглых байковых тряпочек (или кусочков кожи с замшевой изнанкой) размером чуть меньше детской ладошки, скрепленных в центре никелированной заклепкой. Перо макалось в чернильницу-непроливайку: пластмассовый сосуд (тусклыми полосами подражавший строению мрамора) в виде пустотелого усеченного конуса со сглаженными краями и бортами, загнутыми глубоко внутрь, почти до самого дна. Мальчик наливал в нее слишком много чернил, и фиолетовые пятна обильно покрывали пальцы его правой руки. Иногда он забывал стряхивать лишние чернила, тогда посреди страницы прописей появлялась клякса, и все задание приходилось переделывать. «Как курица лапой, – сказала однажды учительница. – У тебя особый талант».

Кратчайшая дорога в школу вела через дворовое ущелье, перегороженное древним дощатым забором в человеческий рост. Требовалось перекинуть через него портфель, подтянуться, изо всей силы сжимая пальцы, закинуть сначала правую ногу, потом левую. Непроливайка, даже обернутая в несколько слоев куском, оторванным от ветхой простыни, подводила, и после двух-трех таких упражнений весь его портфель с никелированными застежками испещрили чернильные потеки, впрочем, почти незаметные на толстой черной клеенке. Выхода, однако, не было: кружной путь занимал на пять минут дольше, а в дневник учащегося Свиридова и так почти всякую неделю заносились замечания об опозданиях – впоследствии его пожизненной привычке.

И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута – и стихи свободно потекут...

Легко ли вообразить прозаика, который пишет рассказ о процессе сочинения рассказа или о том, как тяжело (либо весело) живется ему, избраннику небес, в этом беспощадном мире, сколь многим приходится ему жертвовать ради того, чтобы из-под пера текли насыщенные беседы или исполненные метких наблюдений описания охоты на сусликов?

Между тем поэты, особенно юные, обожают сочинять стихи о стихах или, на худой конец, о месте скальда в мироздании. Наставники упрекают их, справедливо указывая, что этот предмет – из самых доступных, самых первых, пригодных для разработки в отсутствие иного жизненного опыта. Но и маститые акыны нет-нет да и напишут какой-нибудь «Памятник».

Повторю, что творец в душе поэта уживается с самым обыкновенным человеком, порою даже и весьма заурядным. (Те, кто до сих пор сомневается в авторстве шекспировских пьес, не могут простить гению его скаредности, мещанских замашек, недостаточной образованности; да и на родной почве есть чудный пример крепкого помещика Шеншина, выступавшего с изумительными стихами под ненавистной ему самому немецко-еврейской фамилией.) Этот последний до глубокой старости может сохранить удивление и восторг перед своим даром. Немудрено, что и сам этот загадочный дар, как и его осуществление, нередко становится предметом вдохновения. («Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»)

Своеобычность поэзии по сравнению с другими разрядами искусства, думается, состоит в особой роли автора (которого литературоведы любят корректно именовать лирическим героем). Сочинитель прозы – всегда в известном смысле сверхчеловек, обладающий самодержавной властью над своим материалом, неспособный позволить себе сомнений, метаний, отчаяния. И личность его поневоле уходит на второй план. Поэт более избалован, самое важное для него – это, так сказать, выразить собственную душу со всеми ее изгибами. Недаром в ходу снисходительное выражение «проза поэта», означающее нечто выпяченнее, эгоцентрическое и слишком сложное для чтения.

Нет, не хочется – да и не может быть – поэту менять свою свободу, свою беззаветную любовь к самому себе на ремесло, требующее куда большей отстраненности. Мой выбор – в известном роде исключение.

Впрочем, автор «Бледного огня», поэт не из самых выдающихся, так никогда и не бросил сочинять в рифму. Обвиняющие его в холодности, видимо, никогда не вчитывались в эту поэзию. Беззащитное тепло, переполнявшее оскорбленную душу, он если и допускает в романы, то – отмеренными дозами, тщательно маскируя. Лишь в стихах, забыв о гордости, он раскрывает свое сердце нараспашку – и Боже, какое это уязвимое и неуверенное в себе сердце!

Дядя Юра, работавший инженером на заводе под странным названием «Почтовый ящик», пришел на день рождения мальчика загодя, когда гости (Лена Филиппова, сестры Ионовы,

Сергея Афонина и Юра Богатырева) еще не собрались, и выложил из принесенного под мышкой серо-коричневого свертка на пустой обеденный стол, пока не накрытый клеенкой, длинные металлические трубки, куски пластика и толстые алюминиевые провода неясного назначения. Затем, таинственно усмехаясь, вытащил из глубин осанистого портфеля отвертку, плоскогубцы и горсть оцинкованных шурупов. «Догадался, что за подарок?» Мальчик покачал головой. «А ты, Леночка?» Он прижал палец к губам, и мама тоже ничего не сказала. «Вот так, – приговаривал дядя Юра, – именно так!» Его худые волосатые пальцы двигались с завидной точностью; на обеих трубках обнаружилась нарезка, позволившая неуловимым жестом соединить их в одну. Затем дядя Юра протянул внутрь трубки серый обрезиненный провод, потом начал возиться с мягкими проволочками, собирая их в пустотелый, но уверенный объем, охваченный затем заранее вырезанным куском пластика. Торшер оказался не хуже, а может быть, и лучше покупного. Слизив в портфель еще раз, дядя Юра торжественно вкрутил в патрон ослепительно засиявшую матовую лампочку. Мальчик захлопал в ладоши. «Сто свечей, – сообщил дядя Юра, – я знаю, ты любишь яркий свет». Комната преобразилась: в одном из дальних углов под потолком обнаружилась пыльная паутина, за спиной у охотника на гэдээровском гобелене вдруг обозначилась условная тушка дикого гуся; от кусочка граненого стекла, который папа давным-давно повесил под абажуром, скользнула на стену небольшая яркая радуга, а за окном внезапно потемнело. «Я с самого начала сказал Левке: за что только деньги берут! – добродушно возмущался дядя Юра. – Мы что, вчера родились? Или руки у нас не оттуда растут? Покупаешь полтора метра алюминиевой трубки, круглый кусок плексигласа на основание, ну, проводки там, патрон, выключатель. Копейки!» – «Это еще сообразить надо», – уважительно сказала мама, щурясь на непривычный свет и наливая дяде Юре из длинногорлой бутылки.

В собранном осветительном приборе, как бы сошедшем с картинок из журнала «Юность», уже не узнавались неряшливые промышленные отходы, продававшиеся на первом этаже «Детского мира» рядом с филателистическим отделом. Мальчик объяснял внимательно слушающим сестрам Ионовым, зачем он в декабре месяце испросил там (и, не опоздав к крайнему сроку, легко получил) бесплатный годовой абонемент: все выпускавшиеся советские марки раз в месяц отпускались его владельцам по номиналу. О да, обычные знаки почтовой оплаты продавались на Центральном телеграфе (образцы выставлялись во вращающейся шестиугольной витрине), но иной

блок – то есть четыре или шесть марок, печатавшихся на отдельном листочке, в окружении художественной рамки, – так на витрине и не появлялся, как, впрочем, и

беззубцовки, выпускавшиеся исключительно для коллекционеров. На витрине филателистического отдела красовались марки дружественных стран народной демократии: Болгарии, Венгрии, Польши, иногда – далеких африканских стран, сбросивших с себя иго колониализма (самые крупные и цветастые).

Почему в мире не меньше филателистов, чем поэтов? Ответ несложен: почтовая марка есть не кусочек бумаги с нехитрым изображением, но знак далеких странствий, общедоступный привет издали, напоминающий о существовании таинственного и неведомого. («Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран – и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман...») – эти стихи тоже были в бабушкиной библиотеке, и мальчик помнил их наизусть.) Впрочем, украшением коллекции были вовсе не марки, приобретенные по абонементу, но

спецгашения, в том числе главная ценность – конверт с портретом Гагарина в космическом шлеме, маркой с портретом Гагарина в космическом шлеме и штемпелем «Первый человек в космосе», плод радостного ожидания в очереди перед окошком на Главпочтамте. Имелся

кляссер, полученный от родителей на день рождения уютный альбомчик: на каждой странице было вставлено пять-шесть длинных целлофановых кармашков, где маркам жилось легко,

просторно и удобно.

А на первом этаже «Детского мира» ежедневно сталкивались, проходя друг сквозь друга, две разные вселенные. Слева – поклонники озубцованных самоклеящихся картинок на прямоугольных кусочках бумаги: не только мальчик и его сверстники, но и немногословные пожилые собиратели в толстых очках, в ходе охоты за пополнением коллекций посещавшие не один магазин и филателистический отдел. Никто не трогал и не ощупывал продаваемого, довольствуясь видом на витрине. «А если?» – говорили они продавщице. «Надо подумать, поработать», – веско отвечала она, поправляя синюю форменную косынку. У прилавков справа теснилась куда более внушительная толпа, где почти не было детей и пожилых. Домашние мастера в ратиновых и коверкотовых пальто ревниво перебирали деревянные рейки разномастной длины и сечения, алюминиевые уголки, стальные трубки, обрезки пластика, бамбуковые палочки и куски фанеры, надеясь либо подобрать необходимое для поделочных нужд, либо, напротив, подогнать свою тоску по осмысленному ремеслу под имевшийся выбор.

Впрочем, мальчик был равнодушен к их волнениям и радостям.

23

«Теургия – искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия преодолевает трагедию творчества, направляет творческую энергию на жизнь новую... Теургия есть действие человека, совместное с Богом, – богодействие, богочеловеческое творчество».

Так вещал в 1914 году Бердяев, радуясь удавшимся кухарке свиным отбивным, в книге «Смысл творчества». «Красота, – отмечал он, – не только цель искусства, но и цель жизни... Символизм и эстетизм с небывалой остротой поставили задачу претворения жизни в красоту. И если иллюзорна цель превращения жизни в искусство, то цель претворения жизни этого мира в бытийственную красоту, в красоту сущего, космоса – мистически реальна».

Зря я злословлю. Бердяев вегетарианец был, цветную капусту кушал. Но не в этом дело.

Поставить-то они поставили, и даже с небывалой остротой, должно быть, за чайком с птифурами на «башне» у Вячеслава Иванова. И тени несозданных созданий колыхались на лазоревой стене, и Дева Радужных Ворот смущенно пудрилась в туалете, недоумевая, отчего молодежь и взрослые дядьки, сочиняющие малопонятные стихи, устроили вокруг нее такой сыр-бор. Посвятив ей три книги стихотворений, один из них сделал ей предложение. Увы, наблюдать по утрам, как почти что святая София вынимает из волос папильотки, оказалось юному символисту не по зубам. Семейная жизнь не заладилась, дочь великого химика повела жизнь актрисы средней удачливости, а в душе поэта стал понемногу развеиваться идиотический туман, напущенный откормленными усатыми мэтрами.

Под насыпью, во рву некошеном, Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и молодая...

Какое уж там мистически реальное претворение жизни мира в бытийственную красоту! Успокойтесь, дорогой мэтр. Единственным, кому вроде бы удалось выполнить эту задачу, оказался презируемый символистами Игорь Северянин, да и красота вышла, по совести говоря, двусмысленной.

Сколько же было этих течений, с манифестами, с выступлениями, с журналами на веленовой

или оберточной бумаге! От каждого осталось в лучшем случае по одному-два мастера, к принципам школы, в общем, имеющих разве что самое отдаленное отношение. Поэзия, подобно любви, бескорыстна и неожиданна, ласкова и ревнива, покорна и капризна; стихи, старательно написанные во имя осуществления некоего умственного плана, едва ли не всегда, увы, оказываются мертворожденными.

24

Субботними вечерами ходили к бабушке купаться. Отец нес брезентовую сумку, туго набитую полотенцами и чистым бельем, и почему-то всегда значительно обгонял мальчика и маму. Выходили из переулка на Кропоткинскую, миновали Академию художеств, где два раза в год вывешивали красивые полотна про счастливую и нарядную жизнь, а также про происки империалистов, проходили мимо углового магазина, иногда покупая там для бабушки вафельный торт «Сюрприз» или двести граммов «Мишек на Севере», вступали на Садовое кольцо, куда из-за реки ветерком доносило сладкий запах солода с пивоваренного завода. По пустым улицам изредка проплывал подслеповатый желто-синий троллейбус со стеклами, покрытыми мохнатым слоем инея, или пронеслась случайная «Победа», оставляя хвост густых, заставляющих кашлять выхлопных газов; немногочисленные прохожие, как и сам мальчик, шли с поднятыми меховыми воротниками, с завязанными под подбородком клапанами кроличьих ушанок. На углу Левшинского переулка тускло светился пивной ларек, и белокурая продавщица ласково осведомлялась у каждого покупателя, предпочитает он холодное пиво или теплое, во втором случае подливая в кружку горячего пива из чайника, стоявшего на электроплитке. Важные, загадочные люди – дворники – кололи ледяную корку на тротуарах заступами, тяжелыми даже на вид, а выпавший свежий снег сметали на обочины проезжей части в большие кучи, которые мальчик называл сугробами. Снег этот был загрязнен песком и солью, и родители ругали детей, лепивших из него снежки. Рано или поздно на улицу приезжала особая машина, снабженная спереди лотком и двумя клешнями, загребавшими сугробы и отправлявшими снег по движущейся ленте в дожидавшийся сзади темно-зеленый самосвал, который увозил его к Москве-реке. Видеть этот окончательный праздник на набережной, слышать грохот смерзшегося снега, победительное уханье грузовиков, опорожняющих свои самодвижущиеся кузова, мальчику довелось всего два или три раза, но машины с клешнями в зимние месяцы навещали переулок едва ли не ежедневно, и он, бывало, долго следовал за какой-нибудь из них, пока не замерзал. Было что-то завораживающее в движении железных лопастей, насаженных на вращающиеся диски, что-то, заставлявшее думать про жизнь на Проксиме Центавра.

Бабушка жила не в подвале, а на четвертом этаже с дядейлевой, дядей Юрой, тетей Викторией, тетей Лорой, двоюродными братьями мальчика Вадиком и Сашей и двоюродной сестрой со смешным именем Клавдия. Играть с этими малолетними родственниками было неинтересно. Зато у бабушки была библиотека, целых пять или шесть книжных полок, и мальчик у нее в гостях не скучал, сосредоточенно листая свои любимые книги: Есенина, Надсона, Северянина. К его приходу бабушка сушила в духовке черные сухарики с солью. В квартире было три комнаты, коридор, кухня, где на стене висели гирлянды чеснока, лука и горького красного перца, а также ванная с газовой колонкой. Еще там обитала серая кошка. Ее туалет – картонная коробка, в которую насыпались клочки газетной бумаги – располагался в коридоре, у самой двери в квартиру, наполняя все жилье резким запахом нашатырного спирта.

Колонка – мощная газовая горелка в эмалированном белом кожухе, сквозь который протекала, соприкасаясь с пламенем, холодная вода, – вспыхивала с приятным хлопком и начинала уверенно гудеть. Вытекавшая вода всегда была горячей, потому что газовое пламя

само собой усиливалось при отворачивании крана. Пока отец сидел за столом с дядей Юрой и дядейевой Леовой вокруг прозрачной бутылки и трех стопок, закусывая селедкой с луком, вареной картошкой, солеными огурцами (они покупались бабушкой в магазине, а затем

переделывались – заливались новым рассолом с укропом, перцем и чесноком), иногда – склизкими маринованными маслятами или разлапистыми солеными груздями, мама поливала мальчика водой из душа, мылила ему голову, просила крепче закрывать глаза, чтобы в них не попала едкая пена. После мытья головы она проводила по волосам мальчика мокрым пальцем: волосы, издававшие попискивающий звук, справедливо считались чистыми. Вытирали ребенка вафельным полотенцем, вынимали из ванны и ставили, чтобы не простудиться, на старую майку и трусики, небрежно брошенные на изразцовый пол. «С легким паром!» – говорили насупившемуся мальчику взрослые. «С легким паром!» – говорили они через некоторое время сначала матери, потом – отцу. Мальчик, грызущий в углу свои черные сухарики (распадавшиеся под зубами с оглушительным треском), поднимал взгляд от книги и замечал, что оба родителя после купания значительно молодели.

25

Так почему же поэты рано умирают?

Почти всякого смертного в положенное время одолевает кризис среднего возраста. Годам к сорока человек начинает метаться, утрачивая чувство цели и содержания жизни.

Романтическая юность и честолюбивая молодость остаются позади. Прежние идеалы представляются лишены смысла. Впереди – старость, а за ней то, чем она, как правило, завершается. Накопленные знания еще не столь велики, но уже чреватые великой печалью.

Что уж говорить о поэте, который, отличаясь чувствительностью к несовершенству мира, с молодых ногтей ставит на карту всю свою жизнь, надеясь достичь пресловутой гармонии!

Поначалу она кажется не столь уж неуловимой: мир, преображенный по правилам поэтической речи, представляется, быть может, и не самым благополучным, но уж во всяком случае осмысленным и прекрасным. Если в повседневности злой хорек Передонов развлекается, заплевывая стены съемной квартиры, то в стихах звезда Маир отражается в водах реки Лигой, и голоса прекрасных жен сливаются в одно дыханье, славя эту воображаемую, но благословенную землю. Водосточные трубы превращаются во флейты. Дыхание и тепло поэта ложится на стекла вечности.

Простодушный юный виршеплет (а на всякого мудреца, как известно, довольно простоты) еще не подозревает, что бесплатный сыр предлагается только в мышеловке.

По прошествии времени, однако, он со страхом начинает осознавать, что его обманули.

Старая гармония утрачивает привлекательность, а восхождение на новый уровень требует возрастающих усилий. Одни друзья юности спиваются, другие берутся за ум. Если быт поэта устроен, он начинает казнить себя за упущенные возможности. (Как с восхитительной откровенностью поет под рокочущую шестиструнную гитару Александр Городницкий: «Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты!») Если же поэт остается в рядах вольных художников, то начинает бунтовать его человеческое начало, ибо прелести независимого существования сильно преувеличены, да к тому же и приедаются. (Я даже не начинаю говорить о возможных претензиях наших властей к такому образу жизни: сравнительно недавний пример Бродского достаточно убедителен.) Похмелье становится все тяжелее, денег, в общем, нет и не предвидится, а покладистые поклонницы, также

подверженные власти Хроноса, рано или поздно проявляют свою женскую сущность и дарят беззаботному питомцу небес наследников и наследниц. («Я бедствовал. У нас родился сын. Ребятства пришлось на время бросить...») Все чаще и чаще создаваемая гармония не способна уравновесить хаос окружающего мира, вторгающегося в искусственную вселенную.

Да-да, именно искусственную – регулярные люди, слава богу, живут иными ценностями, и кто их за это осудит? Утраченные забавы юности восполняются для них накопленным добром – семейной жизнью, удобным бытом, радостью от подрастающих детишек, общественным положением, наконец; что же до неприкаянности или подавленности, то они успешно излечиваются спортом, путешествиями, религией, а в особо тяжелых случаях – психотропными препаратами. Господь позаботился о том, чтобы большинство смертных не сводило счеты с жизнью без его санкции. Но эти ценности, которые вполне милы поэту как частному лицу, никак не помогают решению тех главных вопросов, на которые он кладет свою незадачливую жизнь.

Эти вопросы множатся с каждым годом, иллюзии утрачиваются одна за другой.

Обессилевший замолкает. Сначала лет в двадцать пять – двадцать семь, потом – в тридцать пять – сорок. Пьет спиртные напитки, тщится сочинять прозу или критические статьи, занимается переводами с уже созданного. При большом везении выходит из этого испытания преобразенным и, как я уже упоминал, возвращается к сочинительству; этого заряда иным хватает надолго, особенно при наличии нового источника волнений и страстей. Если же ему все-таки не выпадает шанса, если кажется, что все труды его молодости напрасны и что сил на преобразование мира больше взять неоткуда, – он начинает, зачастую бессознательно, искать выхода из земной юдоли.

Зима идет, и тощая земля

В широких лысынах бессилья,

И радостно блиставшие поля

Златыми класами обилья

Со смертью жизнь, богатство с нищетой —

Все образы години бывшей

Сравняются под снежной пеленой,

Однообразно их покрывшей:

Перед тобой таков отныне свет,

Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

Итак, прежняя гармония, пригодная для определенного возраста и запаса сил, устарела, энергия на создание новой кончилась, а существование без сочинительства, этого самого могучего из наркотиков, лишается смысла. Необходимость оставаться в мире, таким образом, отпадает. Иным для ухода из жизни даже не нужно внешних причин: умирает на неапольском рейде Баратынский, угасает без видимых причин Блок (со словами «Музыка умерла»), как-то сам собой в расцвете лет уходит (после десятилетнего молчания) Ходасевич. Другие выбирают более драматичный путь, но перечислять имен я не стану. Отмечаю только, что

ранняя смерть поэта (и не только поэта, впрочем) нередко представляет собой скрытое самоубийство.

26

Деньги на фотоаппарат родителям копить до конца не пришлось, потому что его приобрели в рассрочку, то есть выплачивая посильные суммы в течение двенадцати месяцев. Необходимую справку с работы оказалось истребовать несложно. Фотоаппарат в коробке из толстого картона отдали отцу не через год, как опасался мальчик, а сразу же. Назывался он «ФЭД-2» в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, известного друга детей, сурового человека в долгополой шинели, который сиротливо высится на круглом чугунном постаменте в центре одноименной площади напротив «Детского мира». Объектив на передней панели приятно увесистой металлической коробочки с отделкой из черной искусственной кожи походит на глаз страуса, незадолго до того поразивший мальчика в зоологическом саду.

Аппарат потребовал обширного хозяйства, которое покупалось постепенно. Прежде всего, не бывает фотографии без пленки, то есть длинной целлулоидной ленты с прямоугольными дырочками по бокам (они назывались

перфорацией), за которые хватает особая шестерня внутри фотоаппарата, после каждого снимка продвигающая пленку на кадр вперед. Пленка бывает разной чувствительности, предпочтительнее – сто единиц. Пленка продается просто так, то есть завернутая для предохранения от света в фольгу, бывает уже намотанная на пластиковую катушку, а бывает и упакованная в светонепроницаемую кассету, то есть катушку в черном кожухе, которой можно заряжать фотоаппарат на свету. Вторая дороже первой на пять копеек, а третья – на двадцать. Дядя Юра объясняет, что экономия тут, в сущности, ложная. Дело не только в том, что заряжать аппарат самой дешевой пленкой («в рулоне») хлопотно и требует полного отсутствия света. Дополнительное обстоятельство: при зарядании, а еще вероятнее – при обратной перемотке возникает риск засветить пленку. И тут вся возможная экономия превращается в сплошное разорение. Правда, выбирать не приходилось. В магазине, как правило, непредсказуемо предлагался всего один вид пленки – либо в рулоне, либо на катушке, либо в кассете. Соответственно, был приобретен

рукав, муфта из плотной черной байки, в которой и надлежало перезаряжать фотоаппарат; умение это далось отцу не сразу, и многие из его тогдашних снимков оказались испорчены облаками черного тумана, набегающего откуда-то из-за границ фотокарточки.

Первые пленки отдавались в мастерскую у Никитских ворот, в том же бело-зеленом здании, что и Кинотеатр повторного фильма, откуда возвращались проявленными в виде рулончиков, уже не боявшихся дневного света. Почему-то на проявленных пленках были перепутаны цвета – черный становился белым и наоборот. Это называлось «негатив». В мастерской стояло устройство с матовым экранчиком для просмотра пленок. Если негатив приходился по душе, надо было прилагавшимися маникюрными ножничками, привязанными к устройству стальной цепочкой, вырезать крошечный кусочек в перфорации соответствующего кадра. Помеченная таким образом пленка возвращалась в мастерскую, и через три дня отпечатки уже клеивались в альбом или посылались по почте в Саратов родственникам мамы (у отца родных не было). Приемщик осведомлялся, в каком формате печатать фотографии, должны ли они быть матовыми или глянцевыми и не желает ли клиент заплатить за срочность. Но торопиться не стоило, потому что жизнь в те годы была, в общем, бесконечной.

И все же – щелкать аппаратом и отдавать пленки в мастерскую было недостойно настоящего любителя. В доме стали появляться любопытные вещи. Прежде всего –

увеличитель, затем

– бачок для проявления, потом –

кюветы, потом – красный фонарь, а также пинцеты и

глянцеватель, приобретенный, впрочем, в самую последнюю очередь. Все это хранилось в общей кладовке, пустующей двухкомнатной дворницкой в том же полуподвале (с отдельным входом и висячим замком), отведенной для хранения бесполезных, однако дорогих сердцу вещей, принадлежавших всем обитателям квартиры номер один. Спросив позволения у Анастасии Михайловны, отец расчистил место на ее старом столе, где и размещал фотографические принадлежности.

В таинственном темно-алом (ни в коем случае не багровом) свете с легким щелчком открывалась крышка фотоаппарата и уязвимая, страшась света пленка наматывалась на ось бачка для проявления, снабженную особой пластмассовой спиралью. Важно было не поцарапать пленку (что удавалось не всегда), а главное – намотать ее, тщательно укладывая в витки спирали, чтобы химический раствор, необходимый для проявления, омывал ее равномерно. Отец занимался намоткой пленки торжественно и осторожно, а мальчик, заглядевшись, молчал. В кладовку приносились растворы в стеклянных консервных банках, загодя приготовленные на кухне:

проявитель и

закрепитель. Десять минут в первом, десять минут промывать водой (вращая спираль за торчавшую из бачка ручку), пять во втором, затем опять промыть, затем – поднять крышку бачка, размотать пленку, повесить ее сушиться (на это уходило часа три). Заняться в тот же день печатанием фотографий, разумеется, не удавалось, и мальчик переживал смутное разочарование. Зато через день-другой красный фонарь зажигался снова, и из коробки извлекался упомянутый выше увеличитель. Свет мощной лампы, бивший сквозь пленку через систему линз, действительно увеличивал негатив до размера будущей фотографии; с помощью массивного винта лампа могла подниматься и опускаться на своем стояке, соответственно меняя размеры проекции. Отец поворачивал темно-красное круглое стеклышко, отчего бело-черная картинка на подножии агрегата становилась едва различимой, и подкладывал лист фотобумаги, загодя помещенный в особый планшет. Затем стеклышко вновь поворачивалось, открывая дорогу свету. «Раз, два, три, четыре, пять», – говорил отец (длина счета зависела от яркости негатива) и выключал увеличитель. Бумага после этого уже таила в себе будущее изображение, но вызвать его к жизни требовало дополнительных трудов.

Фотографии сохранились: мальчик с букетом гладиолусов (первое сентября какого-то непредставимого года); отец в новой, радостно поблескивающей нейлоновой рубашке с короткими рукавами, щурящийся на солнце, и улыбающаяся мать в бусах чешского стекла (в жизни отсвечивавших всеми цветами радуги) – на фоне колеса обозрения в Парке культуры и отдыха; бабушка, раскатывающая тесто для торта «Наполеон»; все принарядившееся население коммунальной квартиры на кухне с бутылкой «Советского шампанского сладкого»; весенний двор с неведомо чьей таксой, которая кажется особенно черной на фоне подтаявших сугробов.

Что до рулончиков пленки, то целлулоид оказался отличным материалом для изготовления – на выбор – либо ракет, либо дымовых шашек. Завернутый в фольгу и подожженный, рулончик мог довольно далеко улететь, а если сразу же наступить на него – испускал изрядное количество зловонного дыма. Забава эта (открытая мальчиком лет в двенадцать) продолжалась, пока не кончились все запасы пленки, хранившиеся отцом в жестяной коробочке из-под грузинского чая.

Мать моего старого товарища, ныне доктора естественных наук и во всех отношениях человека выдающегося, однажды упрекнула меня, начинающего поэта, который на каждом углу со слезами на глазах стремился поведать миру о своих страданиях. Изнемогал я, как и полагается юному лирику, по целому ряду разнообразных поводов, прежде всего сердечных.

«Вы похожи на моего сына, – сказала она добродушно. – Он тоже стремится жить на пределе, попадать в невозможные положения, рисковать, пить жизнь – простите за безвкусный образ, – как некое вино. Да! Я, будучи женщиной немолодой, знаю, что за это надо платить. Иной раз несоразмерно – сломанной жизнью, даже гибелью. Но убедить его в этом я никогда не могла. Вряд ли смогу убедить и вас».

Я растаял.

Ее сына (назовем его Эвклид), старше меня лет на десять, я почти боготворил. Мало мне доводилось встречать людей, которые любили бы жизнь так истово и самоотверженно. Энциклопедист, полиглот, незаурядный ученый, Эвклид неизменно пребывал в состоянии влюбленности, испытал множество житейских и авантюрных приключений и умел существовать как бы совершенно независимо от вездесущей, безвкусной и назойливой власти.

«Между вами, однако, есть существенная разница, – продолжила моя седеющая знакомая, затягиваясь болгарской сигаретой “Стюардеса” (именно так, через одно “с”). – Вы пишете стихи, а Эвклид чужд искусства».

Мне послышался сдержанный вздох. Какое самопожертвование, восхищенно подумал я – и даже несколько застеснялся собственного превосходства, очевидного и для родной матери моего друга и наставника. (Добавлю, что Эвклид виртуозно играл на фортепьяно, равнодушно блиставшем своей черной лаковой крышкой во время нашего разговора, и писал этюды маслом; я не раз слышал, что при наличии усидчивости из него вышел бы недюжинный пианист или художник.) «Сын мой, однако, живет во имя жизни, – вкрадчиво продолжила пожилая женщина, – его страдания и радости бескорыстны. Так дикарь воет от боли или пляшет у костра от восторга перед бытием. Что до вас, простите уж меня, то вы за чувствами – охотитесь, чтобы впоследствии использовать их для творчества. Вы молоды; стихи ваши несовершенны. Лично я верю, что вы станете прекрасным поэтом. Дай вам Бог! И в то же время корысть, о которой я говорю, в старости отравит все ваши воспоминания. Вы никогда не поймете, что в вашем опыте было искренним, а что совершалось только ради получения питательного материала для сочинительства. Как говорил кто-то из декадентов, быть может, вся жизнь только средство – уж не помню для чего, золотых снов, ярко-певучих миров или подобной чуши. Поэтому радость ваша – наигранна, страдания – полупритворны. Я думаю, что Богу – каков бы он ни был – угодно живая жизнь, чем зарифмовывание своих страстей, ибо сообщать миру об испытанной гармонии – нецеломудренно».

Я почувствовал себя лопнувшим воздушным шариком и на несколько мгновений вполне возненавидел и своего наставника, и его многомудрую мать – которая сама, кстати, прожила сравнительно бурную жизнь московской художницы со склонностью к формализму, хотя под старость и стала ограничиваться акварельками в духе Добужинского и Бакста либо орнаментами, любовно составлявшимися из собственноручно собранной коктейбельской гальки.

Теперь мне кажется, что вряд ли стоит поэту испытывать вину за корыстное использование

собственной (и чужой) жизни. Вряд ли. Господь – как говорится, в неизреченной благодати своей – соткал наше бытие из таких непримиримых противоречий, по сравнению с которым парадокс упрекнувшей меня талантливой женщины кажется детским лепетом. И тем не менее... Что нравственнее – переживать сущее во всей его неприкрытой и страшной полноте или заниматься сладким обманом?

Одно утешает: ответить на этот вопрос – каждый для самого себя – должен и поэт, и живописец, и оперный певец, и цирковой клоун, и цветочница, и отец семейства, гуляющий с детьми по Диснейленду, и гордый жених перед аналоем, и стыдливая невеста, и молодая мать, и альпинист, и археолог – словом, едва ли не любой двуногий без перьев.

Может быть, коктебельским камушкам тоже было бы уютнее остаться на крымском берегу, чем становиться частью орнамента, украшающего чью-то гостиную (работы моей знакомой всегда пользовались завидным спросом.) Но возразить покойной художнице я смогу только в будущем; надеюсь, что достаточно отдаленном.

28

Смена времен года обозначалась не только солнцем или снегом, но также появлением и исчезновением плодов и овощей. Когда-то отец с матерью хлопотали о садовом участке в шесть соток и вполголоса, чтобы не сглазить, вели вечерние разговоры в которых звучали слова «кустов десять малины, кабачки, клубника», а также «разрешается даже печку поставить, а колодец недалеко». Но учреждению, где отец работал, так и не выделили земли под садовое товарищество. Иногда всей семьей ездили на электричке за грибами, проходили через случайную подмосковную деревню, и вид яблока, свисающего с ветки за чьим-нибудь забором, или ветка черной смородины с последними сохранившимися ягодами вызывали у городского мальчика радостное волнение. Впрочем, лет с девяти он стал ездить на лето в пионерские лагеря, и картина полезных растений, насаждаемых в сельской местности, вскоре стала привычной.

Первые яблоки – белый налив – возникали уже в конце июня. Продавались непосредственно на улицах; на зеленом колхозном грузовике с потрепанными деревянными бортами и колесами, обильно испачканными деревенской глиной, доставлялся торговый стол, весы (реже – старые, с набором железных, тронутых ржавчиной гирь, чаще – современные, с единственной чашкой и белым циферблатом, по которому ходила внушительная черная стрелка, указывающая вес) и некоторое количество ящиков, где хранился переложенный соломой товар. Иногда в белой мякоти обнаруживались ходы, проложенные нежелательным тунеядцем (последнее слово часто встречалось в тогдашних газетах), а где-то в области серединки, она же – будущий огрызок, обнаруживался и сам извивающийся, насмерть перепуганный желто-коричневый червячок с ребристой мягкой кожицей. Мальчик бережно брал его за спинку, стараясь не раздавить, и бросал в траву, а бывало – сажал на лист одной из дворовых лип. Отдельные яблоки сгнивали, не выдержав трудностей долгого пути, и продавщица бросала их в загодя припасенное оцинкованное ведро. Некоторые только начинали портиться (это называлось «с бочком»). Кое-кто из хозяек, стоявших в очереди, требовал, чтобы они тоже отправлялись в ведро, а продавщица вертела обвиняемым яблоком перед носом покупательницы, доказывая съедобность плода.

Первые яблоки – мелкие, мягкие, нежно-зеленые – ничуть не стеснялись покрывавших их черных точек и шрамов.

К концу лета по всему городу оборудовали торговые точки для арбузов и дынь, снабженные железными решетчатыми ларями, на ночь запиравшимися на замок. В сезон арбузы

продавались по десять копеек за килограмм, а для тех, кто был готов платить в полтора раза больше, продавец мог вырезать из арбуза треугольный кусок на пробу. Впрочем, покупателям, готовым идти на риск (или уверенным в своей способности оценить спелость арбуза по глухому звуку, раздававшемуся при похлопывании плода по крепкому боку), он сообщал, что «завоз удачный» и арбузы все как на подбор «сахарные». Отец резал арбуз сначала напополам, обеспокоенно прислушиваясь: здоровый громкий хруст корки при движении ножа означал спелость, вялое попискивание – немогущую водянистость. Затем каждая половинка разрезалась на лунообразные алые ломти, истекающие неожиданно бледным розоватым соком, пестревшие черными и ни на что не пригодными косточками. В гостях у бабушки арбузом занимался дядя Лева – за десять минут уединения на кухне он превращал его в полосатую зеленую корзину с ручкой из той же корки, наполненную небольшими очищенными кусками. Было красиво, но не очень удобно – лишенный корки арбуз закапывал соком одежду, к тому же потом приходилось мыть руки. Однажды дядя Лева сообщил мальчику, что с точки зрения науки арбуз – как и дыня, и помидор – это ягода, пускай и очень большая, а клубника – нет. Дыни бывали двух сортов – огромные продолговатые из Средней Азии и небольшие круглые, именовавшиеся «колхозницами». Первые источали аромат на весь полуподвал и таяли во рту, а вторые, сладковато-крахмальные на вкус, не слишком нравились мальчику.

Вселенная городских плодов и овощей в отличие от большой вселенной, вполне бесконечной, ограничивалась магазинами и уличными торговыми точками; в загадочное место «рынок», откуда мать изредка приносила стакан малины, кулек клубники или двести граммов творога, когда сын болел, его не брали – должно быть, из воспитательных соображений. На рынке, по словам мамы, «есть все», но «ужасно дорого, просто невозможно». Что ж, философствовал мальчик, в мире имеется немало недоступных вещей, и огорчаться по этому поводу не стоит.

В сентябре появлялся виноград белый, виноград черный (на самом деле темно-фиолетовый), синяя как бы покрытая изморозью венгерка и барственный желто-розовый ренкрод, похожий на уральский облицовочный камень. Появлялись антоновка (ломтики клались в сладкий чай при отсутствии лимона), пепин шафранный (яркий румянец на глянцевой желто-оранжевой коже) и штрифель, как бы раскрашенный от руки тонкими красными полосками. Нашинкованная капуста нового урожая выстаивалась в удаленных подвалах, а затем до отказа набитые пузатые бочки обнаруживались в углу овощного магазина в виде капусты квашеной обыкновенной (слишком кислой, даже если посыпать ее сахаром-песком и полить подсолнечным маслом, как делала бабушка) и восхитительной капусты «Провансаль», в которой попадались помимо той же морковки клюква и маринованный виноград, а иногда – четвертушка хрустящего яблока. Слух о грушах или персиках, которые продавали за углом, тут же распространялся по полуподвальной квартире, и мальчика посылали занимать очередь; так же бывало и под Новый год, когда из Абхазии привозили прохладные на ощупь мандарины, отпускавшиеся не более чем по два килограмма в одни руки. Когда очередь подходила, к мальчику присоединялись родители с запасными авоськами: грех было не купить мандаринов на долю бабушки и прочей родни, обитавшей у нее в квартире: сезон был короткий, а изредка появлявшиеся зимой и весной апельсины были совсем не такими вкусными, и толстая шкурка с них снималась с трудом.

«Наши отроки (то есть всё зреющее поколение) при плохом воспитании, которое не дает им никакой опоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестию поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать.

Талант ничто. Главное – величие нравственное».

Так писал сердитый Жуковский своему опальному любимому ученику в 1826 году, быть может, слегка кривя душой в расчете на прочтение своего послания в высших инстанциях. Так и не вступив с ним в открытый спор, несколько лет спустя Пушкин оставил на полях книги стихов князя Вяземского свою знаменитую и загадочную максиму:

«Поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем иное дело».

При всей внешней простоте этого заявления смысл его остается темным. Если поэзия выше нравственности, то подобным же статусом должен обладать и ее творец. Значит ли это, что поэт имеет святое право не платить по счетам портному, пропивать имение жены, брехать дворовых девушек или похищать у товарища из бумажника сторублевые ассигнации? Появляется соблазн утверждать, что гений и злодейство не только совместимы, но и не могут обходиться друг без друга: для постижения многократно упоминавшейся выше гармонии поэт обязан на собственном опыте познать все светлые и темные стороны жизни, а затем, если уж он и впрямь гениален сделать сознательный выбор в пользу добра (или даже зла – ведь поэзия выше нравственности!).

Грехи прощают за стихи.

Грехи большие – за стихи большие.

Б. Слуцкий

Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья,

И Господа и Дьявола хочу прославить я.

В. Брюсов

Будучи добросовестной посредственностью, Брюсов выразил этот соблазн с завидным простодушием. Дьявол, купивший душу у куда более даровитого Багрицкого, обретает вполне осязаемые черты:

Их нежные кости сосала грязь. Над ними захлопывались рвы. И подпись на приговоре вилась Струей из простреленной головы...

Далее последовало несколько поколений рядовых советских стихотворцев, которые вполне «разучились нищим подавать» и не краснея писали про Пушкина: «Мы царю России возвратили пулю, что послал в тебя Дантес!» Сегодня, однако, эта струя в поэзии представляет собой только исторический интерес, да и то весьма небольшой (за исключением Багрицкого – но о нем разговор особый).

Умолчим о счетах за новый фрак: среди дворянской молодежи пушкинских времен, как известно считалось невыносимым бесчестьем не уплатить карточного долга, а с портными поступали куда менее гуманно. Оставим в покое и напряженные, почти враждебные взаимоотношения между поэзией и церковью, двумя сущностями, которые, откровенно говоря, не испытывают друг в друге особой нужды («Гавриилиада» или «Сказка о попе и работнике его Балде»). Не секрет, однако, что, не призывая к прямой уголовщине, Александр Сергеевич (и не он один) не без воодушевления отражал в своем творчестве всевозможные разновидности антиобщественного поведения. Чего стоит его ода никчемному тунеядцу, за один ужин у Talon спускающему годовой оброк нескольких крепостных семейств!

Пред ним roast-beef окровавленный,  
И трюфли, роскошь юных лет...  
И Страсбурга пирог нетленный  
Меж сыром лимбургским живым  
И ананасом золотым.

А воспевание бродяг цыганского племени, живущих конокрадством и брэнчанием на гитаре? А бесконечные любовные стишки чужим женам? А презрение к «толпе»? «Подите прочь – какое дело поэту мирному до вас!» А «Египетские ночи»? Мыслимо ли, чтобы светский щеголь, юный поэт и заслуженный полководец отдавали свои бесценные жизни за ночь любви с венценосной шлюхой?

Предполагаю, что слово

«выше» наш поэт все-таки употребил в полемическом задоре и не случайно сразу же оговорился. На сочинителей, несомненно, распространяются те же требования к чести и порядочности, что и на вакуумных сварщиков или летчиков-испытателей. Не зря же совершённый смертный грех явно убивает пушкинского Сальери и как человека, и как композитора.

В то же время художник неспроста отличается повышенным любопытством. Он – авантюрист, он склонен испытывать свою земную участь на изгиб, при этом неизбежно совершая ошибки и поддаваясь соблазнам – как и любой его ровесник, только, может быть, чаще. На ошибках не только учатся: без них невозможно увидеть гармонию, штуку далеко не столь однозначную, как нам бы хотелось. (Помните несчастного самоубийцу инженера Кириллова, который уверял, что «всё» в мире хорошо?) Однако для человека, наделенного любовью к миру и целомудрием, грех – источник страдания, которое, к великому прискорбию нашему, тоже входит в гармонию в качестве неотъемлемой части. За преступлением следует наказание, за хмелем – похмелье.

«Ну а действительно-то гениальные, – нахмурясь, спросил Разумихин, – вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую?» – «Зачем тут слово: должны? Тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдает, если жаль жертву... Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть», – прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора».

А что же сама поэзия? Может ли стихотворец, ежедневно ходя на службу, скажем, в банк, призывать своего читателя к нарушению правил морали и кодекса административных правонарушений?

Кто его знает! Но ни одного человеконенавистника среди великих поэтов, во всяком случае, не числится.

Я думаю, поэзия – как и другие виды искусства – и впрямь может быть выше сиюминутных нравственных установлений общества или, по крайней мере, быть совершенно иным делом. Не надо расстреливать несчастных по темницам, не надо просить милостыни у тени. Но выше любви поэзия быть не может.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я – ничто».

Спорить трудно. Возвыситься до этого – еще труднее.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ:

ОБРЕЗАНИЕ ПАСЫНКОВ

1

ПЕРЕДЕЛКИНО

КОНЕЦ АВГУСТА 1937 ГОДА

В пруду купаться строго не разрешалось. Впрочем, и не очень хотелось; к вечеру туда, медленно переставляя жилистые ноги, забредали огромные и неряшливые коровы из колхозного стада, возвращавшиеся с пастбища за березовой рощей: хлебали нечистую воду, высовывая пупырчатые дурно-розовые языки, пялились непросвещенными зрачками из-под спутанных толстых ресниц, походивших бы на человеческие, если б не мелкие мушки, копошащиеся в коросте по границам век. Помахивали неожиданно гибкими хвостами, отгоняя слепней, однако те приземлялись для получения питания ближе к голове, хранильнице неразвитого млекопитающего мозга, куда даже и самый длинномерный хвост никак не достигал.

Тропинка, по которой ступал в воду крупный рогатый скот, давно преобразилась в чавкающее месиво. Оскверненный пруд, однако, оставался живым: по поверхности воды скользили тонконогие водомерки, оставляя за собой недолговечные вмятины, иногда высовывала рот шальная непромысловая рыба (и тут же, переполошившись от близости губительного надводного пространства, уходила в глубину), а в дальнем углу водоема, на некотором расстоянии от заросшего камышом берега, желтело полдюжины кувшинок. На пруду часто обнаруживаются рыболовы из писательского поселка с бамбуковыми удочками, с помощью которых, удовлетворенно улыбаясь, они извлекают из воды плоских карасей и полупрозрачных уклек. Рыболовы, расположившись друг от друга на порядочном расстоянии, ревниво косятся на мальчика, который предположительно может распугать водную дичь. Добычу, как положено, они насаживают на кулан, то есть подручную веточку, проталкиваемую через жабры и рот пойманного создания, которое почти сразу после этого умирает, выпучивая несознательные глаза.

На рыболовах синие или бежевые костюмы из толстого материала с неровной поверхностью, называющегося китайским словом чесуча, иногда – соломенные шляпы со смешными ленточками, концы которых трепещут на ветру. За те полдня, которые они проводят на берегу перед тем, как разойтись по домам («Ну что, Павел Дормидонтович, пора и за работу?» – «Пора, мой друг Юрий Михайлович, пора!»), на крючок попадает пять-шесть склизких чешуйчатых телец: царский ужин для крупной кошки, ничтожный улов для человеческих нужд.

Луг считается как бы ничейным, во всяком случае, коров на нем не пасут, картофеля и турнепса не выращивают, густую траву не выкашивают. Мать разъясняла, что земля принадлежит церковникам, то есть относится к загородной резиденции митрополита, располагавшейся за почти крепостной стеной, которая ограждала луг с одной стороны, однако за почти полным отсутствием монахов заниматься хозяйством некому.

«Что такое р

и зиденция митрополита?» – спрашивал мальчик, полагая, что это слово происходит от слова «риза». «Место жительства важного человека», – послушно отвечала мать. «А кто такие монахи?» – «Мужчины, которые добровольно живут в тюрьме, носят черное платье, похожее на женское, и молятся Богу». (Мальчик уже знал, что Бог – это печальное суеверие угнетенного народа.) «Почему монахов почти нет?» – «Осознали свою глупость, устыдились и разъехались вести нормальную человеческую жизнь по колхозам и фабрикам».

В солнечную погоду за стеной посверкивали граненые медные купола выбеленной церквушки, украшенной где синим, где красным, где зеленым кирпичным узором, а также серела шиферная крыша усадьбы, где, судя по всему, обитал важный человек – митрополит.

«Должно быть, – размышлял мальчик, – он не хотел отпускать своих монахов работать в колхозах и на фабриках, должно быть, пытался уговорить их остаться». Несчастный, одинокий важный человек! Как грустно ему, вероятно, глядеть с третьего этажа своей р

и зиденции на неухоженный луг, на растущий с каждым днем поселок! И церквушка, должно быть, пуста, не собирается угнетенный народ молиться печальному суеверию; недаром у дубовых ворот в р

и зиденцию дежурит неприветливый страж в белой гимнастерке, с огнестрельным оружием в кобуре, не допускающий праздношатающихся. Впрочем, пять-шесть отсталых представительниц обветшавшего населения часто дожидаются у ворот, сжимая пивные бутылки с затычками из мятой газеты, наполненные водой из недалекого родника. Если важный человек, митрополит, выезжает из ворот на своем лаковом «форде» цвета беззвездной ночи, чтобы отправиться в Москву, то ветхие и отсталые женщины, покрытые морщинами от безысходности дореволюционной жизни, повизгивая, протягивают к автомобилю свои жалкие сосуды, а седобородый важный человек (в расшитых золотой нитью мешкообразных белых одеждах, называемых ризами, а также в цилиндрическом белом колпаке) сквозь открытое окно машины протягивает к ним полную отечную руку, складывает пальцы в щепоть, подносит их ко лбу, к животу, к правому, а затем и левому плечу, скрывается вместе с автомобилем, попрыгивающим на ухабах, в дорожной пыли, а утешенные представительницы покидают место происшествия, утирая необъяснимые слезы ссохшимися ладошками.

Странно, удивлялся мальчик. Он в первый же день в поселке пил из этого источника, прильнув губами к вставленной в глинистую землю железной трубе (чуть шире обычной водопроводной): ничего особенного, кроме природной подземной свежести.

Той же свежестью отдавало белье писцов, которое мать полоскала в речке, там, где в нее впадал ручеек, бегущий от родника.

К полудню, когда солнце становилось особенно жарким, некошенная луговая трава начинала исходить различными сельскохозяйственными запахами. За несколько лет заброшенный пятючок земли отвык от человека и скота, развился, воспрял духом, если, конечно, когда-то обладал им. Прежде всего, трава отличалась незаурядной густотой, почти полностью скрывая верхний слой почвы. Она была разнообразна, как в заповедном уголке Альп на раскрашенной картинке из старого учебника ботаники (прикрытой целомудренным листочком кальки). Так, по окраинам луга розовели заросли высоченного иван-чая (отношения к

обычному чаю не имевшего), среди стебельков безымянных топорщились узкие листочки радостно съедобного щавеля. Зеленая саржа листьев земляники: исполненное надежды волнение, затем – разочарование (вспомнил о календаре!), затем – счастье, потому что после удушливого лета земляника дала второй, пускай и не столь обильный, урожай, и среди зелени неожиданно багровеют мелкие пахучие ягоды в белых крапинках – быть может, четверть стакана со всего луга, если бы хватило терпения их собрать. Питательный корм для животноводства – клевер: значительно уменьшенные меховые казачьи шапки, выкрашенные всеми оттенками сиреневого и прогибающиеся под тяжестью механизированных шмелей. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, а в жизни – лиловые, покачивающиеся вниз головой на тонких стебельках. И таинственный львиный зев, цветы которого раскрываются подобно пасти царя зверей, когда на их нижнюю часть садится достаточно упитанная пчела.

Когда подступало время обеда, мальчик собирал из луговых цветов небольшой букет и относил его матери, а та, похвалив сына, ставила цветы в темно-зеленую вазу, украшавшую комод в гостиной, либо в пустую двухлитровую банку на тумбочке в своей спальне.

Правда, изъятые с луга цветы быстро переставали пахнуть и увядали уже через неполные сутки.

2

КАК ПРИВЕЗЛИ КИНО

В СПЕЦФИЛИАЛ ДОМА ТВОРЧЕСТВА

Такая же черная эмка, что приезжала по утрам, только с другим номером, затормозила у калитки, и комендант Дементий Порфирьевич впустил на участок молодого человека в штатском с объемистым фанерным чемоданом, оклеенным коричневым коленкором. Следовавший за ним шофер, также в гражданском обмундировании, уверенно держал на вытянутых руках цирковую пирамиду из круглых алюминиевых коробок.

Невидимый дятел на одной из сосен, на несколько мгновений замолчав, возобновил свою работу, и тут мальчику удалось его заметить: метрах в двадцати наверху, с красными перышками на крыльях и белым хохолком. Всякому «тук!» соответствовало резкое движение крошечной головки и, должно быть, удовлетворенный взгляд, неразличимый на таком расстоянии.

«Беда червякам, роющим ходы под древесной корой, – подумал мальчик, – им не уберечься от дятла, лесного доктора!»

Молодой человек, насвистывая, доставал из чемодана нелегкий аппарат, пыхтя, ставил его в центр обеденного стола и прилаживал к нему две бобины: одну, пустую, – на нижнюю ось, другую, с туго накрученной пленкой, – на верхнюю. Под мышкой у него оказался также рулон плотного, тщательно выбеленного и проклеенного холста. Молодой человек пошарил взглядом по стенам, на мгновение задержался на поясном портрете фараона со священным свитком в руке, затем ушел дальше, к картине «Утро в сосновом бору». Ее-то он и снял со стены, бережно поставил в угол, а освободившийся гвоздик использовал для холста, в верхней части снабженного рейкой и веревочкой. В чемодане обнаружился еще ящичек размером с коробку для взрослых ботинок, который молодой человек присоединил особыми шнурами к аппарату и установил на полу, по центру экрана. Гость поглядел на окна. «Пожалуй, шторы можно и не задерживать, – пробормотал он, – через полтора часа уже

стемнеет. Ты во сколько спать ложишься, шкет?» – «Поздно! – вскричал мальчик в страхе, что ему не позволят смотреть. – Иногда и в одиннадцать. У меня же каникулы!»

Лестница скрипела по-разному, когда по ней спускались коротышка Аркадий Львович, длинноногий и тощий Андрей Петрович либо одутловатый, грузный очкарик Рувим Израилевич. Впрочем, Андрей Петрович однажды на глазах у мальчика, словно школьник, преловким образом съехал вниз по лакированным березовым перилам. А Рувим Израилевич, писатель далеко не старый, спускался – и уж тем более поднимался – одышливо, с перерывами едва ли не на каждом шагу: должно быть, его мучили раны, полученные в Гражданскую. Он и спал, впрочем, прескверно, ворочался и стонал, гремел графином с водой и стаканом, загодя поставленными на прикроватную тумбочку. Звуки эти прорывались в открытое окно его спальни, выходившее на флигель, и достигали ушей мальчика, который, по правде говоря, тоже спал неважно, хотя и по другим причинам.

По нынешнему скрипу ступеней он угадал рассудительного Аркадия Львовича. Видимо, тот слышал последние слова мальчика, потому что потрепал его по волосам и, уяснив происходящее, заверил молодого человека в штатском, что «пацан свой, юный пионер, скромный, не проказник» и «беспокоиться не стоит».

– Пионер пионером, – сказал молодой человек, – а допуск на него оформлен?

– Ну какой тут может быть допуск! – Поэт Аркадий Львович улыбнулся тонкими губами. – Ребенок! Что он понимает?

– Я все понимаю! – насупился уязвленный мальчик.

– Слышите? – сказал поэт Аркадий Львович. – Ну скажи, пионер, чем мы тут заняты с Андреем Петровичем и Рувимом Израилевичем?

– Вы – славные мужи, неутомимые и бдительные в работе весь день, выполняющие задание свое с силой и ловкостью! – с гордостью забарабанил мальчик. – Изобильное питание перед вами... Фараон – ваш верный поставщик, и припасы, выданные вам, весят более, чем работа ваша в желании его накормить вас! Знает он усилия ваши, рвение и старание. Он наполнил амбары для вас хлебом, мясом, вином, дабы поддержать вас... Приказал он рыбакам снабжать вас щуками и угрями, другим из садов – доставлять репу и земляные яблоки, охотникам – привозить диких гусей и перепелок, гончарам – изготовить глиняные сосуды, дабы охлаждалась вода для вас в летнюю жару!

– Смотри, запомнил! А на самом деле?

– Вы писцы, – продолжал мальчик, – находящиеся в творческой

комнатировке в спецфилиале Дома творчества по поручению Народного комиссариата внутренних дел, чтобы внести посильный вклад в борьбу всего народа с затаившимся, но ныне разоблаченным врагом!

– Только не комнатировка, а командировка. И все-таки не писцы, а писатели, не увлекайся египетской историей. В общем, ничего страшного, товарищ младший лейтенант. Сами видите.

– На вашу ответственность, товарищ писатель, – отвечал киномеханик скучным служебным голосом. – Часа через три подъедет товарищ старший майор, примет соответствующее решение. Впрочем, что я говорю! «Ц

ы рк!» пускай смотрит, а там ему уже будет пора и на боковую. Кстати, мое полное звание – младший лейтенант

госбезопасности . Прошу не путать.

Заходящее солнце уже как бы покоится на верхушках сосен дальнего бора. Разрозненные перьевые облака, едва заметные днем, на закате рассиялись канареечным и пунцовым. Трудно поверить, что на самом деле крутится не Солнце, а Земля, поворачиваясь к светилу то одним, то другим боком, но это факт, известный уже Копернику. Более того, Земля вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, при этом поворачиваясь вокруг своей оси. И вся Солнечная система совершает многочисленные иные перемещения и внутри нашей Галактики, и вместе с ней. Следовательно, вдруг сообразил мальчик, никакой неподвижности в мире нет. Даже недвижно сидя на крыльчке, пахнущем свежей сосной сквозь слой масляной краски, человек несется одновременно во множестве направлений, летит, поднимается, опускается. Голова не кружится только потому, что мы давно привыкли к этому вечному движению. А толстогрудый И-5, пролетающий из Внукова в Тушино и посверкивающий на закатном солнце праздничным легким металлом сдвоенных крыльев? Как же он?

На этой мысли мальчик утомился и вышел на двор: все равно кино не начнется без Андрея Петровича и Рувима Израилевича и в любом случае уже почти кончится к неурочному приезду товарища старшего майора, невысокого военного человека с двумя ромбиками в красных петлицах серовато-зеленой гимнастерки с отличительным знаком на рукаве[1], в нарядной синей фуражке с красным фетровым околышем, в тугой портупее из толстой кожи, которая, как было известно мальчику, называется яловой. Темно-синие бриджи товарища старшего майора заправлены в сапоги, сияющие подобно куполам кремлевских соборов[2]. Обычно он прибывал на своем тяжелом ЗИС-101 с выступами на капоте, похожими на торпеды, рано утром, часам к девяти, и, судя по мешкам под ярко-зелеными глазами, тоже страдал бессонницей.

3

ЧТО ПЕРЕПИСЫВАЛ МАЛЬЧИК

ИЗ ВЗРОСЛОЙ КНИГИ В ОБЩУЮ ТЕТРАДКУ,

ИНОГДА ДОБАВЛЯЯ РАССКАЗЫ ОТ СЕБЯ

За границей очень часто люди «случайно» попадают под поезд, под трамвай, выкидываются из окна, отравляются газом. Погибают люди, которые неудобны для той или другой разведки. Убийства, отравления – это излюбленный метод иностранных разведок, которым в наше время они широко пользуются. Наши хозяйственники увлекались одной иностранной фирмой, которая изготовляла пишущие машины. Эта фирма хотя и находится в Америке, но целиком связана с немецкими разведывательными органами. Если наши хозяйственники консультировались у этой фирмы, то они консультировались у разведчиков гестапо. Поэтому с пишущими машинами у наших хозяйственников получался большой конфуз, и только потому, что они не додумались, что эта фирма немецкая, что это отделение гестапо, а это все объясняет. К этим фирмам нужно относиться с большими предосторожностями.

Или такой пример: группа польских перебежчиков пробирается в Советский Союз в 1924 году. Среди этой группы несколько шпионов с определенными заданиями, в том числе Ходыко. Он очень хитро маскировался, признавал и славил Советский Союз, ругал Польшу и т. д. Затем Ходыко получает директиву от разведки, чтобы связаться с неким Ходыкевичем. Ходыкевич дал ему задание вести разведку в гарнизоне. Ходыко задание выполнил. В 1928 году Ходыкевич был арестован как шпион и удушен. Не зная, выдал или не выдал его Ходыкевич, Ходыко прекращает всякую работу и два года абсолютно ничего не делает по разведке. В

1930 году его вызывают в некое консульство и дают определенное задание – устроиться официантом в каком-нибудь ресторанчике в пригороде Ленинграда. Он добивается этого. В ресторане бывают командиры одной из авиационных частей. Разведка ему дает задание работать и держаться так до начала войны. А во время войны «мы тебе пришлем порошок, и весь командный состав этим порошком отравишь». В 1936 году Ходыко был разоблачен НКВД и удушен.

Однажды одна маленькая девочка увидела в магазине красивую стеклянную куклу. Она привела в магазин своих родителей и попросила купить ей эту куклу. Девочка весь день играла с куклой, а вечером положила ее на стол и легла спать. Утром, когда она проснулась, ей сказали, что умерла ее мать. Девочка долго плакала, а на следующее утро умер ее отец, а еще через день – бабушка.

Она осталась одна с маленьким братом. Вечером, когда они ложились спать, девочка испугалась темноты и включила свет во всех комнатах. Маленьким детям было страшно. Они вдруг увидели, что из ящика с игрушками вылезла стеклянная кукла. Ноги ее вытянулись, и она шагнула к детям. Ее большие руки с длинными пальцами доставали до пола. Она подошла к кровати брата и схватила его за шею руками. Из пальцев вылезли иголки, и она вонзила их ему в горло. Испугавшись, девочка убежала из квартиры и позвонила соседям. Соседи вызвали милицию. Когда приехала милиция, брат был уже мертв, а кукла, маленькая стеклянная игрушка, лежала в ящике.

На следующую ночь милиционеры сами видели, как кукла вставала из ящика и ходила по комнате, но никого не нашла. Тогда они взяли стеклянную куклу, заперли в железный ящик и поехали на завод, где этих кукол делают.

На заводе все было нормально. Никто не знал о таких страшных куклах, но один милиционер вдруг нечаянно наступил на плитку в полу, и пол поехал в сторону, а там, внизу, другой завод; и делают этих кукол старухи из дома престарелых. Тут их всех и директора завода арестовали и увезли в тюрьму.

Чаще всего техника опечаток такова: заменяются одна-две буквы в одном слове или выбрасывается одна буква, и фраза в целом приобретает контрреволюционный смысл. Скажем, вместо слова «вскрыть» набирается «скрыть»; вместо «грозное предупреждение» – «грязное предупреждение»; вместо «брестский мир» – «братский мир» и т. д.

Природа всех этих, с позволения сказать, «опечаток» совершенно ясна и в комментариях не нуждается. Нередко враг широко использует притупление или отсутствие бдительности редакционных работников и руководства типографии в другой области – верстке и клише. Нам известны факты, когда ныне разоблаченные и удушенные диверсанты ловко и тонко врисовывали в обыкновенный снимок портреты врагов народа, которые становятся отчетливо видными, если газету и снимок рассматривать со всех сторон.

В 1922 году некий Б., проживая в Ленинграде, принял иностранное подданство. После этого он отправил свою семью за границу, а сам остался жить в Ленинграде. Через несколько лет он решил также уехать за границу. Но вместо выдачи визы Б. в консульстве стали его подкупать и разрешили пользоваться продуктами из консульского склада. В знак благодарности Б. настраивал рояли консульства. Впоследствии представитель этого консульства дал Б. несколько заданий по сбору сведений шпионского характера. А когда Б. это выполнил, он предложил ему принять советское гражданство. После принятия советского гражданства Б. получил задание от консула – проникнуть в качестве настройщика роялей в воинские части и собирать необходимые сведения о вооружениях и личном составе. Как настройщик роялей, Б. имел все возможности к тому, чтобы проникнуть на интересующие консула объекты. Поэтому вскоре Б. удалось пристроиться настройщиком роялей на кораблях и в фортах Балтфлота, где он сумел завербовать несколько лиц. Через них и путем личных

наблюдений Б., ныне разоблаченный НКВД и удушенный, проводил шпионскую работу в Балтфлоте.

Одна девочка стала убираться в доме. Радио говорит:

– Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твой город.

Девочка не прячется. Радио опять:

– Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твой дом.

Девочка не прячется. Радио:

– Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твою квартиру.

Девочка не прячется. Радио снова:

– Девочка, девочка, гроб на колесиках уже у тебя за спиной.

Девочка не спряталась, и гроб ее прибил, подвесил к потолку и поставил под нее таз, чтобы кровь стекала.

При Осоавиахиме в Ленинграде существует секция кровавого собаководства. Казалось бы, что общего между работой фашистского разведчика и секцией кровавого собаководства Осоавиахима? В этой секции ныне разоблаченная и удушенная С. периодически приобретала породистых собак, сделалась завсегдатаем собачьих выставок, через газеты делала объявления о продаже того или иного чистокровного пса и таким образом приобретала необходимые знакомства. Предпочитая продажу собак военным, продавала себе в убыток. Под видом любви к собакам посещала потом покупателей, справляясь о здоровье собачки. Вот один из методов использования фашистской разведкой для своих целей, казалось бы, самого безобидного занятия.

На одной из текстильных фабрик Москвы работала жена пожарника Третьяковской галереи Б. На эту фабрику приехал работать немецкий инженер-специалист. Инженер, присмотревшись к окружающим, знакомится с женой пожарника Б. и начинает за ней ухаживать. Он делает ей подарки: чулки, пудру и т. д. – и оказывает ей очень много внимания. Она его полюбила, он тоже клянется ей в своих чувствах и сообщает, что, ко всему прочему, он разведчик одного иностранного государства. В доказательство любви к нему инженер просит ее выкрасть некоторые документы у мужа-пожарника. А преступный муж-пожарник, грубо нарушая порядок, носит секретные документы домой и не замечает пропажи некоторых из них. Через некоторое время жена знакомит мужа со своим любовником-разведчиком. Разведчик ставит вопрос ребром: «Что нам особо знакомиться, мы давно знакомы, так как через вашу жену я получал кое-какие секретные материалы. Давайте говорить открыто: или будем друзьями и вы мне поможете поджечь Третьяковскую галерею, или вам плохо будет». Пожарник Б., боясь наказания за свое преступное ротозейство, принимает предложение иностранного агента. Сейчас все трое разоблачены и удушены.

Одна женщина очень любила тюльпаны. Она их каждый день покупала на базаре. Один раз посылает сына, говорит ему:

– Купи тюльпанов, только черные не покупай. Сын идет на базар, а там только черные. Купил черных. Приходит домой. Мать говорит:

– Зачем купил?

А он:

– Ну ладно, тоже красивые.

Ночью из черных тюльпанов начали протягиваться какие-то руки, они раз – и задушили мать. На следующий день эти руки тоже начали протягиваться. Отца задушили. А на следующую ночь сын вместо себя куклу положил. Руки начали протягиваться к кукле, куклу задушили. А мальчишка этот метал нож хорошо. Он метнул и одну руку ранил.

На следующий день вызвал милицию. Руки начали протягиваться – милиционер прострелил три пальца. Они пошли на базар, а у того продавца, который эти тюльпаны продавал, на руке трех пальцев нет и рука прострелена.

4

## РАЗГОВОР ТРЕХ ПИСЦОВ О ФИЛОСОФИИ, ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВЕ И ВОСПИТАНИИ НОВОГО ГОМУНКУЛА

В сыром и темнеющем воздухе у виноградных кустов вдруг промелькнула искра несуществующего зеленоватого оттенка. Должно быть, соседи жгут костер из зеленых веток, подумал мальчик. Он ошибся: чуть выше тут же возникла искра вторая, однако не летящая ввысь, как положено, чтобы умереть в назначенный краткий миг, но как бы обладающая жизнью и свободой. Вначале она парила в воздухе, противодействуя ветру, затем приподнялась, затем погасла, чтобы почти сразу вспыхнуть снова. К ней присоединилась еще одна, вторая, третья, и вскоре ложные искры выстроились в некий хоровод, независимый от ветра и схожий со звездным небом, безучастно горбившимся над вздыхающей от усталости дачей в этот совершенно ясный поздний вечер. Правда, рассеявшиеся перистые облака вполне могли возникнуть снова за счет обильного дыма, клубившегося над домом: суровый Дементий решил затопить печь, а доставленные утром на грузовике осиновые дрова – старые запасы отменных березовых он старался тратить экономно – оказались довольно сырыми. (Образование облаков из дыма мальчик считал научным фактом.)

Раньше он только слышал о светлячках. Представлялось необходимым изловить хотя бы одного, чтобы выяснить секрет загадочного свечения или, по крайней мере, понаблюдать за ним более пристально. Однако за краткое мгновение зеленоватой вспышки как поймать насекомое, так и предвидеть его дальнейшее местонахождение, в общем, находилось за пределами способностей человека. Может быть, дождаться утра? Нет, в светлое время суток таинственный жук, вероятно, никак не отличался от своих несветящихся собратьев (августовских жуков?). К тому же он был мелок и явно обладал повышенной увертливостью по сравнению с легко ловящимся мягкокрылым жуком-пожарником (нежного янтарно-коричневого цвета), не говоря уж о жуках майских, в чем-то подобных карликовым крылатым танкам на крепких мохнатых ногах.

О! Миновавшей весной в арбатскую комнату на третьем этаже на свет лампы под сиреневым абажуром залетало немало майских жуков, должно быть, испугавшихся вечернего трамвая, скрежетавшего под окном. И впрямь: набитый человеческими телами трамвай поутру, да и ранним вечером, когда утомленные трудящиеся возвращались в свои жилища, стучал гораздо мягче, чем полупустой ближе к ночи. Богатый улов помещался в стеклянную банку, неплотно прикрытую куском картона. Карликовые танки принимали свою участь безропотно, хотя в удачный вечер им и приходилось громоздиться друг на друге, толкаясь в стены своей тюрьмы пружинными усиками-антеннами. Взлетать не пытался никто.

К утру они успевали уgomониться.

Мальчик подходил к раскрытому окну, извлекал одну из сонных тварей и сажал ее на вытянутую ладонь, подталкивая, чтобы жук пополз по указательному пальцу. «Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, черного и белого, только не горелого». Жук, не обижаясь, что его незаслуженно именуют насекомым другого вида, поднимал прочные, почти металлические надкрылья, посверкивавшие блеском окислившейся латуни, и под ними обнаруживались трепетные, сухие, прозрачные пленочки, превращавшие его тело в природный летательный аппарат. И жужжание улетающего было сладостно для слуха. А в дачной местности стояла тишина, только лаяли от скуки сторожевые псы в писательском поселке да писцы, дожидаясь товарища старшего майора, разумно беседовали за поздним чаепитием. Мальчик пристроился на пяточке у забора, за виноградными лозами, где уже дня три как разместил на траве бесхозную рогожку, отыскавшуюся во флигеле. Сиделось удобно, кое-что даже было видно через окно, а уж слышно – тем более.

– С

е м

б олисты, – говорил Андрей Петрович, двигая худыми кистями рук, – выдвигали теорию жизнетворчества. Ну-ну, не смотрите на меня волчьими глазами, товарищи по цеху. Никто – подчеркиваю, никто! – тут не собирается заниматься защитой

дикоданса . Но еще Владимир Ильич указывал, что новая пролетарская культура должна взять все самое передовое от культуры буржуазной.

Светлячок, исчерпав запас сияния, иногда садился на лист винограда, и тут возникала надежда на его поимку.

– Возьмем наше задание, – продолжал Андрей Петрович, – знак доверия партии. Пр

и творение искусства в жизнь в соответствии с д

и к

о дентской фил

а софией означало грязь и упадок, правда, Рувим Израилевич?

– Должно быть, – пожал плечами вопрошаемый. – Я был молодым и жизнерадостным студентом тогда и только морщился от худосочного петербургского наречия, негодного для разговоров с женщинами и хризантемами.

– Я уже начал работать у отца помощником скорняка. Не знаю насчет грязи, но аромат стоял тот еще без всякого д

и к

о дентства, особенно когда выделявали лайку[3]. Впрочем, я привык быстро.

– У вашего отца были наемные рабочие, Аркадий Львович? Я по-дружески.

– Что вы, Андрей Петрович. Он сам, мать, я, два брата, сестра. Все это, смею вас уверить, рассказано в моем собственноручном жизнеописании, представленном секретариату Союза писателей еще в 1934 году. Напомню также, что наша новая Конституция отменяет дискриминацию по признаку социального происхождения. А откуда у вас такие обширные знания о философии д

и к

о данса? Вы же – я не ошибаюсь – были на момент заката с

е м

б олизма учеником сапожника? Ванькой, можно сказать, Жуковым?

Неосторожный светлячок действительно спланировал на шершавый виноградный лист прямо перед лицом мальчика, еще не успев погаснуть. Одно стремительное движение – и в пальцах обнаружилось что-то мягкое, похожее на крошечную голую гусеницу. Он бережно поместил ее в припасенную на всякий случай спичечную коробку с портретами героев-папанинцев. Прислонил коробку к уху и вздохнул с облегчением: светлячок, очевидно, не пострадал при поимке, так как подавал признаки жизни в виде слабого шуршания, хотя свечения и не возобновил. Лампочка Ильича – великое изобретение советской мысли, прирученное ленинским гением. Однако для хозяйственных нужд – чтения, мелкой домашней работы – в будущем, возможно, люди станут пользоваться биохимической энергией светлячков, этих поразительных созданий природы. Достаточно разработать научно обоснованный режим питания, а еще лучше – с помощью мичуринской селекции вывести светлячков размером с черепаху, в таком же роговом панцире, и вечером вешать их на гвоздик, а на ночь, когда освещение не нужно, помещать в специальный садок для отдыха и приема пищи.

– Не я один был учеником сапожника, уважаемый Аркадий Львович. Но скажу больше: родительница моя, возросшая служанкой в семье одного из старших чиновников, играла с детьми его и училась вместе с ними. Она владела хеттским и ассирийским языками, умела писать, читать и исполнять мелодичные песни на лютне, сжимая плектор из хряща крокодила своими божественными длинными пальцами. И даже на сестре с головой рогатой богини Хатхор научилась играть она, хотя низкое происхождение и означало, что за одно прикосновение к священному инструменту ее могли бросить в темницу. Сердце ее, однако, неустанно рвалось обратно к народу. И когда она повстречалась с юным луноликим мятежником из земли Уц, готовым отдать всю кровь за народное дело, Любовь Орлова мгновенно проснулась в ее душе. Мать бежала из дома чиновника, и сладостно провели они первую ночь с молодым мужем, зачав сына, в чем помог им великий бог Мин. Но на следующий день стражники заключили отца в узилище за хулу на фараона, а затем обратили в рабство. Бедствовала мать моя и в четырнадцать лет забрала меня из училища и определила в ремесленное обучение изготовителю сандалий и ременных бичей.

– А какой матерьял для сапог лучше, Андрей Петрович, – чепрак, шора? Может быть, юфть? Я тоже по-дружески.

– Типун вам на язык, уважаемый Рувим Израилевич, хоть вы и бывший кавалерист. Чепрак годится только для подошвы, шора – на худой конец, для ранта. Юфть, которую все чаще называют хромом, – наилучший материал для голенища. А в нынешние времена – кирза, разумеется. Наш, российский материал изобретения Михаила Львовича Поморцева. Пропускает воздух, чтобы легко дышала нога бойца, задерживает влагу. Запасы кирзы не зависят от капризов косного крестьянства, под любым предлогом норвящего использовать шкуры крупного рогатого скота для личных нужд. Прекрасная вещь.

5

ЧАЕПИТИЕ ЛЮДЕЙ ВО ФЛИГЕЛЕ

Во флигеле тоже пьют чай с вареньем, хотя и без пирожных, но тут уже не надо подсматривать в раскрытое окно и корчиться на промокшей рогожке. В серединке просторной кухни осанисто высится квадратный дубовый стол, накрытый не непрактичной скатертью, а почти новой клеенкой в синих васильках. Сиденья увесистых стульев обиты глянцевой, чуть потрескавшейся кожей, держащейся на звездчатых гвоздиках с латунными шляпками.

– Так все имущество и оставили, товарищ комендант? – спрашивает киномеханик.

– В городской квартире особого имущества и не было, почти все казенное. Личное барахло свезли на склад для дальнейшей реализации, вещдоки приобщили к делу: книги, записи, незарегистрированный парабеллум. Что касается дачи, то Б. любил настаивать, что он литератор, и дачу себе отгрохал не в Горках, как положено по рангу, а в поселке Союза. Товарищ народный комиссар предложил создать тут особый филиал Дома творчества: на время, а может быть, и навсегда. Руководство одобрило. Дом поставлен на широкую ногу, зачем же вывозить народное добро, а потом заменять другой обстановкой? Чистить, разумеется, пришлось многое. Забор, конечно, сменили. Впрочем, в последние годы ему уже никакой дачи в Горках не полагалось, – добавляет Дементий, подумав.

– Посмотрел я на ваши сады-огороды. Неужели эта кабинетная гнида сама ухаживала за таким сложным хозяйством?

– Говорят, развлекался и этим: фотографии с лопатой и граблями имеются. Серьезную работу выполнял, конечно, нанятый садовник – поляк, такой же шпион, однако сведущий в своем ремесле. Весь комплект садового инвентаря сохранился, кое-какой урожай как раз поспекает. Виноград заметили?

Мария, робко улыбаясь, наливает чай из красавца самовара, сияющего медными боками, по тонким сосудам в не ржавеющих никогда подстаканниках. Очевидно, ей приятно отдыхать после утомительного дня в обществе двух командиров, да и те время от времени любят молодую сотрудницей в непритязательном, но тщательно выглаженном сарафане (синее, красное, белое). Самовар не простой, а электрический, изготовленный мастерами по особому заказу бывшего хозяина. Он кипит быстро и без дыма, только включать его следует не больше, чем на десять минут, чтобы не перегорели пробки и не пришлось, как вчера, ставить жучка. Дементий Порфирьевич долго и обидно хохотал, даже по коленям себя хлопал от восторга, когда мальчик спросил, какое отношение имеют насекомые к электричеству (светлячков он тогда еще не видел), но впоследствии сжалился: не только объяснил, как действует предохранитель, но и допустил несовершеннолетнего постоять у распределительного щита, когда возился над фарфоровыми пробками.

– Позавчера я собрала остатки малины с одичавшего куста, растущего в дальнем углу участка, – говорит мать, – товарищи писцы с удовольствием покушали ее на десерт, и мальчишке тоже досталось.

– А благоуханное варенье? Оттуда же?

– Нет, товарищ младший лейтенант госбезопасности, на варенье бы не хватило. К тому же оно клубничное, вы заметили? Это из старых запасов, хранившихся на даче.

– А вообще со снабжением у вас как, товарищ комендант, позвольте осведомиться?

– Для товарищей писцов на все время пребывания в Доме творчества особым распоряжением предусмотрен кремлевский паек высшей категории.

– Ого! – восхищается киномеханик. – А обслуживающий персонал и дирекция?

– Вы про нас с очаровательной Машей? Хватает, не жалуемся. О высшей категории речи не

идет, конечно, но кое-что доставляют. К тому же у творческих работников не самый зверский аппетит. Многие остаются нетронутым.

– Вы заметили птицу на участке, Сергей Маркович?

– Упитанный, превосходный гусь.

– Третий день упрашиваю наших гостей – не резать ли. Глядишь, привезут второго – что прикажете с ними делать? Птицеферму открывать?

Гуси – уменьшившиеся со временем потомки травоядных нелетающих диплодоков, также обладателей длинной шеи и маленькой, почти безмозглой головы. Правда, благодаря естественному отбору нынешние диплодоки не только обросли водонепроницаемыми перьями и обзавелись примитивными крыльями, но и поумнели по сравнению с предками. Едва осознав опасность, пусть даже исходящую от детеныша человека, они убегают стремительнее эфиопского гепарда, а если застать гуся врасплох, он с удручающим шипением щиплетя, оставляя на тянущейся к нему руке лилово-черный синяк размером с серебряный полтинник.

– А холодильник?

Деревянный шкаф с четырьмя дверцами, обитыми изнутри тусклым металлом, занимает добрую четверть кухни. В верхнее отделение Дементий каждое утро помещает извлеченный из подпола брусок мутного льда с прилипшими опилками; тая, он превращается в воду, собирающуюся в нижней части холодильника в эмалированном лотке. А в трех остальных отделениях царит мартовская прохлада, не дающая портиться ни семге, ни зловонному сыру рокфор, ни сарделькам, ни кускам сырого мяса, обернутым в пергаментную бумагу.

– Забит под завязку. – Мать огорченно взмахивает рукой. – Одного тощего барашка третий день доест не могут. Завтра приготовлю суп харчо. Большая часть мяса уже срезана на шашлык, но на костях осталось достаточное количество.

– Откуда тебе известен рецепт супа харчо, Мария?

– Во флигеле осталась книга о вкусной и здоровой пище с предисловием народного комиссара Микояна. И еще одну поваренную книгу про кавказскую кухню доставили в самый первый день. Ты что, забыл, товарищ комендант?

– Наши писцы хорошо понимают, чьи они гости, – отмечает Дементий, и мужественное лицо его твердеет. – Выпьем, возлюбленные мои товарищи, за его бесценное здоровье. Хвала тебе, великий, родивший богов, создавший один себя самого, сотворивший Обе Земли, создавший себя силой плоти своей!

Кинемеханик встает вслед за Дементием и разливает из графина багровую огненную воду, настоянную на клюкве, по трем маленьким стаканчикам, так называемым стопкам.

– Создал он тело свое сам: нет отца, зачавшего образ его, нет матери, родившей его, нет места, из которого он вышел на подвиги. Лежала земля во мраке, но грянул свет после того, как он возник!

Мать Мария, не отказываясь, также подносит свой стаканчик к губам, покрытым нежно-алой помадой.

– Озарил ты родину лучами своими, когда лик твой засиял, – подхватывает она, и глаза ее, кажется, сами начинают светиться. – Прозрели люди, когда сверкнуло правое око твое впервые, левое же око твое навеки прогнало тьму ночную!

Встает и мальчик, подняв свой стакан с недопитым чаем, чтобы чокнуться со взрослыми.

Упомянутый барашек тоже изначально являлся живым, со свалявшейся грязно-бурой шерстью и недоуменными стрекозьими глазами. Дементий сильно сердился на сержанта, под расписку доставившего очередной паек, возглашая, что спецфилиал Дома творчества – не скотобойня, сам же он – комендант, а не мясник. Обошлось: Мария с сыном, развязав барашку худые ноги с неизношенными раздвоенными копытцами, отвели его на небольшой пристанционный рынок, где обнаружился торговец коровьим мясом – с лопатообразной спутанной бородой, в серой рубашке, подпоясанной изношенным кожаным ремнем, в перепачканном белом переднике. За работу (быстро и бесшумно осуществленную в глухом сарайчике на краю рынка) он попросил только голову и шкуру животного. Возвращались молча; из холщового мешка, оказавшегося довольно тяжелым, сочилились, падая на дорогу, капли крови, привлекавшие многочисленных бронзово-зеленых мух; кроме того, за путниками увязалось три, может быть, даже четыре бродячих пса, продолжительно и тревожно лаявших впоследствии у запертой калитки.

6

## ДНЕВНИКОВЫЕ И ИНЫЕ ЗАПИСИ ЖИЛЬЦОВ

### СПЕЦФИЛИАЛА ДОМА ТВОРЧЕСТВА

Что записывает Андрей Петрович в черновой блокнот. Видно, что трудолюбивая Мария от души радуется неожиданному почетному поручению, тем более что оно предоставило ей бесплатную возможность вывезти за город любознательного, но тщедушного и малокровного сына, которому не досталось путевки в пионерский лагерь. Маша едина во многих лицах: она в одиночку выполняет нелегкие обязанности повара, уборщицы, посудомойки, официантки, кастелянши, прачки. Они, разумеется, облегчаются тем, что нам, советским писцам, никогда не придет в голову по-барски вести себя с обслуживающим персоналом; мы с хлопотуньей Машей и исполнительным Дементием – равноправные члены одной бригады, выполняющей ответственнейшее задание партии. Не все у старательной Маши получается одинаково удачно; в котлеты, на мой взгляд, она кладет слишком много хлеба, пренебрегает чесноком, столь богатым витаминами, а в компот, напротив, добавляет слишком мало сахара, да и яйца всмятку, несмотря на мои многочисленные указания, у нее всякий раз перевариваются, иной раз и трескаясь. А ведь этого легко избежать; достаточно класть яйца не в кипяток, а в холодную воду с чайной ложкой уксуса на литр и внимательно следить за продолжительностью варки, не отвлекаясь на капризы ребенка, явно мешающего отправлению служебных обязанностей. Но стоит ли жаловаться, стоит ли наносить ущерб собственной душе, усомнившись в совершенстве благосклонности царской? В целом бытовая сторона нашей творческой командировки организована на непревзойденном уровне, а увлекательной работы такой огромный объем, что отсутствия прогулок не замечаешь, порою даже радуешься ему – т. к. тем самым избегаешь от незапланированных встреч с коллегами, бог весть каким путем – и уж точно не за счет таланта! – добившимися выделения дачных участков, от их вечных дрызг, интриг, от горечи, которую испытываешь, когда видишь, что многие так называемые советские писатели в глубине души еще не выбрались из мелкобуржуазного болота и порою бесстыдно обнажают свое классово чуждое нутро, с самодовольным придыханием произнося слова вроде «изразцы» или «дранка». В царской обители прекрасно жить... ее зернохранилища наполнены пшеницей и полбой, поднимаются они до небес... гранаты и яблоки, оливки, фиги из фруктовых садов, сладкое вино из Кенкем,

превосходный мед, жирные карпы из царских прудов... Калорийное и разнообразное питание, алкогольные напитки в умеренных количествах, чудесная для позднего лета погода (за всю последнюю неделю – ни одного дождя!), почетный труд на благо Родины – чего еще остается желать!

Что записывает Рувим Израилевич в черновой блокнот. Да, мы существуем по законам военного времени, продиктованным необходимостью коллективного выживания. Чистоплюи из таких же, как я, бывших попутчиков с придыханием нашептывают на своих четырехметровых кухнях в Нащокинском переулке (на скорую руку сварганенные стены, жульническая побелка в один слой, зловещий лифт, просыпающийся в три часа ночи): на Гражданской якобы лично расследовал, выносил известно какие приговоры, выводил в расход. Я не стыдился бы: революции не делают в лайковых перчатках. Вероятно, даже гордился бы. Но убивать я так и не научился. Лишний раз сообщу для потомков: да, я служил старшим писарем в Чрезвычайной комиссии. Да, я видел, как убивают выстрелом в лицо живое существо, которое любило класть в чай варенье из райских яблочек серебряной ложкой и, покашливая от смущения, просило свою женщину надеть для любви кружевные трусики. Этим женщинам убивали тоже. Так творилась история. Священное для меня, писца, слово. Но обладает ли история смыслом без воодушевленных и красноречивых свидетелей? Без летописцев? Сегодняшняя история есть смертный бой угнетенных с угнетателями. Нравится нам это или нет, но она по-прежнему стучит по российским проселкам буденновскими копытами, сминая недовольных и случайных. Изгнать его, убить, уничтожить имя его, истребить друзей его, изгладить память о нем и близких его, ибо он возмутитель города и мятежник; соблазн и смуту сеет он среди юных.

В «Pernaud» еще с войны отсутствует полынь, только солдатский спирт из перегнивших отжимок винограда да детские капли от василеостровской ангины, которые несла мне, печалась, по длинному пещерному коридору сутулая и бездетная тетка Рахиль. Мне уже никогда не попробовать настоящего абсента. Предаёт даже писчая бумага. Je voudrais crever maintenant, juste crever. Ne me jugez pas[4]. Источник воды для истомленного жаждой, молоко для голодного грудного младенца – вот что такое тщетно призываемая смерть для того, к кому она медлит прийти. И некуда укрыться от писателей, чекистов и рыбководов, которые расхаживают на петушиных голеньях, облаченных в палаческие юфтевые сапожки, за стенками аквариума. Мы еще будем жирными, розовыми, самодовольными стариками, сказал я тогда Эдику. Мы вернемся в Одессу и будем коротать время на лавочках у своих дворов, и при воспоминаниях о былых любовных подвигах будет сочиться сладкая слюна из беззубых наших ртов. Еще не ведая, что через два часа умрет от удушья, он рачительно сыпал желто-коричневый порошок из сушеных дафний своим меченосцам и скаляриям, и те корыстно открывали не ведающие воздуха рты – также беззубые, но от рождения.

Что записывает Аркадий Львович в черновой блокнот. Есть доля правды в рассуждениях А.П. Был грех, когда-то я называл его полуграмотным оппортунистом, прокравшимся в Союз писателей в неразберихе после ликвидации РАПП из своекорыстных соображений. Признаю свою неправоту перед высшим судьей – самим собою. Готов признать ее и в иных компетентных инстанциях. Начинаю понимать: если бы наша организация состояла только из идеологически шуплых творцов, озабоченных вопросами гармонии между формой и содержанием, ее следовало бы немедля разогнать. Нам необходимы крепкие, простые, быть может – угрюмые, неладно скроенные, но крепко сшитые люди, лучше нас понимающие надлежащее направление (вектор) общественного движения. Возьмем лично меня. Сколько сил я истратил на создание ударного стиха! Казалось бы, почивай на лаврах, открыватель новой страницы в поэзии русской! Не собираюсь умалять своих достижений; сам Тынянов признавал их несомненным шагом вперед в развитии русской литературы, и Эйхенбаум не возражал ему. Однако люди вроде А.П., с их скромным, если вообще существующим литературным даром, являются неотъемлемейшим элементом сегодняшнего литературного процесса, поскольку, в отличие от «небожителей», чем и сам грешу, разумеется, они

способны верно – нюхом? осязанием? – ощущать истинное содержание небывалой беспрецедентной сегодняшней жизни и указывать на него нам – не директивами, на которые есть ЦК и аппарат &lt;nrзб.&gt; фараона, да пребудет он весел, здоров и счастлив, да рассеются врази его и укрепится десница его, ласкающая верных и поражающая непокорных! – но личным примером. И вот мне, гордецу, урок: именно А.П., человек незамысловатый, однако корневой, веселый упрямец, сумел увидеть в нашем задании подлинно исторические перспективы. Дух захватывает: какой Пушкин, какой Гете могли мечтать о столь неразрывном слиянии жизни и искусства? Бывало, восторженные дамочки в мадаполамовых блузках увлажняли батистовые платочки лицемерными слезами, огорчаясь выдуманном «страданиям» старого дурака, раздавшего имущество корыстным дочерям и поплатившегося за это собственной головой. Срубили, понимаешь ли, вишневый сад! Такие, как А.П., призваны давать толчок размышлениям и творчеству людей истинно думающих. И я считаю: настает новая эпоха не только в политике и в экономике, философии и юриспруденции. Достоевский считал произведения литературы росой, которая должна благотворно лечь на души молодого поколения. В нашем случае это, возможно, кровавая роса. Но разве кровь бешеных собак – это кровь? И мы, инженеры человеческих душ, должны с честью принять этот вызов.

Что записывает Дементий Порфирьевич в журнал дежурств . 8:30. Принят по описи доставленный паек (см. прилагаемую расписку). Приняты по описи доставленные документы, включая один (1) спецпакет с пометкой «О. Э. М.». 10:10. Писцы завершили завтрак (см. меню, представленное сержантом Свиридовой) и разошлись по рабочим местам. 14:30. Обед писцов совместно с комендантом СФ ДТ (см. меню, представленное сержантом Свиридовой). Разговоры на бытовые темы. Также краткое обсуждение доставленных утром материалов в спецпакете; общая реакция по существу: неодобрительная. Зафиксированы жалобы на недостаток времени; по словам всех трех писцов, главное задание отнимает у них слишком много сил, чтобы выполнять побочные поручения. 15:50. Доставка канцтоваров и алкогольных напитков (см. прилагаемую расписку), в том числе одной (1) бутылки напитка «Pernaud» по особому заказу тов. Бруни. 17:10. Член Союза советских писателей Б.Л. Пастернак пытался проникнуть в СФ ДТ под предлогом необходимости встречи с тов. Бруни. В допуске в режимное учреждение отказано. Выслушав должную отповедь, Б.Л. Пастернак удаляется, горбясь и взмахивая длинными, как у павиана, руками. 18:00. Прибытие киномеханического отряда (один чел.), разворачивание приспособлений для показа кинематографических фильмов. 18:30. Ужин писцов (см. меню, представленное сержантом Свиридовой) под слуховым контролем коменданта СФ ДТ. За чаепитием затронута тема о социальном происхождении членов писательской бригады. Ответы соответствуют анкетным данным. Разговоры на бытовые темы. Отмечено волнение писцов в связи с объявленным неурочным посещением товарища старшего майора и демонстрацией секретного фильма. Отмечена радость двух писцов в связи с предстоящим индивидуально-развлекательным сеансом патриотического высокохудожественного фильма

« Ц

ы рк

!» и подавленная реакция тов. Бруни. 19:45. Сеанс патриотического высокохудожественного фильма

« Ц

ы рк

!» . Тов. Бруни, являющийся одним из соавторов сценария данного фильма, ушел с середины просмотра. Довожу до сведения, что в титрах фильма оказались вредительски невырезанными кадры с упоминанием ныне разоблаченного и удушенного шпиона Швеции,

«оператора» В. Нильсена. 21:25. При осмотре тумбочки тов. Бруни, вышедшего на двор для курения папирос «Метро», обнаружена опустошенная бутылка напитка «Pernaud». 22:05. Прибытие товарища старшего майора. 22:25. Показ документального спецфильма и его обсуждение.

7

## ОТРЫВОК ИЗ СОЧИНЕНИЯ МАЛЬЧИКА

### «КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО»

Конец лета запомнился мне особенно. Мы с мамой провели его на даче со знаменитыми писателями. Случалось много разнообразного и интересного. Особенно мне запомнился просмотр высокохудожественной патриотической кино

а медии «Ц

ы рк!», где заглавные роли исполняют знаменитая актриса Любовь Орлова и знаменитый полярный летчик-орде

но сец Иван Мартынов. Советская Любовь Орлова играет американскую акробатку, у которой имеется небольшой дощкольник черного цвета, так называемый негритенок, его играет Джеймс Паттерсон[5]. И беспощадный хозяин-фашист с гитлеровскими усами. Сначала фашист лицемерно и корыстно якобы спасает американскую акробатку от внесудебной расправы, потом порабощает ее в рабство и увозит на гастроли в СССР. Там Любовь Орлова стремится из пушки на искусственную луну и исполняет в ц

ы рке развлекательные танцы и песни, обнажая жемчужными зубами и принося фашисту непомерные заработки в валюте. Фашист, однако, бьет Любовь Орлову последним и решительным боем, и она рыдает безнадежными слезами из своих живописных глаз, а знаменитый полярный орде

но сец Иван Мартынов, наоборот, преподносит ей букет русских цветов. С этого начинается любовь между Любовью Орловой и полярным орлом Иваном Мартыновым. Вернее, с когда они вместе поют пронзительный народный лирический марш на слова Исаака Дунаевского «Много в ней лесов, полей и рек», аккомпанируя себе на рояле с видом на древний исторический Кремль и Красную площадь, сердце нашей великой страны, над которой, по верному выражению композитора Дунаевского-Кумача, «весенний ветер веет» и «бережем, как ласковую мать»[6]. Лица влюбленных отражаются в черной лакированной крышке рояля в перевернутом вниз головой изображении, и это заставляет нас не забывать, что фильм представляет собой кино

а медию.

Американский матерый фашист требует с советского ц

ы рка чудовищные суммы денег за выступления Любви Орловой, хотя сам только злобно расхаживает, невежливо не снимая в помещении своей неприглядной головной шляпы-«котелка», и лишь иногда объявляет зрителям ее (Любви Орловой) примечательный и небезопасный полет из пушки на искусственную луну под куполом у ц

ы рка. Поэтому добрый и смешной хозяйственник, директор ц

ырка принимает историческое решение утереть фашисту его валютный нос, то есть разработать с помощью Ивана Мартынова такой же занимательный и вредный для здоровья полет, однако не на луну, а еще дальше, в стратосферу. У директора ц

ырка располагается недостаточно бдительная дочь Рая, которая, поддавшись на посулы, является в ресторан для приема пищи с притворяющимся любезным и выдает ему военную тайну о готовящемся номере с пушкой. Коварный заставляет доверчивую Раю под гипнозом сожрать высококалорийный двухкилограммовый торт. Девушка тут же толстеет и становится не способной исполнить «Полет в стратосферу» (!!!). Таким образом фильм дает зрителю возможность, привлекая юмор и сатиру, ознакомиться с преподлейшими методами иностранных разведок, аналогично художественной повести полковника Гайдара «Судьба барабанщика».

Знаменитый дрейфующий полярник Мартынов испытывает ужаснейший конфликт общественного и личного, втюрившись в заезжую Любовь Орлову, и ненароком даже тормозит внедрение нового номера, чтобы предотвратить ее возвращение в Америку с усатым вислоухим диверсантом. И все же торжественный момент настает! Мускулистый и мужественный Мартынов, надев буденновский шлем для охранения черепной коробки, улетает из ракеты в стратосферу, но падает на опилки ц

ыркового манежа, т. к. его циолковская ракета заранее подпилена фашистским шпионом. Чавкая от животного наслаждения, шпион укусывает и сладострастно прожевывает свою буржуазную табачную «сигару», предвкушая продление выгодного контракта на дальнейшую эксплуатацию Любви Орловой. Замечая же, как волнуется и тоскует Любовь Орлова, находясь рядом с несчастливо упавшим на опилки ц

ыркового манежа Петровичем (как она, плохо владея языком Пушкина, именует прославленного полярного орде

но сца Мартынова), внезапно передумывает наоборот и, наоборот, грозит раскрыть советскому ц

ырку головокружительный секрет своей практической рабыни (наличие чернокожего негритенка). Она смотрит на него с ужасом, ненавистью и презрением. И тут производится неожиданное! Отвратительный диверсант падает на свои лощеные немецкие колени в штучных брюках перед привлекательной блондинкой, уверяя ее в своей «любви орловой» и уговаривая уехать из Страны Советов! Она, будучи от природы не самой умственно отсталой акробаткой, отказывается, и тогда диверсант начинает швырять в нее различными предметами верхней одежды (женскими платьями), выкрикивая угрозы человеконенавистнического содержания, а в комнату одиноко, как деревенская гармонь, вступает плачущий дошкольный негритенок. Которому Любовь Орлова в дальнейшем мелодично напевает ласковую колыбельную песню с американским акцентом.

В фильме «Ц

ырк!» разворачивается и освещается преизрядное количество других забавных, поучительных, а иногда грустных вопросов жизни и Любви Орловой. Например, фашистский диверсант перехватывает любовную записку акробатки полярному орде

но сцу и передает ее конструктору Скамейкину как якобы ему и адресованную. В результате тот приобретает несколько ударов по щекам от своей невесты Раечки, законной дочери директора цырка, и ненароком обнаруживается заключенным в железной клетке с дрессированными львами. Таким образом, создатели патриотического высокохудожественного фильма «Ц

ырк!» наставляют молодое поколение хранить сугубую верность своему честному слову,

чтобы не красоваться перед всем честным народом на четвереньках, бросаясь сосновыми опилками и базарными гладиолусами в пасть нубийским львам, чтобы не оказаться бесславно поглощенным этими хищными чуковскими животными за нарушение честного пионерского слова.

Запомнились мне также наши советские римские гладиаторы в белых трусах, которые не умерщвляют друг друга в ц

ы рке на потеху буржуазным рабовладельцам, а, напротив, становятся в живописную спортивную пирамиду на плечах друг у друга и гарцуют на ней на радость мирному советскому человеку.

Не стану в дальнейшем перекладывать увлекательного содержания патриотического высокохудожественного фильма «Ц

ы рк!». Отмечу только два заключительных эпизода. Во-первых, наш советский полет в стратосферу выглядит намного роскошнее, чем их жалкий американский полет из бакелитовой пушки на картонную луну. В плане количества танцующих девушек в белых трусах, распутывающих умопомрачительно гигантские п

о р

о шутные стропы, а также выполняющих изящные развлекательные пляски, подкидывая стройные советские ноги, на вертящейся круглой подставке. Во-вторых, чернокожий негритенок наслаждается всеобщей и ярко выраженной любовью всех кинозрителей ц

ы рка на разных языках, что неопровержимо свидетельствует о нашем интернацио

но лизме, а за бесславно уходящим в ночь немецко-американским усатиком, значительно переглянувшись, следуют два советских

милицанера в белых гимнастерках, и предстоящая судьба его достаточно ясна, что более чем справедливо.

Заключительные же завершающие кадры высокохудожественного патриотического фильма «Ц

ы рк!», описывающие демонстрацию на Красной площади, где всего круглей земля и во всю невесомую силу звучит патриотический марш «Наши нивы взглядом не обшаришь», слишком рододендроны, чтобы их осмелился пересказывать рядовой советский школьник. Они – достояние всего человечества в целом.

8

ЧТО ПОКАЗЫВАЛИ ПОСЛЕ КИНОФИЛЬМА

«ЦЫРК!»

– Чаю, друзья мои писатели, ароматного крепкого чаю в тонкой фарфоровой чашке! И рюмку доброй русской водки. Или даже две! Иногда я чувствую себя ассенизатором, по-нашему – золотарем. Особенно в связи с нынешним делом. Совершенно не вижу семьи, прихожу с работы под утро, подремлешь часа два-три от силы – и в кабинет или к вам, дорогие мои писатели! Маша! Ма-а-ша! Приведи нашу чудную Машу, старший лейтенант. Самовар сюда, и

немедленно! Я бы, кстати, и перекусил перед сеансом. Смотрю, у вас тут культурная жизнь? Кинофильм «Ц

ы рк!»? Я и сам его недавно смотрел. Повторюсь, друзья писатели, чувствуешь себя словно весь день купаешься в нечистотах. Хочется чистого, свежего воздуха, славной советской комедии, доброй патриотической песни. Помните, как эта американская акробатка марширует по Красной площади? Все поняла! Все! Ладно, понимаю, что и ваш нынешний труд в чем-то сродни моему. Не буду больше жаловаться, слово чекиста!

Лестница скрипит тяжело и тревожно: это спускается Рувим Израилевич. Одышка мучает его больше обычного, ноги нетверды. Не дойдя до нижней ступеньки, он вдруг шатается и всем весом пожилого оплывшего тела грохается попой на лестницу, тупо уставившись на товарища старшего майора сквозь кривые стекла очков, чудом оставшихся на его шишковатом утином носу.

– Рувим Израилевич! Дорогой вы мой человечек! Только что расхваливал фильм, к созданию которого вы, так сказать, непосредственно причастны! То-то ли еще будет, когда на весь мир прогремит ваш коллективный сценарий!

Мать аккуратно ставит на середину стола кипящий самовар.

– Как по-вашему, богато жил этот подонок на свои шпионские гонорары? – Товарищ старший майор обводит сухощавой рукой уютную гостиную последовательно тыкая указательным пальцем в горку с посудой, книжные шкафы, обитые кожей стулья и, наконец, сам самовар и чашки с сияющими золотыми ободками, нарисованными купидонами и полуобнаженными буржуазными дамочками.

Мальчик иногда помогает матери мыть посуду и знает, что на донышке у чашек и аналогичных блюдец написано синими, чуть расплывчатыми иностранными буквами: «Fine Bone China. Stoke-on-Trent, England».

– Довольно зажиточно, – осторожно говорит Аркадий Львович.

– Ха! Молодчина, бывший конструктивист! Чувствуется любовь к слову. Именно довольно зажиточно, хотя и пошикарней, чем полагалось бы главному редактору «Известий». Эх, простодушные инженеры человеческих туш, не были вы на квартире его покровителя, прокравшегося на должность наркома. Не читали вы протокол изъятия имущества. Это роман! Песня! И уж не знаю, что там было – тысячи марок и фунтов от иностранных разведок или заурядное циничное воровство из казны органов госбезопасности, но дух захватывает! Вот ты, Андрей Петрович, знаменитый, преуспевающий драматург. Советская власть тебя любит и достойно оплачивает твой труд. Ну, дачи у тебя нет, не заслужил еще, квартирка скромная, хотя и отдельная, но ведь какое-то добро ты нажил? Ты же человек семейный, не холостяк, спускающий заработанное на кокачок? Дай еще водки, Маша. Или лучше коньяку, не скупитесь, писатели, мы вас обеспечиваем лучше самих себя, ха-ха.

– Есть грех, – кивает Андрей Петрович, удивленный необычной развязностью товарища старшего майора, и бережно наливает ему половину стакана коричневой жидкости из длинногорлой светлой бутылки, а затем подталкивает к гостю тарелочку с нарезанными ломтиками лимона – удивительного субтропического фрукта, который сам по себе кисл и невкусен, но сообщает обыкновенному чаю замечательный аромат.

– Раньше лимоны закупались на валюту за границей, а теперь выращиваются в советской Абхазии и Таджикистане, – подает голос мальчик.

– О! Все знает новое поколение. Молодец. Чаю хочешь? Маша, налей своему не по летам развитому сыночку, пирожное выдай. Не мешает он вам, товарищи писатели?

– Что вы, товарищ старший майор! – улыбается Аркадий Львович. – Сообразительный, милый, скромный пионер, интересующийся естествознанием и историей древнего мира. С ним даже веселее работать!

– Отлично. – Товарищ старший майор одним глотком осушает коричневую жидкость, заедает ее двумя ломтиками лимона и вытирает узкие губы тыльной стороной ладони. – Так вот, сколько у тебя костюмов, дражайший мой драматург и киносценарист? Не стесняйся, признавайся честно перед товарищами по классовой борьбе.

– Вообще-то два, – почему-то бледнеет Андрей Петрович, – один двубортный, синего габардина, другой однобортный, коричневого шевиота... и еще один летний, кремовый, молескиновый[7]. Все сшито в ателье Союза писателей, материал получен в распределителе Союза... У меня сохранились все квитанции, если надо, товарищ старший майор. Я же член всевозможных комиссий, туда без костюма никак, а к тому же...

– Двадцать два! – взрывается хохотом товарищ старший майор. – Двадцать два заграничных костюма хранил у себя этот диверсант! Двадцать одно пальто! Гимнастерок коверкотовых из заграничного материала – тридцать две! Кальсон егерских – двадцать шесть! Девятнадцать револьверов, девять фотоаппаратов, пять золотых часов, резиновый искусственный половой член, прости, Маша! Сто шестьдесят пять курительных трубок, большая часть из которых по л нографическая! Одиннадцать по

л нографических фильмов! Враги народа в Советской России еще недавно жировали вольготнее нэпманов. И еще, полагаю, драгоценностей на миллион-другой закопал в вишневом саду у какой-нибудь любительницы, до сих пор не разоблаченной.

– Так почему бы этого не использовать в нашей работе, товарищ старший майор? Почему вы нам, так сказать, раньше не сообщали?

– Мудила ты рапповская, а не выдающийся драматург. Ты для кого сочиняешь свой исторический концерт для клистира с оркестром? Для бухгалтеров? Для стоматологов, которые приходят в эстрадный театр пощекотать свои мелкобуржуазные нервишки? Тебя за что Родина тут потчует по кремлевскому пайку высшей категории? Ладно, ладно, шутки в сторону. Не надо мешать политику и уголовщину, Андрей Петрович. За воровство Генриха Григорьевича мог бы спокойно удавить обыкновенный районный суд. Воспитательно-политический эффект стоит куда больше двадцати двух костюмов. Тем более что это не мое решение.

– Виноват, товарищ старший майор, недодумал. Недооценил.

Аркадий Львович и Рувим Израилевич согласно кивают, а мать ставит на стол перед товарищем старшим майором горячую немецкую сардельку с кислой капустой, производство которых начато на мясокомбинатах страны по инициативе народного комиссара пищевой промышленности. Это чрезвычайно вкусные сардельки, думает мальчик, и при укалывании вилкой из них брызжет ароматный сок, чуть пахнущий черным перцем и чесноком. Собственно, их можно есть даже сырыми. Бывают еще сосиски, они тоньше и длиннее и, в общем, представляют собой также прекрасную, но несколько менее сытную еду. Что до кислой капусты, то сама по себе она является довольно бессмысленным и низкокалорийным продуктом питания. В нее следует добавлять постное масло, пахнущее семечками, а можно и подвергнуть термической обработке, подавая затем вместе с горячей картошкой. Дома капуста и картошка бывают каждый день, а сардельки и сосиски – редко, но в спецфилиал Дома творчества их доставляют почти ежедневно.

– Ступай, малец, тебе спать пора, – приказывает товарищ старший майор.

Когда мать с комендантом Дементием по обыкновению садятся вечерять на кухне флигеля, мальчик выскальзывает через заднюю дверь, чтобы неслышно, подобно индейскому воину, пристроиться на привычную рогожку. В силу теплой погоды окна в гостиной открыты, а экран, повешенный на стену киномехаником, виден безупречно. «Хотя бы несколько минут, – размышляет мальчик. – Все-таки интересно, что собираются смотреть взрослые».

9

## ЧТО СМОТРЕЛИ ВЗРОСЛЫЕ

Ликующий либо праздно болтающий с противоположной стороны Арбата (скажем, выходящий из театра Вахтангова) вполне мог бы увидеть внутренность их комнаты на третьем этаже, над козырьком магазина «Обувь»: очень высокий дубовый буфет, оставшийся от старорежимных хозяев (с вырезанными гроздьями винограда, яблоками и грушами), никелированные шары на спинке материнской кровати (одного недоставало уже пару месяцев – укатился и спрятался, свинченный для подтверждения магнитных свойств); тисненные обои с розами и крупным жасмином, когда-то поблескивавшие бумажным атласом на всей своей площади, а ныне – только в укромных местах, у самого плинтуса, куда не достигал солнечный свет; приклепленную к стене репродукцию картины Васнецова «Три богатыря», которая тоже начала выгорать и, пожалуй, нуждалась в замене; абажур над столом – не оранжевый, как у всех, а нежно-сиреневый, с длинными кистями, купленный всего года два назад на Смоленском рынке; лепной гипсовый орнамент на недостижимом потолке, покрытый серой оренбургской пылью; верх изразцовой печи, не достигавшей до потолка сантиметров пятнадцати, – в этот совершенный тайник мальчик иногда закидывал комья манной каши, самого отвратительного блюда в мире, а затем тщательно облизывал перемазанную в белой гадости ладошку. Картина, открытая постороннему с улицы; но еще в самом начале лета мать принесла с работы листок бумаги с сердитым названием «ордер», который вскоре обернулся длинным полотном желтовато-белого тюля с вытканными снежинками.

Потребовались недолгие переговоры с соседкой Евгенией Самойловной (мать краснела и повторяла слово «отблагодарим»), чтобы полотно превратилось в две строгие полосы, обметанные по краям. Поначалу мальчик не понимал их предназначения: дело в том, что обычные занавески из простынного полотна уже наличествовали в их доме, хотя и задерживались только вечером. Тюль оказался волшебным материалом, потому что, почти не задерживая дневного света, обеспечивал полную непроницаемость для нежелательных внешних взглядов. Более того, даже богатый улов майских жуков объяснялся тем, что они, двигаясь на свет абажура, застревали мохнатыми лапами в белом прозрачном материале.

Тюля на окне гостиной специализированного Дома творчества не имелось за отсутствием возможных внешних наблюдателей (участок огромен и лесист, забор – высок), однако на ночь мать затягивала окно марлей – от комаров и мотыльков. Вот почему мальчик на своей рогожке не слишком боялся разоблачения: он-то, как Машенька за спиной медведя, видел всех, а его не замечал никто.

– Если взять убежденного белогвардейца, – уже без улыбки объяснял товарищ старший майор, – то он после ареста более открыто рассказывает о своих контрреволюционных делах, как и где занимался вредительством и так далее. А троцкисты и правые – это падаль. Все они начинают твердить, что не виноваты. Они в свое время не один, а по пять-шесть раз каялись, признавали свои ошибки, обещали исправиться. И все-таки, когда троцкист пойман за руку, когда против него собраны изобличающие материалы, он все еще лжет, пытается продолжать маскироваться. Ваша работа, товарищи писцы, близка к завершению. Основные

контуры обвинения уже выяснились, осталась, в сущности, стилистика, согласование подробностей, так сказать – раскадровка. И тем не менее случаются неприятные сюрпризы. Сейчас сами увидите. Петр Андреевич, заводи машину!

Свет в гостиной погас, застрекотал киноаппарат. Спина киномеханика загоразживала лишь сравнительно небольшую часть экрана. Мальчик задрожал от предвкушения большой взрослой тайны.

Фильм, однако, оказался коротким и скучным, а изображение – не слишком четким. На экране появился старый, лет сорока пяти, неприятный усатый субъект с залысинами, одетый в белую рубашку (не слишком чистую и не слишком глаженную) и совсем помятый темный пиджак. Субъект носил также аккуратную и недлинную козлиную бородку, но не владел искусством бритья: на его левой щеке чернел основательный порез. Штанов видно не было, так как субъект сидел за письменным столом, под портретом вождя; иная мебель в комнате отсутствовала. Он непрерывно моргал, а также потирал пальцами дряблые веки, видимо, расстроенный тем, что разглядывает с киноэкрана собственную гостиную, куда явились без приглашения незнакомые люди. Впрочем, гладкий оловянный подстаканник с незамысловатой полукруглой ручкой тускнел и перед ним. Ни клыков, ни рогов, ни иных особых примет у неприятного субъекта не оказалось. «Понятно, – подумал мальчик, – иначе как бы он сумел столько лет маскироваться». Субъект отхлебнул дымящегося чаю и начал говорить, обращаясь к кому-то невидимому:

«Сейчас разворачивается последний свиток моей судьбы и, возможно, моей земной жизни. Я, как видишь, дрожу от волнения и едва владею собой. Хочу проститься с тобой заранее, пока открыты еще глаза мои и не помутился разум.

Ничего не намерен у тебя просить, ни о чем не хочу умолять. От своих показаний я на суде не откажусь. Но я не могу уйти из жизни, не сказав тебе этих последних слов.

Стоя на краю пропасти, из которой нет возврата, даю тебе предсмертное честное слово, что я не виновен в тех преступлениях, которые подтвердил на следствии. Мне не было никакого выхода, кроме как подтверждать обвинения и показания других и развивать их: либо иначе выходило бы, что я не раскаиваюсь».

– Ага! – закричал товарищ старший майор. – Еще коньяку! Останови на минутку. Видите, товарищи, до каких глубин падения человек докатиться способен. То есть он пытается сообщить – сами знаете кому, – что все его так называемые признания – ложь с самого начала. Вам известна чудная русская поговорка? Единожды солгавши – кто тебе поверит? Включай.

«Размышляя над происходящим, я соорудил примерно такую гипотезу. Есть большая и смелая идея генеральной уборки. Во-первых, в связи с предвоенным временем, во-вторых, в связи с переходом к народовластию. Эта уборка захватывает не только виновных, но и подозрительных, а также отдаленно подозрительных. Без меня здесь не могли обойтись. Ради бога, не пойми так, что я здесь скрыто упрекаю. Я понимаю, что большие планы и большие интересы перекрывают все и было бы мелочным ставить вопрос о своей собственной личности наряду с всемирными, лежащими прежде всего на твоих плечах.

Но тут-то у меня и главная мука, и главное страшное противоречие.

Будь я уверен, что ты так и думаешь, у меня на душе было бы куда спокойнее. Ну что же! Нужно – так нужно. Но поверь, у меня сердце обливается горячей струей крови, когда я подумаю, что ты можешь верить в мои преступления и в глубине души сам думаешь, что я действительно виновен во всех ужасах.

Мне ничего уже не нужно, да ты и сам знаешь, что я скорее ухудшаю свое положение этими

словами. Но не могу, не могу просто молчать, не сказав тебе последнего “прости”. Вот поэтому я и не злоблюсь ни на кого, начиная с руководства и кончая следователями, и у тебя прошу прощения, хотя я уже наказан так, что все померкло и темнота пала на глаза мои.

Господи, если бы существовало такое орудие, чтобы ты видел всю мою расклеванную и истерзанную душу! Если б ты знал, как я к тебе привязан! Но отсутствует ангел, который отвел бы меч Авраамов, и роковые судьбы осуществляются!»

Неприятный субъект опять замер на экране, и морщины на его лбу застыли в одутловатую сетку.

– Жертвой себя выставляет, – пояснил старший майор. – Дьявольская уловка, чтобы с большей убедительностью валяться в ногах у пролетарского суда и лично у сами знаете кого.

Застрекотал аппарат, козлобородый снова заговорил:

«Позволь, наконец, перейти к последним моим просьбам.

Прежде всего, мне легче тысячу раз умереть, чем пережить предстоящий открытый суд: я просто не знаю, как я совладаю сам с собой».

– Угрожает! – заметил товарищ старший майор. – Грозит сорвать всю вашу напряженную и ответственную службу, товарищи писцы!

«Я бы, позабыв стыд и гордость, на коленях умолял бы дать мне возможность умереть до суда, хотя я знаю, как ты сурово смотришь на такие вопросы.

Если же меня ждет смертный приговор, то я заранее тебя прошу, заклинаю прямо всем, что тебе дорого, заменить палаческую удавку тем, что я сам выпью в узилище яд. Ведь это ничему не помешает, да никто этого и знать не будет. Но дайте мне провести последние мгновения так, как я хочу. Сжальтесь! Ты, зная меня хорошо, поймешь. Я иногда смотрю ясными глазами в лицо смерти, точно так же, как знаю хорошо, что способен на храбрые поступки. А иногда тот же я бываю так смятен, что ничего во мне не остается. Так если мне суждена смерть, прошу о чаше с цикутой. Молю об этом...»

Неприятный субъект притворно всхлипнул.

«Прошу дать проститься с женой и сыном. Жена – молодая, переживет, да и мне хочется сказать ей последние слова. Я просил бы дать мне с ней свидание до суда. Доводы мои таковы: если мои домашние увидят, в чем я сознался, они могут покончить с собой от неожиданности. Я должен их подготовить к этому».

– Можешь не останавливать, Петр Андреевич, хотя дальше следует уже абсолютный и бесстыдный троцкистский бред.

«Поступай по истине, и долог будет твой век на земле. Утешь плачущего, не притесняй вдовы, не лишай сына наследия отца его, не причиняй ущерба сановнику. Остерегайся карать неповинного. Не убивай – бесполезно это тебе. Наказывай битьем и заточением, и порядок воцарится в стране; казни только мятежника, чьи замыслы обнаружены, ибо ведом Богу злоумышляющий, и покарает его Бог кровью его. Не карай человека, если ведом тебе добрый нрав его, если он сотоварищ твой, обучавшийся вместе с тобою арифметике и письму.

Если мне будет сохранена, паче чаяния, жизнь, то я бы просил выслать меня в Америку. Я провел бы кампанию по процессам, вел бы смертельную борьбу против Троцкого; можно послать со мной грамотного стражника и, в качестве добавочной меры, на полгода задержать

здесь жену, пока я на деле не докажу, как я бью морду Троцкому.

Но если у тебя есть хоть капля сомнения, то вышли меня хоть на 25 лет на Колыму, в лагерь: я бы поставил там школу для писцов, филармонию, театр оперы и балета, литературную студию, сеть красных чумов для эскимосов. Словом, повел бы культурную работу, поселившись там до конца дней своих с семьей.

Вот, кажется, все мои последние просьбы.

Ты потерял во мне одного из способнейших и преданнейших своих генералов. Но я готовлюсь душевно к уходу от земной юдоли, и нет во мне по отношению ко всем вам, и к твоим отрядам, и ко всему делу ничего, кроме великой, безграничной любви. Моя совесть чиста перед тобой. Прошу у тебя последнего прощенья. Мысленно поэтому тебя обнимаю. Прощай навеки и не поминай лихом своего несчастного».

Старший майор странно зафыркал – то ли от смеха, то ли от негодования.

– Ну что, товарищи писцы, как отреагировал на этот опус его адресат? Как вы думаете?

– Полагаю, что выражу общее мнение, – Андрей Петрович переглянулся с торжественным Аркадием Львовичем и удрученным Рувимом Израилевичем, – если скажу, что не нам, ничтожным писцам, проникать в замыслы фараона. Он приказывает нам через своих верных слуг, и мы повинемся, не задавая вопросов, не испытывая сомнений в его мудрости.

– Разрешите обратиться, товарищ старший майор?

– Разрешаю.

– Если ни в чем не виноват, то почему же просит прощения? А если виноват, зачем лишний раз врет и снова путается в показаниях?

– Молодчина, лейтенант госбезопасности. Но мы с вами обсуждать этого не будем, товарищи. Я хотел всего лишь продемонстрировать, с каким коварным и неподатливым материалом приходится иметь дело. Мы, разумеется, справимся, однако потребуются пара дней. На это время вы свободны от основных обязанностей. Займетесь побочным поручением. В связи с этим еще один коротенький фильм. Вперед!

На экране появился другой персонаж, совсем древний старик, лысый, лопухий и беззубый, с противным бабьим голосом. Но мальчику стало скучно, да и комары заели – ведь он выполнял секретную миссию и не мог обнаружить себя ударом по кусачему насекомому. Он зевнул, поднялся с рогожки и бесшумно ускользнул в чулан, к своему топчану, застеленному полотняным бельем. Мать с Дементием громко смеялись на кухне и не заметили возвращения мальчика. Перед сном он, не веря самому себе, вдруг тихо заплакал от малодушной и недостойной настоящего пионера жалости к матерому шпиону и убийце, которого, кажется, действительно собирались удавить.

10

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА, ВЫШЕДШЕГО НА УЧАСТОК

С АРКАДИЕМ ЛЬВОВИЧЕМ ПЕРЕДОХНУТЬ

И РАЗГОВОРИВШЕГОСЯ С МАЛЬЧИКОМ

– Взять такой сюжет: девятиглавый дракон держит в страхе уездный городок, то есть районный центр. Каждую неделю съедает по обывателю, в случае неповиновения сжигает своим огненным дыханием один из домов вместе с палисадничками и жильцами. Жители безропотны; самые корыстные и бессовестные даже пошли на службу к дракону, который заставляет остальных платить им деньги, отдавать продукты питания, осуществлять индивидуальный пошив одежды. В один прекрасный день в городке, наконец, вспыхивает всеобщее восстание под руководством трех богатырей. Илья Муромец отсекает дракону две головы из девяти и прогоняет его далеко-далеко. Как теперь поступить с пособниками дракона? Ведь их немало. Даже школьный учитель твердил детям, что власть дракона вечна и неизменна. Городской поп учил, что дракону надо покоряться, чтобы получить вознаграждение в загробной жизни. Жирные жандармы за одно слово протеста избивали недовольных и кидали их в тюрьмы, а то и в зубы к дракону, мудрость и всеилие которого воспевались раскормленными поэтами. Местные богачи, получившие свое имущество благодаря девятиглавой твари, собирали с горожан дань, малую часть отдавали своему хозяину, а львиную долю присваивали. Пировали, творили произвол, выделяли детскую кожу на полицейские барабаны. Волей восставшего народа это паразитическое охвостье в одночасье лишилось и имущества, и власти, и доходов. Кое-кто в страхе бежал из городка вслед за недобитым хозяином, но большинство осталось. Начали они войну с восставшим народом, надеясь на возвращение сказочной рептилии, однако потерпели поражение. Уцелевшие драконовские слуги стали жить в новом, справедливом обществе. Им пришлось притаиться, притвориться сторонниками народа. Могли они с этим смириться, как ты думаешь?

– Вряд ли, дядя Андрей! – воодушевился мальчик.

– Именно. И вот в освобожденном городке начинаются загадочные происшествия. То рухнет мост через реку, то скот в окрестных деревнях погибает от сибирской язвы, то третий год неурожай. Сапожник заказывает себе товар для работы, а он оказывается гнилым. Мать семейства обнаруживает толченое стекло в сливочном масле, купленном в государственном магазине. Разражается эпидемия чумы, которой не случалось с незапамятных времен, причем никто из бывших не заболевает. Как тебе это нравится?

– Совсем не нравится, – сказал мальчик, радуясь собственной проницательности.

– Народ начинает роптать, вздыхать по прежним порядкам. А несчастья продолжают случаться. Случайно ли? Разъяренные сторонники дракона притаились, но не смирились. И так велика их ненависть к победителям, настолько неодолимо желание вернуться к старым временам, когда они катались как сыр в масле, что они, опьяненные своей подлостью, начинают действовать уже почти неприкрыто. Ветеринар добавляет гвозди в сено армейским лошадям. Поп в своих проповедях призывает не покоряться новой власти, угрожая загробными муками. Так называемые поэты, готовя почву для контрреволюции, сочиняют подлые песенки про беззаботную жизнь в драконовские времена и похабные пасквили на народных вождей. Старорежимный доктор заражает Добрыню Никитича туберкулезом, а потом залечивает до смерти. Бывший учитель составляет клеветнические «труды» по истории городка, принижая роль богатырей и восхваляя драконовских пособников. Невысланные кулаки выращивают вредительский лен, ткань из которого расплзается после первой стирки. Не мылится мыло, засоряются примусы, невозможно разыскать в магазинах детскую обувь. И приходится народу от такого бесстыдства восстать еще раз, пойти войной на драконовских последышей, многие из которых сумели примазаться к освободительному движению, войти в доверие к богатырям, даже к самому Илье Муромцу. Но суть-то их осталась прежней! Дракон из-за рубежа снабжает их деньгами, посулами, оружием и ядами. Они всего лишь ждут своего часа! Врагом может оказаться любой, даже не из бывших. Ты живешь с ним рядом, а он на самом деле – бандит, убийца, отравитель.

– Дракон – это проклятый царизм?

– Не совсем, пионер. Скорее капитализм, власть помещиков и буржуев. Вот и судят прихлебателей этой власти прилюдно, чтобы показать народу, что мы не дремлем, что кара неизбежна. Вот и наказывают их по всей строгости революционных законов. Бывший хозяин нашей дачи притворялся большевиком, теоретиком, интеллигентом. А на самом деле убивал, пускай и не всегда своими собственными руками, разрабатывал заговоры, руководил разветвленной армией предателей. Останься он на свободе – и рано или поздно причинил бы вред фараону, от судьбы и здоровья которого, да продлятся его безмятежные дни, зависит все будущее благополучие пацанов вроде тебя. Победи такие, как он, – и всех верных слуг фараона, стоящих на страже народного счастья, безжалостно истребят, а сирот отправят в работные дома и на кулацкие мельницы.

– Вам надо писать детские рассказы, Андрей Петрович, – сказал Аркадий Львович. – Просто, убедительно, увлекательно. Видели, как мальчишка слушал? Я бы, правда, вместо работных домов сослался на что-нибудь более близкое к нашей реальности – Диккенсом попахивает. Ну и еще – поэты до революции не так уж часто занимались воспеванием старого режима. И маленький стилистический комментарий: у вас они катаются как сыр в масле, а чуть выше в масло добавляют толченое стекло. Одного упоминания масла вполне достаточно.

– Спасибо за похвалу, но я прирожденный драматург, – заулыбался Андрей Петрович. – Мне по душе творчество на более усложненном уровне, с привлечением сцены, декораций, актеров, а в нехитрой детской притче – тем более импровизированной – пришлось, конечно, многое упростить, ну и стиль, конечно... Ведь ребенку не объяснишь, что декадентство, мандельштамовщина, какие-нибудь обэриуты – это, по сути дела, то же самое воспевание капиталистически-помещичьих порядков, только более изощренное.

– Советский конструктивизм с самого основания заявил о себе как о течении, неуклонно поддерживающем линию партии на развитие литературы социалистического реализма, – отчеканил Аркадий Львович, – а также на индустриализацию всей страны.

– Что вы оправдываетесь, коллега? К вам у нас претензий нет.

Данного выступления мальчик не понял, тем более что его занимал совсем иной вопрос.

– Скажите, дядя Андрей, а вот этого, бывшего хозяина дачи, повесят?

– Откуда же мне знать, пионер! Может, повесят, а может, и расстреляют. А глядишь, приговорят к тюремному заключению. Я же не армвоенюрист Ульрих. Закончится следствие, выяснятся масштабы его преступлений, степень раскаяния, искренность на процессе, готовность помочь органам в разоблачении приспешников. В любом уголовном деле могут обнаружиться смягчающие обстоятельства, которые учитываются в духе пролетарского гуманизма. Но не наше с тобой это дело, молодой человек.

– А у него была семья, дядя Андрей?

– Насколько знаю, имелась – сын твоих лет, молодая жена.

– Их тоже удавят с учетом смягчающих обстоятельств в духе пролетарского гуманизма?

– Типун тебе на язык! Разумеется, нет! А с другой стороны, представь себе такую ситуацию: к вашему соседу по квартире ходят неизвестные, ведут антисоветские разговоры. Некоторые люди, погрязшие с головой в обывательщине, не хотят «донести» на соседа. Вот с такими ложными понятиями о «доносе» нам еще не удалось покончить. Умолчать об опасности, грозящей государству, – значит стать изменником родины, предателем, помощником шпиона, диверсанта, вредителя. А ты спрашиваешь о его супруге, несомненной свидетельнице

подрывной деятельности мужа. От малодушия ли она помалкивала, по иной ли, более основательной причине – это опять же должен установить пролетарский суд. Что до сына нашего бывшего хозяина... ну где он может, с позволения сказать, обрестись? У бабушки? У двоюродной тетки? В детприемнике? – Андрей Петрович пожал костистыми плечами. – Как известно, у нас сын за отца не отвечает. У него остались все шансы – и немалые! – вырасти полноценным советским человеком. Трагедия, кто спорит, можно даже выразиться, козлиная песнь. Но кто же в ней виноват, кроме самого этого лисосвинского двурушника?

Андрей Петрович кидает на мальчика прощальный взгляд, берет под руку поэта-конструктивиста и удаляется с ним в сосновый бор, примыкающий к усадьбе.

– Ночью прошел легкий дождь, – говорит он, – в лесу могли подрасти маслята, а то, глядишь, и белые. Я даже перочинный нож с собой захватил на всякий случай.

11

ЧТО ПЕРЕПИСЫВАЛ МАЛЬЧИК

ИЗ ВЗРОСЛОЙ КНИГИ В ОБЩУЮ ТЕТРАДКУ,

ИНОГДА ДОБАВЛЯЯ РАССКАЗЫ ОТ СЕБЯ

В 1924 году некто Р. выразил желание уехать за границу. В консульстве ему сказали, что на родину уехать – дело хорошее. Но если он патриот своей родины, то чем он сможет это доказать на деле? Р. дает согласие выполнить задание. Тогда ему сказали: «Вы должны поступить кассиром на Ярославский вокзал, выведать и получить необходимые нам сведения о состоянии дороги». Он дал немало сведений о железной дороге. Но за границу его не пустили, а предложили поступить на ружейный завод. Р. сообщал иностранной разведке сведения о производимой там продукции и другие. Но и после этого его за границу не пустили. В консульстве его уверяли, что он оказался очень хорошим агентом, что у них более подходящего человека нет, поэтому придется остаться на заводе и ждать особых распоряжений.

Р. выработал план взрыва котельной, передал сведения о производимой продукции, о личном составе работников, занятых выполнением оборонных заказов. На суде он трусливо промолчал о том, что создал диверсионную группу из множества предателей Родины на этом заводе. Это мы выяснили сейчас, когда с ним уже нельзя разговаривать. А все ружья, выпущенные заводом, когда Р. занимался вредительством, пришлось отправить в переплавку, потому что у них оказались кривые стволы, а приклады сразу превращались в светящиеся гнилушки.

Мать с отцом уехали и говорят дочери с сыном:

– Ждите нас и ночуйте дома.

Они ночуют, вдруг в час ночи по комнате свет такой желтоватый. Они испугались. Смотрят, а на дереве эстонский маскхалат висит, белый с желтыми пятнышками. На следующую ночь – то же самое. Мальчишка от страха умер.

Девчонка утром пошла в милицию. Ей там сказали, что приедут через два дня, а сами в этот же день приехали. Она ночью лежит, боится, а маскхалат за окошком светится.

Милиционеры залезли на дерево, а там мать с отцом сидели, нарочно маскхалат

вывешивали по заданию фашистской разведки.

Шпионы, диверсанты, враги нашей страны нередко скрываются под самыми лояльными деловыми вывесками. Например, иностранная концессия, которая производила зубную пасту «Хлородонт». Директор этой концессии, иностранный подданный, немец, учреждая концессию по изготовлению пасты, долго и тщательно искал коммерческого директора для ленинградской конторы, пока не нашел подходящего человека в лице бывшего белогвардейца Х. Концессионер устраивал приемы, на которые приглашал Х. с его родственниками, всячески их обласкивал, снабжал деньгами. Одного покупал за деньги, другого ловил на сокрытии социального прошлого, третьего – на уголовном деле. И в результате через известный срок этот концессионер насадил на ряде наших предприятий резидентуру иностранной разведки. А в свою зубную пасту он добавлял отбеленный наждачный порошок, чтобы у советских людей быстрее стиралась зубная эмаль.

Жила одна старуха-кровопийца. Пошла она искать жертву. Остановилась у детского сада. Подозвала к себе маленькую девочку и говорит:

– Девочка, девочка, хочешь иметь много игрушек, пошли со мной.

Та согласилась, и они поехали к старухе домой. Через три часа они приехали. Старуха схватила девочку и привязала вверх ногами к стене и воткнула в нее ножи. Под девочку поставила старуха таз. В него стекала кровь девочки. Родители пришли за девочкой в детский сад, но не нашли ее. Воспитательница сказала, что девочку взяла бабушка.

Родители сообщили в милицию. Милиция нашла дом на отшибе, где жила та старуха. Взломали дверь, смотрят – а старуха кружкой черпает кровь из таза и пьет. Старуху арестовали и удавили. Она оказалась белояпонской гейшей из Нагасаки. А девочку спасти не удалось.

В 1934 году был уволен из совхоза «Озерки» за кражу некий зоотехник К. За границей у него живут родственники. К. зашел в некое консульство узнать о своих родственниках. Там его приняли и сказали, что через месяц ему что-нибудь скажут о родственниках. Для того чтобы навести справку, необходимо было уплатить. К. жалуется: «Я сейчас с работы уволен и не могу даже за справку заплатить». В консульстве его снабдили деньгами, К. по инструкции консульства переехал в Кандалакшу и организовал из контрреволюционных элементов вредительские группы в ряде колхозов. Участники этих вредительских групп всячески разлагали трудовую дисциплину в колхозах, расхищали семенные фонды, проводили подрывную работу. В планы деятельности банды К. входила также организация террористических актов против местных советских и партийных работников. По тщательном расследовании оказалось, что за свое гнусное вредительство ныне разоблаченный и удушенный шпион и диверсант К. вместе с диверсионными группами получил от некоего консульства пять тысяч рублей. На эти деньги он покупал у троцкистов чумную заразу, чтобы губить колхозных коров, а в молоко добавлял сыворотку из лягушачьей крови.

Жила в гостинице женщина. Пошла она в магазин и купила там кактус. Поставила в номер. К ней утром пришел официант и обнаружил ее мертвой. Заявил в милицию. Администрация не разрешила поселять никого в номер. Но напросилась одна женщина.

Наутро пришла милиция и с удивлением увидела женщину мертвой. Они осудили тех людей, которые пустили ее в номер. Один милиционер воткнул нож в землю кактуса. И вдруг стало скрываться лезвие ножа, и осталась одна рукоятка.

Он позвал всех товарищей по работе и сообщил о случившемся. Изъяли из горшка всю землю, а на дне была черная рука, приделанная к корню кактуса. С руки сняли перчатку, и там оказалась каучуковая рука. Стали искать изобретателя данного кактуса, и стало падать подозрение на одного пожилого человека. Стали за ним следить.

Дедушка пошел в маленький сквер и зашел в будку, где проходил ток. Тогда пошел туда один работник милиции. За несколько шагов он провалился.

Затем туда направилась целая группа. Они открыли эту будку, и один человек нажал одну из кнопок. Все механизмы отодвинулись в сторону, и перед ними появилась подземная лестница. Они спустились по ней и увидели много таких кактусов, а рядом с ними – рацию. Старик оказался правотроцкистским белоэмигрантом.

Некто У., сотрудник одного консульства, а на самом деле – офицер иностранной разведки, вел разгульный образ жизни, ухаживал за дамами, постоянно посещал рестораны, и все его там знали. Его называли не иначе, как «милый У.». В ресторанах бывают женщины, в частности жены военных. Этот шпион плавает среди них как рыба в воде. У него всегда в кармане про запас небольшие подарки – духи, пудра и т. п. Среди своих знакомых женщин этот У. искал подходящих для него людей. Он сделал подарок жене интересующего его лица, побывал у нее на квартире в отсутствие мужа, а потом прямо перешел к шантажу: «Ах, не хочешь стать шпионкой и диверсанткой, так я поставлю в известность твоего мужа о том, как ты со мной время проводила». Таким путем ему удалось привлечь к шпионско-диверсионной и террористической работе тысячи женщин, ныне разоблаченных и удушенных органами НКВД. А тех женщин, кто отказывался на него работать, он заражал сифилисом.

Свою шпионскую деятельность Ф. начал развивать через год после прибытия в СССР. Он нарочно женился на одной женщине, у которой имеются три сестры. Одна из них замужем за инженером, работающим в проектной организации, где сосредоточены секретные данные о строящихся тракторных заводах, вторая – за администратором филармонии, третья – за ответственным работником одного райкома партии. Он начал постепенно обрабатывать родственников своей жены. Как идет эта обработка? Сестра ходит к своим сестрам в гости. Она дарит сестре одно платье, второе платье, пальто, и, таким образом, эта сестра, которая замужем за ответственным работником, уже в известной степени обязана этому иностранцу и его жене. А дальше Ф. и его жена начинают приглашать к себе в гости своих родственников. Приходит муж одной из сестер один раз, потом заходит другой, третий раз. Ф. начинает снабжать его костюмами, деньгами. В его распоряжение любезно предоставляется для слушания радио. Слушают сначала музыкальные передачи из-за границы, затем фашистские статьи и речи, потом невесть откуда появляется троцкистская литература, и так разведчику Ф. удалось завербовать у нас немало шпионов и террористов. А потом Ф. перед отъездом за границу отравил свою жену и всех ее сестер трупным ядом.

Дело было в Америке. Летчик Чкалов со своим экипажем вошел в заброшенный дом. В комнате, куда они попали, было темно. Они включили свет и увидели, что на столе лежит череп Троцкого. Череп сказал: «Подойдите к столу и меня не бойтесь, но выключите свет!»

Они выключили свет и подошли к столу. На столе лежала записка. Один человек из экипажа начал ее читать. Там было написано по-английски: «Кто увидит мой затылок, тот умрет». Череп Троцкого мгновенно повернулся затылком к тому человеку, и тот умер. Потом череп стал бросаться на людей и вцепляться им в горло. Люди умирали. И тогда летчик Чкалов выхватил саблю и разбил череп Троцкого на половинки, а затем разрубил поперек, и череп умер. Тогда Чкалов с оставшимися товарищами вышел из этого американского дома и улетел на Родину.

12

ВОПРОСЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА

В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Предосенний день прозрачен, ясен, несуетен, почти лишен веса, но зато переполнен объемом. Писцы, отобедав молочной лапшой и нежирными свиными отбивными с жареной картошкой (мальчик получил от матери порядочный нагоняй, потому что при чистке срезал с клубней слишком толстую шкурку, а что было поделать, если нож достался такой тупой?), разбрелись по своим комнатам и некоторое время оглашали окрестности торопливым стуком пишущих машин, чуть похожих на ожившие скелеты динозавров – или доисторических рыб? Не в том смысле, что они сами сочиняют, пояснил Аркадий Львович, а в том, что способствуют занесению придуманного на бумагу ровными печатными буквами.

«Незаменимое подспорье в творческой работе», – добавил он.

Пишущие машины настолько важны для художников слова, что носят свои собственные имена – Яналиф, Ремингтон, Ундервуд[8].

Ученым ботаникам неизвестно, рычали ли динозавры, но пишущая машина, когда в особую щель вставляешь лист бумаги и крутишь ручку резинового валика, симпатично мурлычет своими воронеными шестеренками. Бумага – ярко-белая и осанистая, из нее складываются высококачественные голуби, существенно более стремительные и устойчивые в полете, чем изготовленные из сероватых страниц «Крокодила» и уж тем более из осьмушки жухлого газетного листа с рекламой зубного порошка «Снежок». По мнению Дементия Порфирьевича, главное в голубе – семь-метрия, то есть зеркальное соответствие левой и правой частей; еще важно не сместить центр тяжести, по оплошности перегрузив носовую часть, а также тщательно разгладить сложенную птицу на твердой и ровной поверхности.

По заведенному порядку в 17:00 трое писцов спускаются в столовую с напечатанными за день листами и за полдником, вооружившись ножницами, вязким конторским клеем в стеклянном пузырьке и самопишущими перьями, обсуждают их, категорически не допуская посторонних.

Доставляемые к завтраку из города булочки успевают зачерстветь, и мать добровольно вызвалась в дни, когда нет слишком большого количества стирки, выпекать свежие, попросив только обеспечить ее плотными брусками кулинарного шоколада, светло-бурыми трубочками корицы, пакетом изюма, пахучим ванильным сахаром. Шоколад и корица с помощью обнаружившейся в хозяйстве маленькой терки превращаются в грубый порошок для посыпания булочек; шоколад, впрочем, иногда кладется и внутрь, плавясь при выпечке. Мальчик, предварительно окунув ладонки в жестяную коробку с мукой, помогает вымешивать сладкое тесто, а потом наблюдает, как оно дышит и пузырится под влажным вафельным полотенцем, удваиваясь и утраиваясь в объеме благодаря жизнедеятельности невидимых дрожжей, которые, к сожалению, при выпечке поголовно погибают от воздействия высокой температуры. Вот почему столовая ложка простокваши, добавленная в молоко, также превращает его в простоквашу, а ломоть старого хлеба никак не мог бы заменить хранящихся в холодильнике живых дрожжей.

Подслушивать в силу светлого времени суток не удастся, однако писцы порою горячатся, повышая голос друг на друга. И тогда раздаются всякие взрослые выражения, например, «коллективный труд, где нет места личным амбициям, а есть только задание партии», «наша сверхзадача – доступность, сценичность, убедительность, Рувим Израилевич», «формалистическим красотам здесь не место, как и нет места стилизации, – диалоги должны вестись живой, разговорной речью, Аркадий Львович».

– Что вы, собственно, понимаете под убедительностью, Андрей Петрович? Агитку в духе областной газеты? Нет, требуется смоделировать тончайший психологизм, колебания подсудимых, попытки увильнуть от поиска классовой истины. Иные моменты обвинения они

не могут не отрицать, причем упрямо, яростно, сознаваясь только под тяжестью доводов прокурора.

– Тут-то и возникает наикардинальнейшая проблема. Именно тут! Ведь мы исходим из сырых материалов дела. О чем же должна идти речь – о литературной обработке или о реальном творчестве? Погодите, погодите, Андрей Петрович, ваша речь впереди. В первом случае можно было и не привлекать спецов, в смысле писцов, такого высокого класса. Я считаю, что оказавшийся в наших руках сюжет взывает к нашей совести художников, молит о претворении в подлинное советское искусство, чтобы общественность, включая заграничную...

– Фараону начихать на ваших парижских кокоток, Рувим Израилевич!

– А я убежден, что мы не вправе решать подобные вопросы без дополнительных инструкций и разъяснений.

– Какие могут быть инструкции! Мы должны писать правду, правду и только правду, но преображенную по законам художественного творчества, как нам велят самые что ни на есть фундаментальные принципы социалистического реализма. Заветы Горького, дорогие коллеги, заветы нашего учителя, мученически умерщвленного этими отбросами общества вместе со своим невинным сыном, с которым мы выпили на Капри не одну бутылку кьянти, – вот о чем мы должны помнить!

Пишущие машины всегда тарахтят вразнобой, с непредсказуемыми перерывами, неизбежными в творческом труде, но сегодня вскоре после обеда и вовсе затихли. Пока Ундервуд и его механические друзья отдыхают под чехлами, вытянув щучьи косточки металлических рычагов, писцы в своих кабинетах, возможно, и шуршат бумагами из прибывшей вчера особой папки, однако со двора этого совершенно не слышно, даже сквозь распахнутые по случаю солнечной погоды окна.

Очевидно, что указанные товарищи сообща разрабатывают всем пьесам пьесу для постановки на сцене в театре, может быть, даже в Большом театре оперы и балета, над входом в который мифологический железный Феликс стегает четверку мышечных жеребцов, чтобы мир осознал наконец всю пропасть падения троцкистской падали и весь недостижимый небоскреб законопроектов фараона, да продлятся дни его на земле на благо всех угнетенных нивхов, енотов и обездоленных пролетариатов.

Сегодня, повторим, тихо, и писатели выходят во двор курить папиросы чаще обычного. Именно во время подобной прогулки Андрей Петрович излагал поучительную сказку про буржуазного дракона. Поодаль присутствовал, утвердительно кивая, также комендант Дементий Порфирьевич, на коленях возившийся у забора с невысокими, меньше метра ростом, виноградными лозами на цементных столбиках.

– Я пощупал эти твердые зеленые ягоды, висящие тяжелыми гроздьями на искривленных шероховатых стволах, я попробовал их на вкус, но они оказались кислыми и почти несъедобными. Зачем? Почему вы постоянно занимаетесь этими кустами?

– А для души, неопытный малец, – поднял голову комендант Дементий. – Что есть история человечества? Борьба с природой! Она велит: сливы в Подмоскowie – пожалуйста, антоновка там, клубника, малина. Персик же или, скажем, виноград – это для других, извини-подвинься, для тех, кому повезло жить на юге, у синего моря, у белого парохода. Но мы же за равенство? За классовое братство? Почему ты, взрослый пионер, лишен возможности попробовать этот диетический продукт?

– Он бывает только на рынке и стоит очень дорого. А когда мы были в Крыму, еще не созрел.

– Вот именно. А следует добиться, чтобы он лежал в любом государственном овощном магазине по доступной цене, как изюм. Ты знаешь, что изюм – это сушеный виноград? Не знаешь! А для взрослых целей из винограда изготавливают вкуснейший и даже полезный алкогольный напиток – вино. Задача в том, чтобы заставить эту теплолюбивую культуру расти и плодоносить в нашем скромном климате. За этими кустами не ухаживали уже два с лишним месяца, не успели обрезать всех пасынков, не удалили лишних гроздей, чтобы оставшиеся ягоды стали крупными и сочными. Созревание замедлилось, а плоды измельчали. Ты понимаешь, что эти хилые грозди могли бы потянуть на два килограмма каждая? – Он щелкнул хитроумным секатором, обрубая одну из веточек. – Пасынки – это отростки сбоку от основной ветки лозы. Их надо обрезать, оставляя всего два-три листика, и все питательные вещества пойдут в плодоносящую гроздь. Погляди на обработанный куст. Видишь, от основания ветки до грозди я не оставляю ни одного листа, а после оставляю семь листиков и макушечку прищипываю, чтобы не росла выше. Труд кропотливый, но благодарный. Может быть, к концу сентября и вызреет наш урожай.

Хотя, скорее всего, вряд ли мы доживем здесь до этого времени.

13

КАК НАПИЛСЯ АЛКОГОЛЕМ КОМЕНДАНТ

СПЕЦФИЛИАЛА ДОМА ТВОРЧЕСТВА

«К восковой поверхности кожицы виноградных ягод прилипают миллионы микроорганизмов, среди которых находятся и разнообразные дрожжевые грибки, создающие инеевый эффект, известный как пушок». Под влиянием этих грибков раздавленная виноградаина подвергается спиртовому брожению. Пищеварительные ферменты дрожжей расщепляют виноградный сахар, чтобы запастись энергией, а побочными продуктами этого процесса являются углекислый газ и – при отсутствии доступа кислорода – спирт.

Виноградные вина готовят из технических (винных) сортов винограда, которые занимают большую часть виноградников мира. Эти сорта должны хорошо накапливать сахар при умеренном снижении кислотности, легко подвергаться промышленной переработке. Лучшие вина делают из различных сортов, принадлежащих к европейскому виду *Vitis vinifera*. Новые гибридные технические сорта по качеству производимого вина приближаются к ним. Для приготовления различных типов вин используются определенные сорта винограда, отвечающие особым требованиям».

Так, плохо скрывая безадресную ненависть, бормотал выпивший комендант Дементий, склонившись над брошюрой из хозяйства лисосвинского садовника, и пронзительные глаза его, цвета синьки для белья, казались лишенными разума, а на щеках проступала тревожная рыжеватая щетина. Он читал на крыльце, под светом лампы, трудившейся над входом во флигель, и отгонял комаров нерегулярными взмахами пятипалых ладоней.

– Кьянти! – повторил он, прижав книгу к сердцу, бившемуся под клетчатой фланелевой рубахой. – О, суки! Мы: спирт в окопах, когда повезет, мы: в окопах спирт в отсутствие доступа кислорода, а они – Шираз! Мы по рабочим казармам, по нарам под буддийский перезвон утреннего рельса, а они – Гоген! «П-перно», понимаешь ли! Душистое асти-спуманте! Папского замка вино!

– Дядя Дёма, – беспомощно сказал мальчик, – не переживайте так, а?

– Вырастешь, пацан, тоже будешь водку жрать.

– Дядя Дёма, не обращайтесь со мной так грубо, пожалуйста! Лучше объясните мне еще про виноград.

– Дёма! – взволнованно выкрикивает мать вдалеке. – Дементий! Товарищ комендант!

Голос ее, искавшей коменданта по участку (где Дементий Порфирьевич еще не так давно бродил без выраженной цели), высок и разносится достаточно далеко в столь же высоких окружающих соснах, перемежающихся более редкими и худощавыми осинами. Белая блузка с радужными пуговками из речных ракушек-перловиц сияет в лунных сумерках, а завитые с помощью бигуди кудри чуть растрепались на легком вечернем ветру. Она сжимает в тонкой руке парафиновую свечу, неловко подставляя под нее другой верхней конечностью случайный кусок исписанного папируса, чтобы не закапать серую коверкотовую юбку. Она замечает наконец куда не запропастившегося Дементия и облегченно спешит к флигелю, ликуя. Между тем на крыльце появляется незванный гость.

– Я слышу слово «вино», – подтверждает некто внезапный, сгустившись из прохладного дачного небытия. – Доводилось ли вам попробовать неразбавленное вино ранней осени, комендант?

– Всякое бывало, – трезвеет Дементий Порфирьевич, откладывая книгу. – Как работа продвигается, Рувим Израилевич?

– Древние греки, как, впрочем, и римляне, считали неразбавленное вино ядом, а тех, кто его употребляет, – безнадежными пьяницами. Есть две школы историков: одна полагает, что человечество в то время еще не привыкло к алкоголю, другая – что в силу недостаточного развития производительной базы чистое вино было попросту слишком дорого даже для рабовладельцев. Хотите, я почитаю вам стихи? Подходите, Машенька, слушайте! Милости прошу! Хотя и неуместно декламировать поэзию под звездным небом, ибо оно преодолевает все, содеянное питекантропом и его потомками.

Рувим Израилевич снимает очки с водянистых близоруких глаз, протирает их платочком и приступает к художественному чтению стихотворения про Францию, где часто попадаются непонятные слова, а еще упоминаются горлинки, небольшие лиловато-коричневые голуби, которых мальчик видел прошлым летом в доме отдыха «Симеиз». Горлинки довольно мелодично, хотя и однообразно, воркуют, тунеядствуя на тутовых деревьях, а местные жители отлавливают их паутиными сетями и помещают в деревянные клетки, выкрашенные лазурью, золотом и киноварью, а затем продают на колхозном рынке, чтобы покупатели держали птиц в домах для украшения и озвучивания своей скудной и бородатой татарской жизни. Знаменитый писец декламирует с выражением, порою потрясая правой рукой, подобно увлекшемуся провинциальному дирижеру, однако его слушают, кажется, только из вежливости, потому что уловить смысл в читаемом почти невозможно.

– Автор – наш фигурант?

Писатель удрученно кивает. Наступает молчание.

– А правда, Рувим Израилевич, что во Франции вино дешевле нарзана?

– Угу, – тускнеет вопрошаемый, – во всяком случае, два года назад и такое продавалось. Но там вин несметное количество. Имеются и такие, что за бутылку отдашь месячную зарплату.

– А правда, что во Франции триста сортов сыра и сто сортов духов? – снова осведомляется мать.

– Сыр у них носками грязными отдает, Маша! – возражает Дементий Порфирьевич. – Забыла? Вчера на ужин ты подала камамбер – плесень и плесень! Вы один и кушали, Рувим Израилевич. То ли дело наш творожок деревенский. Как стечет с марлочки – тут же и к столу.

– Французский камамбер несколько отличается от советского, – мягко возражает Рувим Израилевич.

– Не так воняет, что ли?

– Сильнее, гораздо сильнее, но гамма ощущений совсем иная. А в целом у нас, в Советской России, – почему-то заторопился писец, – жизнь, разумеется, куда лучше и веселей, Дементий Порфирьевич, хотя бы за счет своей целеустремленности и уверенности в завтрашнем дне. Куда лучше и веселей. Куда увереннее в завтрашнем дне.

– В каком смысле хотя бы?

– Что ж лицемерить! Ста сортов «Шанели» у нас пока нет, все-таки почти с нуля начинаем. Трусики кружевные в дефиците. Но это же не главное...

– Отчего же тогда, дорогой вы мой человек, обнаруживаются у нас отдельные неблагодарные персоны из числа творческой прослойки, которые изготавливают контрреволюционную бодягу вроде только что прочитанной вами с неясным намерением? Воспевают единоличное, карликовое крестьянское хозяйство, еще сохранившееся за границей? Страсть к деньгам? Даже воздух у вашего фигуранта – «денежный»! Розы – «скаредные»! Сказывается классовое происхождение – разве он не отпрыск купца первой гильдии? Не пришлец ли он из Ассирии? И при чем тут употребляется Чаплин? Не потому ли, что его фильмы мы – ради беззлобного развлечения советского народа – закупаем за границей на валюту? Снова деньги, снова буржуазное вырождение!

– Чарли Чаплин беззвучный, но смешной и симпатичный, дядя Дёма, – высказывается мальчик, но тут же замолкает, потому что Дементий Порфирьевич без лишнего усердия, однако достаточно увесисто хлопает его широкой ладонью по попе, а мать отрывисто смеется. Рувим Израилевич уходит к усадьбе, где на втором этаже безжалостно жгут электричество, работая на благо Родины, его стахановские товарищи по перу.

Темно, но еще не поздно. Прохладно, однако не холодно. Сквозь сосны проступают колеблющиеся отсветы безысходных вечерних чаепитий на соседних писательских дачах. Пахнет кинзой и мятой с хозяйского огорода и чуть-чуть – помидорными листьями. В сказке про вершки и корешки справедливо отражено, что некоторые сельхозкультуры полезны своими плодами, а некоторые – клубнями. Тем не менее богатый витаминами помидор и содержащий большое количество питательного крахмала картофель, как это ни удивительно, принадлежат к одному семейству вместе с табаком, стручковым перцем и условно съедобным (то есть дающим неядовитые, но и невкусные черные ягоды) пасленом, растущим по уголкам их запущенного арбатского двора. Здесь – увлекательный простор для юнната, невероятные возможности скрещивания с целью усовершенствования слепой и неустроенной природы[9].

## РЯДОВОЕ СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО

## В СПЕЦФИЛИАЛЕ ДОМА ТВОРЧЕСТВА

В спецфилиале Дома творчества накормливают разными вкусными вещами, а вокруг располагается полудикая природа, включая множество лесов, полей и рек. В доме, как и во флигеле, обустроено электрическое освещение, однако по остальным бытовым удобствам он заметно уступает московской квартире и даже дому отдыха «Симеиз». Из разговора между Дементием Порфирьевичем и матерью выяснилось, что хозяин собирался к началу лета проложить водопровод и канализацию, но потом отменил заказ, ибо не мог думать ни о чем, кроме павшего на него справедливого гнева фараона. Установленная в умывальной белая ванна (в почти такой же стирают белье в арбатской квартире) покрыта пылью, и вместо крана над ней зияет черная, неправильных очертаний предварительная дыра в стене; раковина, еще не смонтированная, валяется в подвале флигеля. Поэтому писцы совершают гигиенические процедуры перед старорежимным умывальником, похожим на алтарь в честь второстепенного бога, а оправляются (как и все остальные обитатели спецфилиала) в зеленой деревянной будке на краю участка, где на гвоздь, вбитый расплюснутым острием кверху, наколоты осьмушки последней страницы «Литературной газеты». Вечером предусмотрено вспомогательное средство – электрический фонарик, подвешенный на крючке в дачной прихожей. В светлое же время суток нередко можно наблюдать, как один из них переминается с ноги на ногу, ожидая выхода своего уважаемого коллеги из дощатого уединения.

С первыми лучами солнца, не дожидаясь будильника, пробуждается к жизни Андрей Петрович. Пренебрегая мойдодыровским алтарем с его мещанскими полочками, на которых тоскуют куски земляничного мыла и индивидуальные жестяные коробочки с зубным порошком, он воодушевленно выбегает на участок, направляясь к турнику близ флигеля. Андрей Петрович одет в бело-голубую футболку и белые трусы, как настоящий динамовец, а в руке крепко сжимает небольшое махровое полотенце. Ни на черной голове его, ни на розовой груди нет ни единого седого волоса. Тринадцать раз подтянувшись, даровитый драматург, хотя и бывший рапповец, спрыгивает на утоптанную землю и стучится во флигель, чтобы получить во временное пользование два эмалированных хозяйственных ведра, уже наполненных из водоразборной колонки Дементием Порфирьевичем. Перед тем как в порядке общественной нагрузки занести их в дом и опорожнить в бак умывальника, писец останавливается на полдороге, стягивает футболку и, пофыркивая, обтирается смоченным в воде полотенцем. «Ну-ка, дождик, теплой влагой ты умой нас огромною рукой! – поет он, почти не фальшивя. – Напои нас всех отвагой, а не в меру горячих успокой!» Наполнив умывальник, он возвращается во флигель за стаканом кипятка, а когда появляется вновь, щеки его уже совершенно чисты.

Порою, впрочем, Андрей Петрович бреется у дачного умывальника, на дворе, приладив на полочку круглое увеличительное зеркало в галалитовой[10] оправе, в котором черты лица потешно искажаются, как в комнате кривых зеркал в ЦПКиО имени Горького. Свою опасную бритву он тщательно точит на личном сером бруске из наждачного камня (правильное наименование – оселок), а затем правит на кожаном ремне, пробуя остроту лезвия на волосках предплечья. Густая кисточка с ручкой из полупрозрачного рога сначала взбивает теплую мыльную пену в белой чашечке, а затем ровным слоем наносит ее на заросшие щеки. Андрей Петрович становится похож на Деда Мороза, но это длится недолго. Изредка бритва разрезает кожу лица драматурга; выступившая капелька крови стирается малиновой махровой салфеткой, а затем к порезу прикладывается голубоватый стекловидный камешек под названием «квасцы», что странно: по правилам грамматики надо было бы говорить «квасец». Кровь останавливается, и довольный Андрей Петрович продолжает свой кропотливый труд по удалению ежедневной мужской растительности с поверхности лица.

Рувим Израилевич умывается и бреется внутри дома, на турнике не подтягивается, а в деревянную будку по утрам ковыляет в полосатом халате, из-под которого проглядывают поблескивающие лиловые подштанники. Он пользуется безопасным бритвенным станком и лезвиями с нерусской надписью, открывая новые каждые пять-шесть дней, а старое выбрасывая. Причины расточительности писателя остаются темными – выбранное в мусорном ведре лезвие оказалось поразительно острым и отсекает, например, листок сирени или цветок одуванчика с одного короткого взмаха. Выяснилось также: если на полый стебель одуванчика нанести с торца несколько продольных надрезов, а затем медленно надавить на торец пальцем, то стебель начинает разделяться на части, которые завиваются, в конечном итоге образуя некое подобие тропической пальмы. Аркадий Львович своих затупившихся лезвий не выкидывает, кажется, никогда, потому что возобновляет их для применения на особом точильном приборе с двумя оселками внутри. А комендант Дементий хранит свой набор бритвенных принадлежностей в секретном чемоданчике рядом со своим неиспользуемым командирским снаряжением[11] и никогда не бреется на людях, что неудивительно – ведь встает он раньше всех, еще засветло.

В черных штанах и черной куртке из сверхпрочной чертовой кожи, в серой байковой рубашке и подержанных кирзовых сапогах Дементий Порфирьевич, умывшись, отправляется к поленнице. «Бодрит лучше любого чаю», – бормочет он. Жаль, что никто, кроме скучающего гуся, длинной бечевкой привязанного за лапу у поленницы, не видит его мужественных, выверенных движений, не слышит богатырского уханья, когда увесистый колун вонзается в полено и, как правило, с одного взмаха разбивает его на две половинки, да так, что острие колуна иногда глубоко врезается в колоду, на которой колют дрова, – чурбан из сосны, которая прожила на свете лет триста, а то и четыреста, а теперь служит удовлетворению немаловажной бытовой потребности человека. По сучковатым образцам приходится, правда, бить два, а то и три раза, но и они в конце концов сдаются. В считанные минуты на утопанной земле образуется достаточно высокая кучка дров, необходимых для приготовления пищи, а в прохладные дни – для отопления дома. Однажды Аркадий Львович показал мальчику поразительный научный опыт: приложил к натопленной печи развернутую газету и стал растирать ее одежной щеткой из свиной щетины. Натертая «Правда» с большим портретом величественного фараона начала потрескивать, а в конечном итоге прилипла к печи и стала висеть на ней без посторонней поддержки. Аркадий Львович выключил свет, расправил снятую с печи газету и распростер ее над головой. Мальчик ахнул, ибо волосы поэта-конструктивиста встали дыбом и начали испускать крошечные, но отчетливые голубоватые искры. «Статическое электричество!» – воскликнул Аркадий Львович и объяснил, что щетка сдергивает с газеты мелкие, неисчерпаемые, как атом, частицы – электроны, после чего на ней появляется положительный заряд, притягивающий нетяжелые предметы, в данном случае – саму газету, прилипающую к печке.

– Майор мне приказывает, – повествует комендант, авторитетно улыбаясь, – езжай, дескать,

выполнять задание. Прием документов, общее наблюдение, контроль, отчетность. Работа – не избивай лежачего, но ответственная. Посильную помощь тебе предоставить или сам справишься? Зачем мне, осведомляюсь, помощь? Ну, отвечает, там же хозяйство – дров наколоть, воды принести, в саду навести порядок. Растопить плиту, натопить печь, когда надо. Да на хрена, говорю, мне помощник? Что я, белоручка?

– Ты трудолюбивый, Дёма, – кивает мать. – Хочешь еще бутербродик с колбаской?

– Не откажусь, Машенька.

– Так что, вас и длинному сбросу обучали?

– Исключительно теории, Маша, так сказать, отвлеченному знанию. Материальная база для тренировок пока отсутствует. На весь Союз всего две американских установки, в Москве да в Ленинграде. Зато уж короткий сброс, классический, мы отменно освоили – два часа лекция, четыре часа практических занятий. Смеху было! Мы же первые три часа друг на друге тренировались![12]

Чугунное чудище для кулинарной обработки продуктов питания снабжено тремя дверцами, разукрашено литыми латунными бляхами и опирается на щегольские медные ноги в виде изогнутых львиных лап. Дементий Порфирьевич, стараясь не запачкать руку, спичкой поджигает в его закопченном чреве несколько щепочек, выложенных колодезным срубом, затем добавляет щепки покрупнее, а в конце – несколько поленьев. Пристально любуясь крепнущим пламенем, он тоже напевает песню:

– Наш острый взгляд пронзает каждый атом! Наш каждый нерв решимостью одет, и, верьте нам, на каждый ультиматум воздушный флот сумеет дать ответ!

– Дядя Дёма, а что такое ультиматум?

– Нам говорят: сдавайтесь, а то начнем войну.

– А мы?

– А мы даем ответ простой, солдатский, не для детских ушей. Ты лучше отойди подальше от плиты, малец, а то обожжешься.

15

НЕКОТОРЫЕ ПОСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ

МАЛЬЧИКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ СПЕЦФИЛИАЛА

ДОМА ТВОРЧЕСТВА

Мама – тоже не из белоручек. В городе она служит секретарем-референтом у важного чиновника, и начальство ее ценит, но об этом нельзя рассказывать никому из писцов, да и вообще ни одной живой душе в поселке. Последнее нетрудно, потому что мальчика выпускают гулять с условием – не заговаривать с посторонними взрослыми, по возможности избегая и малолетних обитателей населенного пункта. У взрослых, погруженных в свои таинственные мысли, мальчик любопытства не вызывает, а писательские дети, которые играют в бабки (позвонками умерших животных) за своими зелеными штакетниками или на берегу пруда, сторонятся чужака, проживающего в доме несчастья на месте их бывшего

сверстника. Местные же дети, босоногие колхозники, привыкли не подходить к чистюлям-ровесникам, одетым по-городскому, ибо не ровен час.

Мальчику это на руку: он любит одиночество. Даже в пионеры его принимали не без скрипа, с учетом службы матери, под обязательство с большим восторгом участвовать в жизнерадостной форме существования, характерной для подрастающей юной смены белковых тел.

Нет, один исключительный случай все-таки имел место.

Два писательских ребенка мужского пола остановили его на поляне, почти у самого входа в мшистый и сосновый необитаемый бор.

– Ты не из лисосвинского дома? – спросил тот, что постарше, лет двенадцати.

Он промолчал, храня военную тайну.

– Ты что тут делаешь?

– Намерен исследовать хвойный лес на предмет наличия плодов грибного мицелия.

– Чего?

– Мицелия, иными словами – грибницы.

– Ты чего, ученый, что ли? Юннат?

– В некотором смысле – несомненно, – отвечал мальчик.

Руки у писательских детей начали опускаться, как «Варяг» – на дно Японского моря. Что ни говори, а задирать убогого – вещь не только неправильная, но и скучная.

– А чем занимается твоя мать? Она кухарка?

– Моя добродетельная мать готовит овощи, корнеплоды и мясо умерщвленных агнцев для кормления писцов, используя пламя от сгорания каменного масла или высушенных березовых стволов, разрубленных топором. Каменное масло представляет собой перегнившие стебли папируса и трупы допотопных ящеров. В этом оно сходно с черноземом, наиболее плодородной почвой из всех известных. Поскольку она также богата остатками мертвых стеблей растений, фекалий животных и продуктами разложения их беспокойных тканей.

Старший писательский ребенок мужского пола приложил большой палец правой руки к виску и совершил несколько ритмических движений ладонью, а младший неумно хихикнул, соглашаясь. Они повернулись и начали вприпрыжку удаляться: сначала сквозь сосны, а потом – по тенистой улице, под молодую переключку плотников, состязующихся в сооружении новых писательских изб, под верещание флотских австро-венгерских щеглов, тоже охваченных вдохновением мировой революции (хвостик лодкой, черно-желтые перья, красное шитье ниже клюва) в листьях горбатых яблонь, украшающих приусадебные участки еще не выселенных колхозников[13]. Дети писцов обернулись, чтобы соорудить рожу скудоумному из лисосвинского дома, но он смотрел на них с жалостью, если не с равнодушием.

– В доме устроили отделение Канатчиковой дачи, – засмеялся старший.

– Белых Столбов!!! – захохотал младший, и его щеки стали еще круглее.

– А Сережку все-таки жалко. Биноклярный микроскоп у него был – застрелись!

– А духовой пистолет? А энциклопедия? А немецкая железная дорога на электрическом ходу?

И второй случай имел происшествие, когда мальчиш-кибальчиш также не нарушил военной тайны.

Шел по обочине со станции некто носатый, высокоростый, усатый и смешной. Старый, морщинистый. И узнал его мальчик, и приблизился он к нему, дабы снизу вверх посмотреть на уважаемейшего из пишущих скоморохов, пусть и не удостоенного звания писца, но любимого в народе. Был старик озабочен, и десницу его оттягивала авоська со снедью, благоприобретенной на колхозном рынке у станции, – головкой цветной капусты с неизбежными пятнами желто-серого тления на кучерявой белой плоти, шестью обреченными картофелинами и ломтем нежного и жирного крестьянского творога, недалеко видно завернутым в промокшую серую оберточную бумагу (следовало бы запастись стеклянной банкой). Шуйца же его была пуста и совершала произвольные перемещения в пустопорожном осеннем воздухе.

– Евсей Иванович! – промолвил мальчик, робея и приближаясь.

– Честь имею, – затрудненно ответил морщинистый, раскачивая сеть со снедью.

– Я чрезвычайно обожаю ваши стихи для детей.

– Спасибо.

– А во взрослых стихах вы разбираетесь?

– Смею надеяться, молодой человек. Вы хотели о чем-то спросить? О Маршаке? О Маяковском, Пастернаке? Может быть, Симонове? Суркове?

– Сообщите мне, прошу вас, Мойдодыр Айболитович, что такое «жимолость» и «кривда»?

– Что-что?

– «Жимолость» и «кривда». И почему у козы-безбожницы глаза золотые.

Зрачки смешного, усатого и высокоростого очевидно расширились. Он присел, похрустывая коленными суставами кузнечиковых ног, он неаккуратно разместил авоську на пыльных зарослях подорожника, помогающего лечить поверхностные ранения кожного покрова, и напряженно заглянул мальчику в веснушчатое лицо.

– Где ты слышал эти слова, молодой человек?

– Я не могу вам сказать, Евсей Иванович. Это военная тайна.

– Военная тайна имени полковника Гайдара? Один сервильный ублюдок, один гуманитарствующий голем и одна – пусть и гениальная – сволочь решают судьбу российского Овидия Назона, а может быть, и Данте Алигьери. Ха! А я, не последняя, дьявол подери, фигура в отечественной критике и литературоведении, низведенная до колодок не то счетовода, не то скомороха, случайно узнаю об этом от ёршика, встреченного на окраине нашего – благоухающего сосной и пенькой – садка для откормленных мурен? Так, что ли? Так? Так? И я... в дневнике... Боже, зачем? Почему? Дневник – бессмертную душу свою – мог бы и пощадить, скажи мне, молодой человек? Да хоть бы и с помощью тайнописи? А?

– Вы изъясняетесь подобно простолюдину, опьяненному ячменным пивом, и я не понимаю

вас, Евсей Иванович, – удрученно промолвил мальчик, располагая лицо под углом в сорок пять градусов. – Я не знаю, кто такой Овидий Назон, и не слышал, что такое «пенька».

– Стебли конопли, молодой человек, стебли конопли, благотворные для народного хозяйства, скажем, для изготовления авосек и мешков, да и еще кое-каких товаров[14]. – Евсей Иванович, бережливо пользуясь отвердевшим голосом, встал во весь свой преувеличенный рост и вытер глаза довольно клетчатым носовым платком. – Прощайте. Впрочем, я добавлю: жимолость – благоуханный садовый кустарник. Кривда – не менее чем неправда. Воззвавший эти слова из всемирной безымянной копилки в ближайшее время, скорее всего, умрет на виселице. Это значит, что вопрос о золотых глазах безбожницы козы (вероятно, наклоняющей свою худощавую шею под топором самостоятельного bourgeois в кожаном переднике), вопрос о том, почему именно «кривая» июльская улица, бурля, смывала французских королей, может решаться только грядущими поколениями свободных, праздных и праздничных словознатцев. Ибо наши уста, юноша, простите пожилого человека за неуместную высокопарность, уже навеки зашиты просоленной и даже, я бы сказал, просмоленной пеньковой нитью. А теперь и впрямь прощайте. Fare thee well, and if forever, still forever, fare thee well[15]. И да не приключится с вами, молодой человек, ничего дурного в проклятом доме на опушке темных государственных лесов.

Слабость свойственна даже взрослым, не правда ли? Проявим и мы надлежащее великодушие. Если Евсей Иванович и всхлипывал, уходя и раскачивая пеньковой авоськой с продуктами питания, то мальчик предпочел этого не услышать. Также отметим: предпочел не запомнить странных мнений и выражений выдающегося пишущего скомороха, списав их на счет воздействия ячменного пива, несомненно поступившего в его организм в виде водки на станции железной дороги.

16

## СТИРКА БЕЛЬЯ

### В СПЕЦФИЛИАЛЕ ДОМА ТВОРЧЕСТВА

В особой кладовке во флигеле сохраняется продолговатое корыто, посверкивающее цинковыми снежинками, два цилиндрических жестяных бака разного размера, ребристая стиральная доска из того же металла, но в деревянной раме. От попадания воды березовая поверхность дерева отполировалась и приобрела особенный матовый блеск, как морские камешки в окрестностях Симеиза, когда обсохнут. Для устранения упорных загрязнений на мелких вещах предусмотрен эмалированный тазик – снаружи синий, внутри желтоватый. Большой бак не применяется, потому что наволочки и пододеяльники писцов два раза в неделю очищают в неведомом городском месте, обменивая на новые.

В хозяйстве обретаются также предметы, которые мать называет катком и вальком, а Дементий Порфирьевич – скалкой и рубелем. Если первый схож с преувеличенной скалкой для теста, то второй представляет собой дугообразную рифленую плашку твердого дерева, покрытую народной резьбой по дереву и снабженную ручкой. На скалку наматывают выполосканное белье и с помощью рубеля катают его по деревянному столу с целью обезвоживания с малым износом. «Надо бы в дом купить такие, – бормочет мать, – легче, чем выкручивать, и правильнее для тканей, особенно ветхих». Впрочем, впоследствии в кладовке отыскалось также механическое достижение передовой научной мысли, на совесть сработанное за границей из двух натуральных каучуковых валиков на алюминиевом основании; таким образом, скалка и рубель утратили свою минутную славу.

Когда оцинкованный бак извлекают из чулана, он звонко грохочет, задевая за братские предметы, как поступил бы на его месте любой тонкостенный металлический сосуд. Мать заранее изготовила на терке несколько горстей стружки из мраморного хозяйственного мыла (белого с фиолетовыми прожилками). Мыло разводится в тазике остатками теплой воды из чайника, пенистый и пахнущий родным домом раствор заливается в бак, уже поставленный на плиту. Дементий, взобравшись на табуретку, наливает в бак два ведра воды, затем бросает туда подаваемые матерью трусы, майки, сменные воротнички для рубашек Алексея Петровича, манишки и манжеты Аркадия Львовича, подвязки для носков и нарукавники. Светлое и темное обрабатываются отдельно. Отдельно стирается также исподнее Рувима Израилевича; его замачивают, но никогда – по его собственной смущенной просьбе – не кипятят. («Шелковое-то оно шелковое и действительно от хлорки может расползтись, да все заношенное, перештопанное», – не одобряет мать.) Впрочем, двое писцов помоложе тоже стесняются, когда приносят во флигель очередной сверток из «Литературной газеты». «Сочинители! – в тон матери отвечает Дементий Порфирьевич. – Носки дырявые у всех троих. Не нюхали они военной дисциплины». – «Носки стремительно изнашиваются, Дёма, – вступается мать за писцов, – а новые достать затруднительно». – «Ты кому это говоришь, Маша? – Дементий, напрягая бицепсы, с видимым наслаждением крутит ручку американского агрегата, и прямой кусок холста, не обметанный по краям, выходит из валиков почти совсем сухим. – Вот русский носок, я его ни на что не променяю!»[16] – «Писцы носят не сапоги, а ботинки», – упорствует мать. «По глупости, – заключает комендант спецфилиала Дома творчества. – Ты сообрази, Мария. Сохнет портянка быстрее. Изнашивается меньше. Если сапог великоват, ты даже этого не заметишь. Кожа в ней чувствует себя куда лучше. А в полевых условиях, скажем, ее можно изготовить самостоятельно! Да и боевую рану перевязать, чтобы не истечь пролетарской кровью».

«Ну, это ваши мужские дела», – сдаётся мать и уходит развешивать выжатое бельё на длинных, чуть провисающих веревках, пересекающих участок за флигелем на высоте человеческого роста. Бельё прикрепляют к веревке с помощью деревянных прищепок с пружинками внутри, которых в хозяйстве не считано, и мальчику уже удалось стянуть три штуки. А что! Прищепка – изделие нехитрое, но в своем роде совершенное, к тому же похожее в профиль на крокодилью пасть. Двумя прищепками можно изображать бой крокодилов на берегу Нила, а третьей, помещенной в стакан с водой пастью вверх, – мирное земноводное, наблюдающее за схваткой из реки.

До революции, когда у простого народа не было ни мыла, ни горячей воды, помещики и капиталисты за полкило черного хлеба с лебедой нанимали простых женщин, и те стирали их бельё на реке, в холодной воде, перетирая одежду с песком и нанося по ней сильные удары вальком. Власть рабочих и крестьян покончила с этим изнурительным трудом. Но и в счастливом 1937 году стирка, даже в горячей воде с мылом, – занятие не из легких. Склонившись над корытом, мать яростно трет чьи-то подштанники о стиральную доску и трясёт головой, чтобы убрать со лба спускающиеся кудряшки. Руки ее распухли и покраснели, на лице проступают капли пота, однако она все равно прекрасна. Кажется, Дементий понимает это не хуже мальчика, потому что проводит с ней много больше времени и помогает чаще, чем положено по службе.

Он произносит, смеясь:

– Стиральная доска означает, что у вас впереди трудности.

Мать отвечает:

– Трудности у меня прямо сейчас, Дёма. Обстирывать такую ораву – это тебе не виноград обрезать.

Он говорит, глядя в сторону:

– Если мужчине снится мокрое белье на стиральной доске, это значит, что женщины будут им помыкать.

Она спрашивает:

– А тебе снится?

Оттирает мокрую руку о край штатской штапельной юбки (синей в белый горошек) и осторожно улыбается.

Он молвит, не отвечая:

– Сломанная стиральная доска говорит о том, что беспутная жизнь и необдуманные поступки приведут вас к беде.

Она, тускнея, но не прерывая возвратно-поступательных движений трудовой деятельности:

– Эта доска еще не сломана и вряд ли сломается, Дементий Порфирьевич.

Белье, как уже упоминалось, полощут у бывшего святого источника. Мать несет тяжелую корзину с текстилем самостоятельно, задумчиво и молчаливо. (Дементий Порфирьевич лишен права надолго отлучаться: он должен охранять покой писателей.) Источник в овраге, рядом со сгоревшей молельней.

– Там молили муку! – радостно догадывается мальчик.

– Вот и не угадал, там молились. Просили несуществующего Бога о здоровье, счастье, продвижении по службе.

Спускаясь глинистой тропинкой по склону неглубокого оврага, заросшего ивой и ольшаником с серо-коричневыми прошлогодними шишечками, мать ступает впереди, держа корзину руками, заложенными за спину, а мальчик – сзади, поддерживая другой конец корзины. Вывалится белье на неухоженную траву – и вся многочасовая работа пойдет насмарку. Там, где ручеек из источника впадает в речку, вода самая чистая, без водорослей и ила, к тому же сооружены мостки, на которых иногда сидят на корточках или на коленках молодые домработницы из писательского поселка, почему-то не удивляющиеся тому, что мать никогда с ними не заговаривает и даже не здороваются. Где полощут белье местные жители – неведомо; те старухи, что наполняют бутылки водой из источника чуть выше по склону, равно непристеливо смотрят и на мать, и на сына, и на писательских домработниц. Течение на середине заставляя длинные мохнатые водоросли, похожие на волосы русалок, вытягиваться, стелиться, волноваться. По чистому дну реки снуют увертливые пескари, а однажды мальчик увидел настоящего рака, шевелящего насекомыми усами, только не красного, как положено, а серо-зеленого. Рыба не боится, когда ее рассматривают, но тут же разбегается, если погрузить в воду белье, истекающее мутным мыльным раствором. Аркадий Львович объяснил, что рыба не видит человека, что ее небо – поверхность воды – кажется ей непрозрачным зеркалом. Предмет же, погруженный в воду, – совсем другое дело.

## 17 МУРАВЬИ И ЛИСИЧКИ

Участок, как уже сообщалось выше, охватывает не менее гектара.

Малая часть его площади, непосредственно окружающая дачу, отведена под огород, флигель, детскую площадку и сад из десятка яблонь и крошечного малинника, по молодости

лет еще не плодоносящий. Остальное приходится на огороженный кусок соснового бора, почти нетронутый тревожной хозяйственной деятельностью человека. Отойдешь минуты на две ходу – и дача теряется в шероховатых соснах, можно подумать, что блуждаешь в подлинном диком лесу. Но эта мысль будет неоправданной: дикий лес обнажает признаки неухоженной природы в виде праздно гниющего валежника, сухостоя и обломившихся от старости веток, сиротливо покоящихся на многолетнем слое сухих иголок. В сосновом бору при даче за период времени с исчезновения бывшего садовника еще не успело накопиться этих скорбных особенностей: он чист и весел, сух и опрятен (как на второй день творения, когда произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его, – добавил бы я, но смысл этой фразы остался бы темным для нашего безымянного мальчика).

Он вступает в лес, вооруженный ладным перочинным ножичком (подарок Дементия Порфирьевича) и легкой корзинкой.

Нож с тремя лезвиями, необходимый для разнообразных применений, при срезании гриба способствует сохранению грибницы. Он изготовлен из спиленных бычьих рогов и, по словам дяди Дёмы, из золингенской стали (верно, он имел в виду зоологическую сталь); в магазинах такие не продаются. Вероятно, он приобрел его на Смоленском рынке, где, как известно, можно найти все. На самом маленьком лезвии красивым почерком выгравировано: «Дорогому Сереже от папы». Бедный незнакомый Сережа, как он, должно быть, расстраивался, когда потерял изящную вещицу.

На белые или подосиновики – которые, говорят, встречаются в большом лесу на окраине поселка, хотя обнаружить их мальчику так и не удалось, – надеяться не приходится, однако позавчера удалось собрать одиннадцать маслят, и ни один не очутился червивым. Любая темнолицая колхозница близ железнодорожной станции содрала бы за такой улов (составляющий условную единицу рыночно-грибного измерения – кучку) никак не менее двух рублей – огромные деньги, почти на три бутылки крем-соды, или буханку серого, или двести граммов кетовой икры. Сегодня хорошо бы собрать побольше, чтобы угостить необъяснимо загрустивших писателей, до поздней ночи кричавших друг на друга в спецфилиале Дома творчества с употреблением неизвестных мальчику грубых обзывательных слов «рапповец», «конструктивист» и «попутчик», к которым добавлялись прилагательные слова, слышанные им во дворе от знаменитого хулигана Васьки Шило. Похоже, что в конце концов они все-таки помирились, но утром прибыл фельдъегерь от товарища старшего майора и через Дементия Порфирьевича передал молчаливо завтракающим писателям (овсяная каша, яичница с ветчиной, чай, масло, хлеб, яблочный сок) запечатанный пакет, где находился всего один листок бумаги с напечатанными на пишущей машинке стихами. Комендант спецфилиала Дома творчества вскрыл конверт и, не читая, передал листок Андрею Петровичу.

«Это тот самый похабный пасквиль, изготовленный нашим фигурантом в 1933 году, который упоминал товарищ старший майор. Тогда фигурант отделался дешево».

Андрей Петрович, прочитав стихотворение, поморщился, словно проглотил жабу; Аркадий Львович всплеснул руками; Рувим Израилевич усиленно закашлялся, хватаясь рукою за толстую грудь. Никто не вымолвил ни слова.

– Прошу вернуть материал и сделать соответствующие выводы, граждане бывшие рапповцы, конструктивисты и попутчики, – строго утвердил Дементий Порфирьевич.

Он разорвал возвращенный листок на восемь, кажется, частей и поместил их в пепельницу – свободно, чтобы обеспечить доступ воздуха. Белая страница быстро сгорела, оставив немного дыма и немного пепла – не табачного, серого и бархатистого, а бумажного, черного и ломкого.

– Работайте, коллеги! – широко улыбнулся комендант. – Не буду вас больше беспокоить. К вечеру приедут забрать готовое заключение.

Фельдъегерь дожидался Дементия Порфирьевича у крыльца.

– Разрешите обратиться, – шепнул, – товарищ старший лейтенант госбезопасности?

– Разрешаю.

– У меня имеются к вам устные инструкции от товарища народного комиссара, товарищ старший лейтенант госбезопасности.

– Я слушаю.

– Цитирую визу на отчете наркома: «Полагаю, что работу писательской бригады следует считать успешно выполненной. Несмотря на допущенные в прошлом ошибки, товарищи добросовестно поработали, на деле доказав верность партийной линии. Считаю, что подвергать их репрессиям нет никаких оснований».

– Имеются ли дополнительные инструкции?

– Пройдемте в машину, товарищ старший лейтенант госбезопасности.

Маслята – отменные, однако крайне негигиеничные грибы. Сначала приходится очищать их липкую шкурку от прилипших сосновых иголок и мусора, а то и от мелких слизней, потом – тщательно мыть и чистить, что в отсутствие водопровода совсем не просто. Между тем крепкий молодой масленок исходит такой самодовольной прелестью, что пренебречь им решительно невозможно, даже если размерами он не превосходит лесного ореха. А почерневшие пальцы? Как их отмыть впоследствии? Песком, мылом, щеткой – и то с трудом.

Удивительная вещь эв

а люция! С одной стороны, она привела к появлению человека, царя природы. С другой стороны – к необъяснимому разнообразию форм жизни. Злобные гиены, ядовитые поганки, уродливые ящерицы, кровососущие комары – кому они, спрашивается, нужны? Почему не вымерли, уступив место более разумно устроенным? Впрочем, эв

а люция еще не закончилась. Советский человек еще наведет на планете порядок, оставив только культурные и красивые виды животных и растений, на всякий случай сохранив остальные в научных зоопарках и ботанических садах.

Он дошел до самого дальнего края участка, где за непроницаемым зеленым забором лежали владения кого-то из выдающихся писцов и раздавались детские крики, – должно быть, писательские дети играли в прятки, скрываясь за толстыми стволами, ложась ничком в овражках, таясь в кустах дикой малины. Или в жмурки, когда водящему надевают на глаза повязку из подручного материала и он на время становится слепцом, ищущим зрячих; в комнате у него еще есть надежда, в лесу – вряд ли. Или в салочки, когда дети носятся друг за другом, пытаясь дотронуться до жертвы, которая после этого сама становится охотником. Опять же лес – не самое подходящее место для этой игры: бегущему грозит опасность споткнуться и упасть лицом вниз, сильно ударившись о землю, а то и о случившийся камень. Позавчера даже бедный Рувим Израилевич, размеренно прогуливаясь по участку, неудачно рухнул на землю, и очки его ударились о булыжник, наследие ледниковой эпохи. Одно стекло разлетелось вдребезги, а бакелитовая оправа – очевидно, достаточно изношенная – раскололась пополам.

Мальчик заметил желтое пятнышко в слежавшейся хвое. «Желтый осенний лист, – убедительно сказал он себе, – несомненно, это лист бересклета или волчьей ягоды». Тем

сладостнее оказалось обнаружить огромную лисичку с воронкообразной шляпкой, чуть пожухшей по краям. Чик! Не поднимаясь с корточек, мальчик стал неторопливо и внимательно оглядывать ближние окрестности. Чаще всего лисички растут большой семьей, но попадаются и одинокие экземпляры. Ага! Две! Три! В общей сложности набралось четырнадцать довольно крупных штук; ни одной червивой, как и положено с лисичками, руки чисты, дно корзинки полностью покрыто. Правда, на пяточке, где росли лисички, обнаружился также небольшой муравейник. Его взволнованные обитатели, ползая по ступням и голеникам мальчика, не кусались, но малопривлекательно щекотали кожу.

«Жадины, – подумал мальчик. – Муравей силен для своего веса, однако с грибом не справиться даже тысяче этих насекомых. Так бы и сгнили мои лисички, никому не доставшись – разве что болезнетворным микробам». Он положил на муравейник раскрытый спичечный коробок с кусочком гриба на доньшке. Некоторое количество шестиногих оказалось в ловушке – для предстоящего исследования с помощью половинки очков, подаренной позавчера Рувимом Израилевичем.

Был ясный день, и старый писатель, почти не приуныв, показал мальчику, как можно использовать солнце для раскуривания папиросы «Метро». «Шутки в сторону, а в непроходимом лесу – в котором каждому суждено оказаться на середине жизни, – такое стеклышко может спасти человека! – добавил он. – Очков, правда, жалко, но у меня есть запасные наверху».

Всякая высушенная вещь расправлялась на гладильной доске, и Мария обрызгивала ее водой изо рта, смешно надувая щеки, а потом водила по ткани шипящим железным утюгом, наполненным тлеющими угольками. Белье раскладывалось в стопки – для каждого из трех писцов, для мальчика, для Дементия Порфирьевича. Свое собственное белье мать никогда не стирала и не гладила на людях.

– Умница! – сказала она, посмотрев на содержимое корзинки. – И как быстро! Но почему же писателям? Чтобы каждому досталось по две столовые ложки? Давай я их тебе самому поджарю к обеду.

– Я хочу их подбодрить, – сказал мальчик. – Они же добрые и занимаются тяжелым трудом. И у всех троих сегодня плохое настроение.

– Молодец, настоящий юный пионер! Всегда нужно делиться с другими. Ступай, помоги Дементию Порфирьевичу заклеивать окна на зиму.

– До зимы еще далеко!

– Ты не поверишь, сынок, но по прогнозу погоды ночью ожидаются заморозки. Дом нужно хорошо протопить, а зачем же зря терять тепло, тратить государственные дрова?

18

ЧТО ПЕРЕПИСЫВАЛ МАЛЬЧИК

В ТЕТРАДКУ ИЗ РАЗРОЗНЕННЫХ СТРАНИЧЕК,

ОБНАРУЖЕННЫХ НА ПОМОЙКЕ ВОЗЛЕ РЕЗИДЕНЦИИ

ВАЖНОГО ЧЕЛОВЕКА – МИТРОПОЛИТА,

А ТАКЖЕ ИЗ КНИГИ Н.В. ГОГОЛЯ

Эти гонения, начавшиеся при Нероне, продолжались с большей или меньшей силой в течение столетий. Христиан обвиняли в самых отвратительных преступлениях и считали их причиной таких тяжелых бедствий, как голод, чума и землетрясения. Когда они стали предметом ненависти и подозрения со стороны народа, доносчики охотно ради корысти предавали невинных, которых осуждали как мятежников, врагов народа и вредителей. Многих бросали на растерзание диким зверям или живыми сжигали в амфитеатрах. Некоторых распинали, других зашивали в шкуры диких зверей и бросали на арену на растерзание собакам. Народ собирался в большом количестве для того, чтобы насладиться этим зрелищем, встречая предсмертные муки казнимых смехом и рукоплесканиями.

В месяц несен (апрель) жида распинают и мучают христианского младенца, если могут достать его, и об этом говорится в книгах Талмуда Зихфелеф, Хохмес и Наискобес. Обряд этот исполняется в половине апреля, к празднику Пейсах, т. е. к Пасхе; в память заклания агнца притолока обрызгивается кровью младенца или к ней прикасаются ниткой, намоченной в этой крови. Младенцев берут преимущественно, потому что с ними легче справиться и легче их достать. Каждому еврею, успевшему в этом, дается отпущение грехов. На истязание младенца, распятие его и проч. есть подробные правила, и все это должно быть исполнено в синагоге. Но при опасности огласки дозволяется убить христианина где и как можно, не соблюдая никаких особых обрядов.

Инквизитор из Комо рассказывал нам, что его однажды пригласили жители графства Барби для расследования вследствие следующего события. Некто, узнав о таинственном похищении своего ребенка из колыбели, стал искать преступников и напал ночью на собрание женщин, на котором он увидел, как убили мальчика и как присутствующие пили его кровь и пожирали его тело. Поэтому указанный инквизитор в прошедшем году предал костру 41 ведьму.

Где бы сторонники Маркса и Энгельса ни укрывались, всюду их гнали, как хищных зверей. Они вынуждены были искать убежище в пустынных и покинутых местах. За пределами Рима под холмами в земле и в скалах были проложены длинные ходы, мрачная, переплетающаяся сеть которых простиралась на целые мили за городскими стенами. В этих подземных убежищах последователи Маркса и Энгельса находили приют. Когда Циолковский и Федоров воскресят тех, кто подвизался добрым подвигом, тогда из этих мрачных пещер выйдут многие, ставшие мучениками за дело Маркса и Энгельса.

В книге Рамбам (Гандома церихен дмей Акумь сельмийцвес) обряд описан во всех подробностях. В книге указаны все снаряды, необходимые для совершения сего бесчеловечного обряда. Для этого содержатся при синагоге железная корона, два железных копьеца, нож для обрезания, полукруглое долото для желобковатой раны в боку младенца, а также бочка, в которой катают его для привлечения подкожной крови.

Возникает вопрос: как смотреть на грех тех ведьм, которые, сохраняя в сердце своем веру в Бога, приносят черту внешние признаки почитания и повинуются ему? На это надо ответить следующим образом. Отступничество может быть двояким: 1) в виде внешних действий неверия без нарочного заключения договора с дьяволом. Так поступают христиане, проживающие в магометанских странах и принимающие обряды ислама; 2) в виде внешних действий неверия с заключением договора с дьяволом. Так поступают ведьмы. Первых не отнесешь к отступникам или еретикам, но их проступок нельзя не назвать смертным грехом. Поклоняться дьяволу из страха не служит оправданием. Ведь, по словам Августина, лучше

умереть от голода, чем поесть жертвенного мяса. Но как бы ведьмы ни сохраняли в сердце своем веру, а на словах ее отрицали, они все сочтутся отступницами вследствие заключения договора с дьяволом и союза с адом.

Не уважали козаки и чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. И много святых общин, расположенных невдалеке от мест сражения и не могших спастись бегством, как то св. община Переяслав, св. община Борисовка, св. община Пирятин, св. община Борисполь, св. община Лубны, св. община Лохвица с прилегающими, погибли смертью: у некоторых сдирали кожу заживо, а тело бросали собакам, а иных – после того, как у них отрубали руки и ноги, бросали на дорогу и проезжали по ним на телегах и топтали лошадьми; многих закапывали живьем, у беременных женщин вспарывали живот и плод швыряли им в лицо, а иным в распоротый живот зашивали живую кошку и отрубали им руки, чтобы они не могли ее извлечь.

Тайные инструкции Троцкого называют мертвых коммунистов падалью,дохлыми и вследствие того не велят их хоронить; замученного советского ребенка не зарывают, а выбрасывают куда-нибудь или кидают в воду; между тем почти все подобные злодеяния действительно обнаруживались оттого только, что искаженное тело юного пионера случайно обнаруживалось в поле, в лесу или всплывшим на воде; и если бы троцкисты не были обязаны поверьем своим выбрасывать труп мученика, то было бы трудно понять, для чего они не стараются зарыть его и скрыть таким образом, чтобы оно по крайней мере не бросалось в глаза первому прохожему.

Еще одна пагубная сторона свойственна преступлениям троцкистов. Вследствие оказанного ими почитания капитала все их поступки, будь то хорошие или дурные, надо считать греховными. Позорные дела троцкистов превосходят все другие преступления. Они подлежат наказанию вдвойне: как уклонисты и как предатели. Согласно Ульриху, уклонисты наказываются четырьмя способами: исключением из партии, увольнением, конфискацией имущества и высшей мерой социальной защиты. Тяжкие наказания полагаются также сообщникам троцкистов: укрывателям, пособникам и защитникам. Если уклонист после разоблачения тотчас же не отречется от своего заблуждения, то он должен быть тотчас удушен. Ведь спекулянты и дезертиры тотчас же умерщвляются. А во сколько раз преступнее этих последних люди, поднимающие руку на партию!

19

ДНЕВНИКОВЫЕ И ИНЫЕ ЗАПИСИ ЖИЛЬЦОВ

СПЕЦФИЛИАЛА ДОМА ТВОРЧЕСТВА

Что записывает Андрей Петрович в черновой блокнот . Ну вот, к шести часам пополудни и завершили мы, члены писательской бригады, наш недолгий, но и нелегкий труд. Сколько голов – столько и умов, гласит мудрая русская поговорка. Как написал наш фигурант на своем птичьем языке: «Благословенны дни и ночи те, и сладкогласный труд безгрешен». А теперь меня одолевают философские вопросы. Ведь больше всего мы с коллегами спорили о масштабах деятельности фигуранта, о том, обладает ли он подлинным поэтическим талантом. Практически победила моя точка зрения: холодный версификатор, автор головных стихов, эпигон Гумилева и Пастернака, который неискренне пытается (от страха за свою

шкуру, вероятно) приспособиться к новой действительности, мимикрировать, если угодно. (В экспертном заключении, согласованном с моими товарищами, используются не столь жесткие выражения, но их суть остается той же.)

И вот хочу для себя, да и, что греха таить, для потомков выразить свою собственную, беспримесную позицию. Я не литературный критик, но мое писательское сердце остро реагирует на фальшь, попытку вкрась в доверие к читателю. Да, фигурант из кожи вон лезет, чтобы доказать свою лояльность к советской власти, к руководству партии и правительства и всего советского народа. «Я должен жить, дыша и большевея...» Казалось бы, какие могут быть претензии к этой строчке (за исключением того, что в ней начисто отсутствует поэзия)? Но уже в следующей строке фигурант проговаривается: «Работать речь, не слушаясь – сам-друг...», беззастенчиво утверждая примат индивидуализма, отказ «слушаться». Там, где истинного поэта волнуют судьбы страны, переживающей самый великий период своей истории, он озабочен только собственной участью. «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко. Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо...» Что за троцкистский текст! На своем корявом наречии фигурант как бы ставит двойку нашему историческому времени, к тому же именуя его «конвойным», – и это вместо того, чтобы задуматься о своей вине перед партией и всем советским народом! «Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов...» Вот именно! Тут фигурант прав. То самое «младое, незнакомое» племя зорко следит за тем, чтобы дармоеды – к числу которых, несомненно, принадлежит и он сам – не завладели наследием великого Пушкина. И если уж вспоминать Пушкина, то мои чувства на данный момент точнее всего описываются словами: «Эти слезы впервые лью: и больно и приятно... как будто нож целебный мне отсек страдавший член!..» Философский же вопрос заключается в следующем: а ну как эти «стихи» были бы не контрреволюционными поделками, а действительно обладали какой-нибудь, пускай и ограниченной, художественной ценностью? Как должна была бы – по совести – поступить наша экспертная группа советских писателей? Что, если б нам довелось судить Шекспира или Данте (кстати, в свое время высланного из Флоренции)? Думается, что революционная действительность и в этом случае не дает поводов для сомнений. Поэт – прежде всего гражданин, и судьбы Родины неизмеримо неизмеримей, чем судьба изменивших ей граждан.

А теперь пора спать, чтобы наутро продолжить наш главный проект. Смешно сказать, но я уже соскучился по этой увлекательной работе!

Что записывает Аркадий Львович в черновой блокнот. Я единственный поэт в экспертной группе, и меня больше, чем остальных, волнуют узкие цеховые интересы. Поэзия, хотя и неразрывно связана с обществом, все же развивается своими непредсказуемыми путями. Малый ручеек может дать начало большой реке, пополняющей безбрежный и бурный океан русской словесности. Что ни говори, а Баратынский или Случевский, при жизни решительно отвергнутые аудиторией, занимают сегодня в этой словесности не последнее место. В какой мере это относится к нашему фигуранту? Вероятно, в самой скромной. Вряд ли он, со своим незначительным даром, сможет изменить что-то в строении и составе нашей великой литературы, тем более что и литературное дело сегодня – это не развлечение эстетов, а мощное оружие. Фактически перо уже приравнено к штыку! Фигурант не с нами, а следовательно, против нас. «Может быть, это точка безумия, может быть, это совесть твоя...»[17] Что это, если не претенциозный набор слов, который, быть может, и привлечет ленивое внимание будущего литературоведа в качестве курьеза, а будущего поэта – в качестве примера смысловой, звуковой, эмоциональной и идеологической невнятицы! И все же я не могу так решительно отказывать фигуранту в поэтическом таланте, как наш простодушный драматург. Его ранним стихам свойственно забавное насупленное обаяние, да и в этих чувствуется некая бестолковая хлебниковская энергия. Но городской юродивый не так безобиден, как представляется на первый взгляд, ибо может ненароком изрыгнуть хулу на фараона, смущая юношество, а в рубище его гнездятся блохи, переносящие чуму, и жирные

тифозные вши. Поэтический дар, тем более третьесортный, не освобождает от ответственности за преступления или злой умысел против народа. В любом случае окончательное решение – за судом, и я рад, что нам удалось смягчить формулировки экспертного заключения, чтобы лишний раз не настраивать судей против фигуранта.

Что записывает Рувим Израилевич в черновой блокнот . J'ai vraiment l'esprit de l'escalier[18], старый кретин. Уже поставив подпись на заключении, уже за великолепной – даже по меркам нашего узилища – вечерней трапезой я вдруг сообразил, что для облегчения участи этого идиота (в афинском значении слова) следовало настаивать на том, что подсудимый – психически нездоровый человек, не способный отвечать за свои действия. Я всегда замечал в нем склонность к помешательству. Сам щебеча на разорванном наречии, он жаловался, что я пишу «не по-русски», когда главный, быть может, подвиг моей жизни состоял в том, чтобы привить к финской сосне русского наречия веточку прованской смоквы, развести жаркий, но безвкусный спирт революции мощным и пахучим косноязычием жизнелюбивых южан. Нетрудно выявить шизофреническую логику его последних стихов, смехотворную манию величия. «Да, я лежу в земле, губами шевеля, и то, что я скажу, заучит каждый школьник...» – эк хватил! «В игольчатых чумных бокалах мы пьем наважденье причин, касаемся крючьями малых, как легкая смерть, величин...» И кто эти мы? Неужели строители Беломорканала, Магнитки и Днепрогэса? Разумеется, нет! Враги? Не смешите меня. Он всего лишь провозглашает свое родство с другими безумцами, обитающими вне времени и пространства, «в кукушьем краю», как выражаются англичане. Станет ли здоровый человек, пытающийся спасти собственную жизнь восхвалением фараона, пить за эполеты белых офицеров и барские шубы? (Кстати, бедный фигурант – неужели не знает он, что асти-спуманте, которое представляется ему символом буржуазной роскоши, – это приторная шипучка, которая на родине Тасса стоит немногим дороже пива? И его вылезшая шуба из неизвестного меха до сих пор смердит в моих воспоминаниях.) Может ли он, изображая всемогущего царя в виде дракона («Он свесился с трибуны, как с горы, в бугры голов...»), вдруг самонадеянно добавлять: «Должник сильнее иска», – для этого надо полностью утратить связь с реальностью. Да, я положительно ошибся, и мне воистину жаль этого олигофрена. Заключение уже ушло в город, но завтра же утром составлю свое особое мнение. А теперь – спать. Ужин был, пожалуй, слишком сытным.

Что записывает Дементий Порфирьевич в дневник дежурств . 9:30. Принят по описи доставленный суточный паек (см. прилагаемую расписку), включая наряду с прочими напитками одну (1) спецбутылку коньяка армянского пятизвездочного и две (2) спецбутылки вина киндзмараули. Приняты по описи доставленные документы, включая один (1) спецпакет с пометкой «О.Э.М.» и один (1) спецпакет с инструкциями от товарища народного комиссара. 9:35. В ходе завтрака (см. меню, представленное сержантом Свиридовой) писцам представлен для ознакомления машинописный стихотворный документ, содержащийся в спецпакете с пометкой «О.Э.М.». Реакция: страх и отвращение. В непринужденной (шуточной) форме писцам согласно полученным устным указаниям сообщено, что они еще не полностью разоружились перед партией. Машинописный документ по прочтении писцами уничтожен. 9:40. Вскрыт пакет с инструкциями товарища народного комиссара. Инструкции по прочтении уничтожены. 10:00–12:00. Выполнение обязанностей по хозяйству, в том числе подготовка гостиной и прихожей к холодному сезону. 14:30. Обед писцов совместно с комендантом СФ ДТ (см. меню, представленное сержантом Свиридовой). Вопросы о продолжении генерального проекта, обсуждение возможных поворотов сюжета. 15:30–17:30. Писцы, освободив свои кабинеты и спустившись в гостиную, составляют на пишущей машине ремингтон окончательный вариант экспертного заключения. В кабинетах за это время

проведена подготовка к зимнему сезону (заклеивание окон). В течение дня мимо спецфилиала Дома творчества неоднократно прогуливались тов. Валентин Катаев и детский писатель Чуковский. Попыток проникнуть на территорию не отмечено, однако тт. Катаев и Чуковский осуществляли внешнее наблюдение за зданием и озабоченно переговаривались друг с другом, томясь. 15:45. Осуществлен забой (обезглавливание) и разделка домашней птицы (гусь), ранее доставленной в составе продуктового пайка. 18:00. Заключение экспертной группы передано прибывшему фельдъегерю. 19:30. Праздничный ужин писцов совместно с комендантом СФ ДТ и приглашенной ими сержантом Свиридовой состоялся без происшествий. Неоднократно отмечалось высокое качество деликатесных продуктов питания и напитков, особо доставленных к данному приему пищи.

20

КАК ПРОВЕЛ МАЛЬЧИК ОСТАТОК ДНЯ ПОСЛЕ

СБОРА ЛИСИЧЕК И ПОИМКИ МУРАВЬЕВ

–Эх, где наша не пропадала! – провозглашает Дементий Порфирьевич, шуточно-сощурился синие глаза. – Мальчишка ты исполнительный, гостей наших сегодня накормил чуть не целым обедом. Матери помогаешь, почти как взрослый. Держи!

Полированная деревянная коробочка с кожаной ручкой оказалась неожиданно тяжелой, будто содержала что-то металлическое. «Вряд ли это пистолет, – подумал мальчик, – детям не разрешается пользоваться оружием, да и зачем он мне?»

– Открывай, дружок, не стесняйся.

Мальчик отодвигает два никелированных крючочка, на которых держится крышка. На зеленом бархатном ложе, снабженном необходимыми углублениями, бесстрастно покоится двустольный латунный микроскоп из тех, которые он видел в журнале «Техника – молодежи».

– Ой! – не верит он своим глазам. – Это на время?

– Нет, навсегда. Считай, премия за образцовое поведение. Инструкция, правда, на фашистском языке, но справимся как-нибудь.

Мать смотрит на коробку с недоверием и восторгом.

– Балуете вы мальчишку, Дёма. Я видела такой микроскоп в магазине случайных вещей – четыре с половиной тысячи!

– Да ну?

– Честное слово. За такие деньги лисью шубу можно купить. Откуда он у тебя?

– От верблюда. А с лисьей шубой разберемся, Маша, голой не останешься.

– Спасибо, дорогой дядя Дёма, – частит мальчик, опасаясь лишиться ценного подарка. – Ужасное спасибо!

«Наверное, мать притворяется, что дядя Дёма всего лишь ее сослуживец. Наверное, он и есть мой отец, которого якобы никогда не было, – подумал мальчик. – Просто они надолго

поссорились после моего рождения, а теперь наконец помирились. Или, наоборот, папу послали на сверхсекретное задание за границу, а теперь он вернулся. Скоро он обменяет свою жилплощадь, и мы заживем вместе в целых двух комнатах, купим радиоприемник и диван, на котором я смогу читать, забравшись на него с ногами. Ботинки я буду предварительно снимать, чтобы не запачкать обивку и чтобы родители не ругали. Еще мы купим для меня ученический письменный стол и настольную лампу-грибок, покрытую голубой эмалью. Мама не будет так страшно уставать, а папа будет помогать мне готовить уроки, присаживаясь рядом со мною перед столом. Через несколько лет ему придется изображать близкое знакомство с геометрией, биологией и всемирной историей, но я же понимаю, что у него не было времени изучать все эти школьные предметы, что он занимался куда более важными делами. Свою комнату – а у меня появится своя комната! – мне придется держать в армейской чистоте и порядке, потому что папа – человек справедливый, но суровый и, вероятно, в случае чего может без лишней жестокости отодрать меня своим широким командирским ремнем. А наши друзья-писатели будут иногда запросто приходить к нам в гости, вспоминать спецфилиал Дома творчества, шутить и хохотать, нахваливать мамин винегрет и котлеты, ставить на стол советское шампанское и стрелять пробкой в потолок, и мама будет зажимать уши в притворном страхе. Будут угощать и меня, а я вежливо откажусь. Еще будут наведываться командиры-чекисты с женами и детьми, и у меня появится много новых замечательных друзей. И все наши жалкие соседи будут завидовать, потому что их никогда не навещают такие знаменитые и незаменимые люди».

– Ты, как всегда, держишь какую-нибудь живность в спичечном коробке? Давай сразу и опробуем наш новый аппарат. Мне, признаться, тоже любопытно.

Дементий Порфирьевич, отряхнув с рук остатки гусяного пуха, ставит микроскоп на кухонный стол.

– Нам требуются предметные стекла, – подает голос мальчик, – и, наверное, покровные стекла тоже.

– Ну, я покопался в инструкции. В комплекте имеются и те и другие, но покровные стекла нужны для совсем крошечных, тонких образцов, например луковой шелухи. А мы с тобой будем муравьишку рассматривать. Только как сделать, чтобы он, оставаясь живым, не двигался? Маша, капни-ка на стеклышко чуть-чуть меду из высокой банки. Теперь помещаем зверя в эту каплю. Видишь, лапами шевелит, усами старается – а выбраться хрен! Ну-ка...

Он склоняется над окулярами, медленно вращая черный винт машины, а еще одним винтом – чуть-чуть перемещая прямоугольное стеклышко, помещенное в лапки-зажимы на предметном столике.

– Вот он, наш объект. Ну и урод, полюбуйся!

Непомерная голова муравья, как бы закованная в панцирь цвета старой меди, яростно (а может быть, и отчаянно) шевелит усами, то и дело выпадающими из фокуса, полусферические фасеточные глазки злобно (или беззащитно) поблескивают, угрожающе (или бессильно) шевелятся челюсти – кажется, называющиеся жвалами.

– Как марсианин! – вскрикивает мальчик. – Как скупой рыцарь из музея Пушкина! Но как же он теперь освободится?

– А хоть бы и сдох, жертва науки, – весело говорит Дементий Порфирьевич. – Муравьем больше, муравьем меньше. Павловскую собаку видел на фотографиях? Оттяпали бобику голову за милую душу – а ведь, должно быть, тоже бегал по лаборатории, полаивал, хвостиком повиливал... Ну, давай-ка на время уберем это хозяйство. Помоги мне дров в дом натаскать. Маша, не пора ли ставить гуся в духовку? Не допускай напрасного прогорания топлива.

– Я не хочу, чтобы насекомое умерло, – говорит мальчик. – Может быть, отмыть его от меда?

– Только покалечишь, гуманист недорезанный, или вовсе раздавишь. Лучше отнеси стеклышко на участок и сбрось мураша спичкой на землю. Товарищи быстро приползут ему на выручку, оближут дочиста – и будет как новенький! Можешь и до муравейника дотащить, коли не лень. У них, муравьев, коллектив крепче, чем у людей. И устроен проще – никакой буржуазной свободы, зависти или стяжания, собственности и классовой борьбы. Все равны, все трудятся на общее благо. Позавидуешь!

– Что за глупости ты несешь, Дементий! Сравниваешь нас, людей, с какой-то безмозглой гадостью.

– Сказка ложь, да в ней намек, Маша, – отзывается комендант. – Нам есть чему у них поучиться.

В связи с временным перерывом в работе трое писателей поодиночке бродят между соснами, не глядя друг на друга. Мальчик доставил муравья домой (заодно выпустил из коробки и остальных) и вскоре, пыхтя, тащит в пустой дом порядочную охапку березовых дров. Затормозила у калитки обтекаемая черная эмка, посверкивая решетчатым радиатором, приветствовала обитателей спецфилиала Дома творчества ослепительным светом инопланетных фар. Выступил из кабины, закурив «Делегатскую», шофер в малом чине, он же фельдъегерь, отсалютовал Дементию Порфирьевичу, принял осургученный серый пакет, вторично отдал честь и уехал вдаль по вечеряющей дороге, счастливцев, на своем восхитительном средстве передвижения, напевая, верно, какую-нибудь негромкую военную песню.

Покуда мать накрывает на стол и раскладывает закуски, гусь в печи испускает благоухание, доносящееся от флигеля до самого дома. Так написал бы Рувим Израилевич: он набит четвертушками антоновских яблок, гусь, к ним добавлена гвоздика из Индии и черный перец с острова Суматра, а разъятая грудь оципанной и опаленной покойной птицы зашита суровыми русскими нитками. Сегодняшние яства доставлены в отдельных судках, каждый из которых снабжен записочкой с названием блюда – джонджоли, сациви, пхали, лобио, хашлама[19]. Даже мама не умеет готовить такой изысканной, такой пряно пахнущей еды.

Между тем Дементий Порфирьевич в своей комнате с наслаждением стаскивает постылую спецодежду коменданта спецфилиала Дома творчества, по совместительству дворника и садовника, и надевает синие бриджи с малиновым кантом, а также хорошо отвисевшуюся в гардеробе гимнастерку. Он обворачивает сначала правую, а затем левую ногу в свежие портянки, после чего с помощью длинного рожка натягивает хромовые сапоги, молодецки поскрипывающие при ходьбе. (Господи, как осточертела проклятая солдатская кирза, которую давеча так расхваливал этот штатский щелкопер!) Щетки не требуется: для наведения полного блеска достаточно пройтись по поверхности форменной обуви бархоткой. Далее надеваются ремень, портупея, кобура с привычной веселой тяжестью револьвера. Необходимо еще разрезать готового гуся, но на этот случай можно одолжить у Марии кухонный передник. «Петлицы, должно быть, скоро придется менять!» – радостно подумал Дементий Порфирьевич и тут же одернул себя, чтобы не сглазить. Могут и благодарностью в приказе обойтись, в конце концов. Задание было – отпуск, курорт! Жаль, что Ольга не дожила. Впрочем, семейного, может быть, и не направили бы в столь познавательную и ответственную командировку.

Он выходит на крыльцо флигеля, внимательно вглядывается в густеющую прохладную полутьму ранней подмосковной осени и глубоко вздыхает. С соседних участков пахнет скошенной травой, горящими сухими листьями, рябиновой настойкой. Жалко прощаться с этим благословенным местом. Уже невидимое, закатное солнце все еще льет нежаркий золотистый свет на верхушки сосен, под которыми по-прежнему непересекающимися кругами

одиноко слоняются трое писателей. Странное, какое же странное ремесло, требующее уединения и независимости! Однако даже руководство партии и правительства должным образом учитывает данный момент; новые дачи в поселке поднимаются с каждым днем, ибо сказано: «Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы же производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар – души людей».

Надо по возвращении в Москву почитать их книжки, если будет время.

21

## ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

### В СПЕЦФИЛИАЛЕ ДОМА ТВОРЧЕСТВА

Скатерть – белая, жаккардовая; тарелки – белые с золотым ободком и еле заметным рельефным орнаментом по краю, в центре стола – букет гладиолусов с дачной клумбы, частично тоже белых, а частично – темно-фиолетовых с алой серединкой. Блюда с незнакомыми названиями содержат изобильное количество непостижимых трав и молотых грецких орехов; иногда попадает крошка покрупнее, вкусно похрустывающая на зубах. За стол мальчика не пустили, но мать положила ему каждой перемены понемножку в большую мелкую тарелку и налила основательный хрустальный стакан крем-соды.

Честно говоря, ему и самому не хотелось оставаться со взрослыми. Впервые увидав своего коменданта в командирской форме, писцы вдруг преобразились в пришибленных и неразговорчивых. Движения их замедлились, а взгляды застывают то на петлицах дяди Дёмы, то на его нарукавном знаке серебряного и золотого шитья. Зря, потому что бояться им нечего, а Дементий Порфирьевич в своей настоящей одежде выглядит очень красиво. Может быть, источником всеобщего стеснения является жара в гостиной? Печь основательно протоплена, а обещанные заморозки никак не наступают.

– Нет-нет... – замешкавшись в дверях, мальчик слышит, как настаивает благородный комендант, – коньяк – ровесник революции! – и вино из спецсовхоза предназначаются исключительно вам, друзья мои, купить ничего подобного невозможно, прислано из личных подвалов сами знаете кого, и не нам, рядовой обслуге, разевать щучьи рты на эти редкости.

– Зачем вы скромничаете, товарищ старший лейтенант госбезопасности? – уважительно спрашивает Аркадий Львович. – Ведь ваше звание соответствует общевойсковому майорскому? Мы, право, и не подозревали...

– Неважно! – отмахивается Дементий Порфирьевич. – Я, будучи незамысловатым человеком из сознательных пролетариев, с душевным удовольствием утешусь родной «Московской особенной», а наша дама употребит бокал-другой цинандали – также выдающееся отечественное вино, однако в распределитель поступает регулярно. Ну что? За успешное продолжение наших трудов на благо Родины?

Громче и мелодичнее всех звучит бокал с позолоченной кромкой, из которого собирается пить полусладкое вино Рувим Израилевич, потому что он сжимает его не за верхнюю часть, а за длинную ножку.

– Ну и хитрец вы, товарищ Бруни! – замечает Андрей Петрович. – Я тоже хочу попробовать. Ну-ка, еще раз... ух, как здорово! Давайте все будем держать посуду правильно. Еще раз!

«Так, должно быть, звенели бы колокольчики, которые растут на лугу, будь они покрупнее и

хрустальными», – думает мальчик.

Совместный пир трех писцов и двух сотрудников госбезопасности, очевидно, проходит тихо и чинно. Через час, правда, пирующие затягивают совместную песню, и была эта песня, как ни удивительно, вовсе не про сердце – пламенный мотор и не про белогвардейские цепи.

Вел – красивым голосом, как у Вадима Козина на патефоне, – Дементий Порфирьевич. Он перекрывал и дребезжащий фальцет Андрея Петровича, и мурлыканье Аркадия Львовича, и фальшивые грассирующие трели Рувима Израилевича. «И-извела», – затягивал Дементий Порфирьевич, и мать повторяла неожиданно высоким голосом: «И-извела!» «Извела меня кручина, по-одколо... подколодная змея! До-огорай (мать повторяет), догорай, моя лучи-ина, до-огорю, догорю с тобой и я!» К четвертой строчке писцы тоже увлекаются, поют все громче и громче, и тоскливые звуки не самого стройного хора смущают его единственного несовершеннолетнего слушателя – почти так же, как сегодняшнее невиданное обилие отчетливых небесных светил в высоте, недостижимой даже для стратостата.

Не дожидаясь конца песни, он возвращается во флигель, к книжке «Занимательная математика», и незаметно засыпает.

Вскоре поднимаются в свои комнаты и усталые, необычно сонные писцы. Мать с Дементием Порфирьевичем переносят грязную посуду во флигель и убирают со стола. Затем комендант, оставшись на некоторое время в доме, подбрасывает в печь три полена и, чтобы не терялось тепло, плотно задвигает вьюшку.

Вернувшись во флигель, он пристраивается у кухонного стола и, наблюдая за моющей посуду терпеливой Машей, мелкими порциями допивает свою «Московскую», время от времени замороженно следя за перемещением секундной стрелки никелированных карманных часов. Примерно через час он опять идет в дом, поднимается по лестнице (издавая совокупный скрип сапог и лестничных ступеней), проводит на втором этаже несколько недолгих минут и вновь появляется во флигеле.

– Сержант Свиридова, – голос его совершенно трезв, – приказываю вам срочно отбыть со мной в Москву в связи с окончанием выполнения задания. На сборы – двадцать минут. Вопросы есть?

– Но...

– Вопросов нет. Собирайся. Ребенка разбудишь, когда придет машина.

Мальчик счастлив: его посадили на переднее сиденье, рядом с шофером. Шелестит гравий под стремительным авто, свет фар выхватывает из тьмы притихшие, начинающие желтеть леса, черные окна колхозных изб, вывески редких сельпо, аккуратные новые рабочие бараки, выкрашенные где в белый, а где в голубой цвет. Потом начинается асфальт, и высоченные московские дома, и грохот поздних трамваев. Внезапный отъезд необъясним, но лицо Дементия Порфирьевича при посадке в автомобиль было настолько суровым, что спрашивать его ни о чем не стоит.

– Хорошо, Маша, я тебя понимаю, – негромко говорит он на заднем сиденье. – Порядочные женщины не заводят шашней с сослуживцами во время командировок. Однако ты больше не моя подчиненная. С мальчишкой у меня отличные отношения. Я вдовец, ты не замужем. Может быть, подумаем о чем-нибудь серьезном?

– Я подумаю, – отвечает мать счастливым голосом.

Машина останавливается у подъезда, шофер достает из багажника вещи. В одной руке у Дементия Порфирьевича чемодан побольше – мамин, в другой – поменьше, с вещами

мальчика. Сам он прижимает к груди коробку с микроскопом, а мать несет гладиолусы, стоявшие на столе во время пира. Запах селедки, кислых щей и керосиновой копоти, переполняющий скудно освещенный коридор квартиры, может быть, кому-то и не по душе, но это – примета родного дома.

– Добро пожаловать, – шамкает горбатая пенсионерка Алена Ивановна, кое-как волоча нетвердые тонкие ноги в войлочных тапках по направлению к уборной.

– С возвращением! – улыбается усатый снабженец Роман Родионович, покуривающий свою папиросу на кухне, у раскрытого настежь окна, стряхивая пепел в консервную банку.

Высказав соседям вежливые и соразмерные ответы, мать возится с ключом, пробуя повернуть его то в одном, то в другом, смещенном на доли миллиметра, положении, бормочет что-то огорченное и наконец распахивает дверь в комнату.

– Замок я тебе на днях сменю, – замечает Дементий Порфирьевич, – негоже так мучиться.

«Ура!» – выводит мальчик указательным пальцем на пыльной поверхности круглого стола, стоящего в центре жилого помещения, и добавляет к надписи улыбающуюся точку-точку-запятую, минус-рожицу-кривую. Вместо отсутствующей вазы для цветов мать приносит с кухни старую бутылку из-под советского шампанского, но в ее узкое горлышко втискивается от силы два гладиолуса, а что делать с остальными?

– Погоди, – Дементий Порфирьевич, как фокусник, извлекает из нагрудного кармана недлинный кусочек пенькового шпагата, смачивает его керосином из примуса (на время командировки сохранявшегося в комнате), обвязывает вокруг верхней части бутылки, затягивает, завязывает узелком, поджигает, а когда пламя стихает, заворачивает бутылку в кухонное полотенце и одним резким движением отламывает горлышко. – Вот вам и ваза, – говорит он удовлетворенно. – Давай, ставь наши цветы, Маша, а мне пора.

– Может быть, останешься? – спрашивает мать. – Или хоть чаю с нами попьешь?

– Оставайтесь, дядя Дёма! – подтверждает мальчик.

– Не могу, друзья мои. Я человек военный, подчиняющийся приказам. Товарищ старший майор неумолимо ожидает меня в своем кабинете. Я уже и так опаздываю.

– Погоди, а мне что делать?

– Сегодня суббота, Маша. Завтра твой законный выходной. А в понедельник выходи на работу, как обычно.

– Дядя Дёма! – вдруг сообщает мальчик. – Скажите, а вы вовремя закрыли вьюшку в печи? Не слишком рано? Не образуется угарный газ?

– Не беспокойся, пионер, все сделано как следует.

– А писатели утром не поразятся, что нас нет на месте?

– Они взрослые люди и понимают государственную необходимость. Соответствующие разъяснения будут им предоставлены.

Он обнимает мать, гладит ее по волосам и целует в полураскрытые губы, а мальчик, будучи воспитанным мальчиком, отворачивается и беспокойно ждет. Ждать приходится дольше, чем он рассчитывал, мать с Дементием Порфирьевичем не только целуются, но и шепчут что-то невнятное друг другу, тревожно дыша.

Рано ли, поздно ли, но Дементию Порфирьевичу все же приходится нехотя спускаться по щербатым ступеням лестницы, утомленно садиться на переднее сиденье автомобиля и уноситься по направлению к кинотеатру «Художественный». Мальчик, волнуясь и радуясь, смотрит вместе с матерью ему вслед из высокого растворенного окна третьего этажа, пока задние огни машины окончательно не теряются из виду.

P. S. Сержант Свиридова ошибалась: когда за два дня до ее смерти в Южном Бутово (Дементий Порфирьевич погиб там же через месяц) немецкий бинокулярный микроскоп в деревянной коробке, выложенной зеленым бархатом, появился в магазине случайных вещей на Сретенке среди другого личного имущества осужденных врагов народа, за него просили не четыре с половиной тысячи, а всего три тысячи семьсот двадцать рублей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:

СЦИПИОН ИЛЕТИЦИЯ

1

– Опять курили в комнате, господин Свиридов? – вздохнул человек в зеленом медицинском халате. – Как вам не стыдно.

– Был грех, – смутился обитатель комнаты. – Разве я плохо проветрил?

– Пожалуйста, постарайтесь больше так не поступать. Канцерогенный дым просачивается в коридор. Ваши соседи страдают. Иначе я буду вынужден полностью запретить вам курение, даже на улице, изымать у вас сигареты и зажигалки.

– Шел подавляющий и затяжной сентябрьский дождь, – сообщил обитатель комнаты, – у меня не было иного выхода. У вас тут вечно если не дожди, так туманы.

– Надо было потерпеть. Хорошо бы вам вообще расстаться с этой пагубной привычкой. Хотите, я назначу вам Zyban? Многим помогает.

– Зайбан? Нет, – обитатель комнаты хихикнул, – во-первых, я дорожу своими привычками, поскольку больше нечем, во-вторых, название этого лекарства по-русски звучит довольно непристойно.

За последнюю пару месяцев в состоянии господина Свиридова, как говорится, произошло значительное улучшение, и человек в зеленом халате посматривал на него не без гордости, предчувствуя основу для неплохого доклада, может быть, даже и на ближайшей конференции Канадского общества психиатров.

– Неужели? А что оно значит?

– Типа достали вы меня. Утомили. Раздражаете. Входите без стука, читаете лекции, как школьнику.

– Что вы! Я ничего не делаю, чтобы вас раздражать, господин Свиридов. Я просто выполняю свои служебные обязанности.

– Хорошие у вас обязанности. По тумбочкам у отдыхающих шарить. Мой дневник опять кто-то читал. Я между страничками положил волосок – а он взял да исчез, пока я предавался сонному отдыху. Из моей фляжки с холодным чаем опять кто-то отпил чуть не половину, а может, и вылил. Даже представители кровавого коммунистического режима не рылись в личных вещах. Если, конечно, ты не подвергался аресту. Тогда начинались вопиющие нарушения прав человека и гражданина. Допустим...

– Вы мне позволите выслушать эту захватывающую историю в следующий раз, господин Свиридов? – человек в зеленом халате улыбнулся. – У меня для вас хорошая новость.

– Знаю я ваши хорошие новости. Сколько было шума вокруг телевизора, а смотреть по нему нечего, один местный канал. Рыболовство, гей-парады, общественность возмущена планами постройки электростанции. Бесконечный спорт. Никакой культуры. Бездуховное у вас общество, господин начальник, хотя и материально обустроенное. Или еще один витамин пропишете? От вашего последнего мне совсем плохо стало.

Обитатель комнаты носил плотную серую пижаму, выглядел старше своих пятидесяти семи, и совершенно седая щетина поблескивала на его обвисших щеках. Он говорил по-английски с заметным акцентом, и короткие пальцы его подрагивали. В воздухе стоял запах гречневой каши, очевидно, только что сваренной на электрической плитке с одной конфоркой. Две русские книги на крошечном письменном столе – карманное издание Библии и первая часть «Архипелага Гулаг» – казались изрядно засаленными, а третья – массивная, из серии «Литературные памятники» – нетронутой. Настенный календарь «Russia» за 1998 год сводился к февральской страничке с видом заснеженного Исаакиевского собора.

– Вы не волнуйтесь, господин Свиридов. Никаких новых витаминов я вам пока не прописываю, а предыдущий давно отменен. Администрация заметила, что вы скучаете, и решила установить у вас компьютер с подключением к Интернету. Можем бесплатно отдать вам свой собственный, списанный, но работающий, а можем заказать для вас в магазине новый, со всеми прелестями. Правда, за ваш счет. Сможете узнавать новости из России, посылать письма старым друзьям. Мы разыскали адрес вашего сына, он, возможно, тоже захочет с вами переписываться.

Вкрадчиво и как бы рассеянно произнеся последнюю фразу, человек в медицинском халате напрягся, ожидая ответа.

– Правда? – обитатель комнаты оживился. – Но я помню, в России плохо с интернет-сайтами. Во-первых, мало, во-вторых, постоянно ломаются. У меня по часу уходило, чтобы скачать небольшую фотографию или статью.

– Что вы! За эти годы все изменилось. В России не то двадцать, не то сорок миллионов человек пользуется компьютерами. Так какой вы хотите?

– Ну... наверное, Dell... вы мне каталог принесете? – оживился больной. – С цветным экраном? А жене я могу написать?

– Нет, этого делать не стоит.

– А другу моему, прозаику?

– Боюсь, что и тут мы будем против.

Обитатель комнаты давно уяснил, что с сотрудниками санатория лучше не спорить. Чувствуя слабость своего ума, словно больной ребенок, он безропотно покорялся несвободе, хотя и не умел ее объяснить.

– С сыном лучше свяжитесь.

– Сын. Да-да, сын у меня есть, точно. Совсем забыл. Леонид, по-английски Леонард. Думаете, он умеет пользоваться электронной почтой?

– Мои собственные дети – мальчику восемь, девочке одиннадцать – владеют компьютером куда лучше меня, а вашему, слава богу, уже двадцать два года, господин Свиридов. Он учится на юриста в Мак-Гилльском университете. Может быть, он поначалу не будет вам отвечать – ему потребуется время привыкнуть к отцу. А теперь до свидания. Мне нужно посетить остальных постояльцев. Каталог вам занесут часа через полтора.

Дверь за человеком в зеленом медицинском халате мягко закрылась, а пожилой обитатель комнаты встал с незастеленной кровати, тоскливо огляделся и подошел к тумбочке. Фляжка оказалась на месте, и господин Свиридов, в три глотка осушив ее содержимое, как и полагается, молодецки крякнул, вытер вялые губы тыльной стороной ладони и запил свой холодный чай стаканом минеральной воды из небольшого холодильника.

2

Казенный будильник, хотя и наличествует в наличии, служит мне часами безмолвными обыкновенными: вставать по звонку я уже немало лет не обязан. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Сносный будильник, облицованный чуть облезшим пластиком под дерево ценных пород, цифры полыхают адским огнем, опробованный звонок назойлив, но не отвратителен. Начинается, как женская истерика, с недовольного попискивания, возрастающего в конце концов до хриплого визга. Должен вновь подчеркнуть, однако, что этот кошачий концерт мне доводится слышать редко.

О будильниках: направляясь в гости к одному старому другу во время одной из своих командировок, я проходил мимо одной московской помойки. Мартовский ветер, не ведая, что советская власть уже находится при последнем издыхании, трепал крупный плакат, с угла подожженный кем-то, кто, очевидно, пренебрег зрелищем тлеющей сырой бумаги и отправился по своим делам.

Открытый огонь на территории муниципальных образований запрещен различными установлениями, потому что может вызвать возгорание окрестных зданий и сооружений. «Свои дела!» – граждански возмущился я. Должно быть, такие же ничтожные, как он сам, праздношатающийся юнец, промышляющий мелким хулиганством. Тискать пергидрольную барышню, норовя проникнуть руками поближе к заветным местам. Томный и лживый шепот «не надо» шелестит в ответ. Блузка: белая, поплиновая, с макраме и скромным вырезом. Трусики гэдээровские, нейлоновые, и лифчик тоже нейлоновый, розовый, с грубоватым машинным кружевом. Наряжаясь перед свиданием и даже будучи уверенными в том, что «ничего» не состоится, они (барышни) все-таки не забывают выражения «на всякий случай» своим нежным серым веществом.

Забавно, что ты стал уже достаточно взрослым, чтобы я мог сообщать тебе такие игривые умозаключения.

Отмечу, впрочем, в порядке здоровой самокритики, что порою огорчаюсь собственному высокомерию. Я ведь и сам не боярин, не дворянин, не инструктор райкома КПСС. Наставляю тебя: будь скромным, сынок. Все люди одинаково живут, страдают и уходят в бездонную, так сказать, вечность, полную безразличных звезд, независимо от уровня образования; героям Джейн Остин неведома ни высшая математика, ни кролиководство, да и

в изящной словесности, полагаю, не были они копенгагенами. В наши дни заведомая Настасья Филипповна вполне могла бы служить продавщицей нижнего белья в какой-нибудь «Дикой орхидее». Или как они, продавщицы, теперь титулуются у меня на родине? Менеджеры по продажам? Консультанты? Да и сам юноша, быть может, торопился легкими стопами на свидание к студентке педагогического техникума, и тоже был студент, как некогда твой единокровный отец, и в виде плаката сжигал свое постылое прошлое, как корабли на Рубиконе.

Видишь, я осознаю свои недостатки и стараюсь их преодолеть, осознавая, что тут, в Эдеме, почти любая официантка учится на психотерапевта или магистра деловых наук. (Если молодая. А если в летах – то уже отучилась.)

Ты слово «ГДР» знаешь? Забыл, должно быть. Это Восточная Германия, она же Германская Демократическая Республика. Смешная была страна, говорят. Производила автомобили с пластмассовым корпусом, игрушечные железные дороги, фарфоровые статуэтки русских медведей, играющих на гармонии, и бурый уголь. Тамошняя отважная молодежь склонялась перелезть через известную трехметровую стену, за которой сиял ночными огнями Западный Берлин. Иногда их истребляли пограничники из автоматов Калашникова. Сотни две, кажется, невинных душ погубили, ироды. А в обратную сторону никто не стремился, потому что жить на Западе было замечательно, а при коммунизме – прескверно. Например, нынешнего меня с моими незаурядными идеями в советской России ожидала бы самая скорбная участь. Ибо там свободомыслящих объявляли безумцами, определяли их на всю жизнь в психиатрическую лечебницу и внедряли внутримышечные уколы изуверского лекарства, от которого даже здоровый политзаключенный постепенно терял рассудок.

Представь себе: гости съезжаются на дачу (шутка). Прибывают западные корреспонденты на долгожданную и беспрецедентную встречу со страдальцем за вашу и нашу свободу. Волнуясь, томятся на стульчиках, обитых полихлорвинилом под кожу, в приемной лжемедицинского учреждения. Переодетые в санитаров агенты тайной полиции вводят под руки шатающегося несчастного, бритого наголо, в нечистой больничной пижаме с пятнами пшенной каши и рыбного супа. В ответ на вопросы журналистов он несет хохломскую ложку к уху, выкрикивая: да здравствуют народные промыслы нашей бесстрашной отчизны!

Корреспонденты, обескураженные, расступаются восвояси, сетуя на недостатки снабжения продуктами питания в дипломатической продуктовой лавке и коварство тайной полиции. В переулке, отделенном берлинской стеной от учреждения карательной психиатрии – Института имени Сербского, – дети снежной страны с печальными, как у пожилых собак, глазами, в основном мальчишки (в ратиновых пальто на вате, с кроличьими воротниками, выкрашенными в медвежий коричневый цвет), сгрудились вокруг лаковых импортных автомобилей. Стальнозубый работник слесарной мастерской озадаченно выглядывает из своего закутка. Детей разгоняют, заграничные средства передвижения транспортируют корреспондентов в казенные квартиры, начиненные подслушивающими устройствами – исходно, должно быть, пятикомнатные, для больших семей, однако, перегородки снесены, гостиные просторны, а потолки приземисты – два с половиной, от силы два семьдесят. Испуганным гостям из местных свободомыслящих кидают на стол несколько пачек «Мальборо», чтобы они не дымили советским табаком, казарменный запах которого впоследствии застаивается в жилище часами. Гости шепотом распространяются о сульфазине, а хозяин дома недоверчиво поблескивает очками в платиновой оправе (на правом стекле крошечная царапина, а заменить его ближе, чем в Хельсинки, невозможно – беда!).

Юнец-поджигатель отбыл на свидание со своей Лорелеей или, наоборот, встретился у винного магазина с аналогичными бездельниками, чтобы под крики вернувшихся в город грачей, под свежепромытым хрустальным небом полакомиться в отсыревшем скверике народным крепленным.

Странно, милый, что мне представляется именно

юнец.

Поджечь плакат мог и пожилой, приближающийся к встрече с Создателем. Я, скажем, немолод, однако сегодня часа два занимался не вычислительными играми (что имеет глубокий смысл, о котором речь впереди), а купленными в китайской лавочке магнитами.

Тропический ливень возник внезапно. Теплая вода хлестала с неба толстыми серыми струями. Крестьяне столпились возле террасы. Оттуда неслись звуки боевой песни, исполняемой молодыми, звонкими голосами. В деревне Трех Синих Камней мы слушали лекцию о сокровенном способе вырастить высокий урожай кукурузы.

Плакат с обгоревшим углом я подобрал и подарил другу. Он оказался учебным пособием по арифметике: узнаваемые предметы начала шестидесятых годов с ценами на них. «Тому, кто видит Москву впервые, одежда кажется довольно неприглядной. Правда, достать необходимое можно, притом некоторые вещи, как, например, овчины или галоши, поразительно дешевы, остальные большей частью довольно дороги», – наблюдал Лион Фейхтвангер в своей книге

«Москва, 1937». Твой дед тогда еще жил на углу Арбата и Староконюшенного, а не в карагандинском детдоме для детей врагов народа.

С помощью плаката я вспомнил, что будильник на электрическом ходу стоил двадцать пять рублей. Самый дорогой предмет на плакате. Кастрюля из тонкого алюминия – пять. А плюшевый медведь – три.

Магниты неизменно поражали меня. Не менее, чем медведи. Их теперь предлагают в виде отполированных кусочков намагниченного гематита для развлечения малолетних ученических масс. Этот поделочный камень глубокого черного цвета с металлическим блеском по-русски называется

крававик .

А я в детстве знал только магнит в виде подковы.

Один конец цвета пожарной машины или советского флага, другой – цвета гэдээровского пионерского галстука. Пламя и морская вода.

Инь и ян.

Кусочек гематита помещается на тонкое гэдээровское блюдце – последнее из моего московского сервиза, украшенное нехитрым красно-синим орнаментом. (Да, чтобы тебя успокоить – хотя здешняя посуда и заражена радиацией, у меня в санатории все свое: блюдце, тарелка глубокая и тарелка мелкая, своя вилка. Свой нож.)

Другой кусочек ты зажимаешь в кулак, волнуясь. Подносишь кулак к нижней стороне блюдца, и тот магнит, что наверху, начинает переминаясь на отсутствующих ногах, подрагивать, словно вышеприведенный юнец, дожидаящийся своей студентки психфака. Под часами, да, с букетом цыплячьей мимозы в шелестящем целлофане.

Знаешь, что меня огорчало долгие годы в Северной Америке? В частности?

На всякой раскинувшейся площади я невольно искал взглядом уличные часы. Но их не было и нет.

Большие часы здесь можно увидеть только на полузаброшенных старых вокзалах, откуда в

день отправляется три электрички и один-другой медлительный поезд дальнего следования.

Впрочем, в Сент-Джонсе, где я коротаю свои стариковские дни и ночи, огромными курантами украшено серое здание губернского суда, внутри которого, понятное дело, мне бывать не доводилось.

3

Как же я рад, что мне предоставили эту путевку. Иными словами, предоставление путевки доставило мне удовольствие и чувство шанхайской признательности. Дворцы творчества, санатории, дома отдыха в Советском Союзе времен коммунизма обслуживали исключительно преданных рабов бесчеловечного режима.

Собакоголовые – называли мы их, опять же в шутку. Шепотом, прикрыв подушкой телефонный аппарат.

Жаль только, что у меня из памяти исчезло заседание профкома, на котором мне выдали путевку (жужжащие мухи, вода в пожелтевшем изнутри графине). И как составлял заявление шариковой ручкой, не помню. И почему согласился на этот северный санаторий с морским климатом?

Впрочем, не верь, сынок, сплетням про эти края. Здесь также проживают незамысловатую жизнь смертные люди, раскрашивая свои двухэтажные дощатые домики высококачественной краской, чаще всего – белой, реже – бирюзовой и пурпурной, иногда – малахитовой. Камень – гранит, базальт; небо – разбавленная синька, которую некогда добавляли в белье, чтобы скрыть старческую пожелтелость. Добротное белье, которое в иных семьях сохраняется десятилетиями, в шестидесятых все еще украшалось мережкой, а иногда обвязывалось кружевом. Наволочки – во всяком случае.

Рассказывают: еще лет двадцать назад этот уединенный англосаксонский городок наводняли беглые русские крепостные. Матросы советских сухогрузов, приплывавших за зерном, курили папиросы, выходили прогуливаться и покупать джинсы и видеоманитофоны. У них походочка – что в море лодочка, у них ботиночки производства фабрики «Скороход». Их выпускали группами по три-четыре человека. Иногда кто-то

оставался. Как задыхались в эмигрантской печати,

переходил на положение невозвращенца. Вид на постоянное жительство выдавали стремительно и без особых вопросов. На родине беглеца заочно осуждали на десять лет заключения в концлагере, а ближайших членов семьи перерабатывали на консервы для лагерных овчарок.

В доме отдыха по бессрочной путевке обретается Александр Иванович Мещерский, бывший аэронавт из интеллигентной, возможно, даже и княжеской семьи. И хотя алкоголь не поощряется, иногда он, навещая меня, извлекает из заднего кармана широких штанов плоскую фляжку барбадосского рома. Мы отхлебываем его из горлышка по очереди и жизнелюбиво смеемся, словно десятиклассники, сбежавшие с урока.

Местный житель, потомок британцев, всем напиткам предпочитает ром и портвейн, не считая, конечно, пива. В винно-водочном магазине не меньше сортов рома, сколько на материке – сухого вина. А еще изготавливают собственное пойло, которое еще десять лет назад тоже называли портвейном, а теперь «крепленным». Видимо, португальцы возмутились злым

употреблением копирайта.

А когда мы длительно обитали, болея душой и телом, за железной занавеской, никаких копирайтов не уважалось. Липучий водный раствор сахара, красителя и спирта прозывался беззастенчивым портвейном. Пересоленный сыр, пронизанный синеватой плесенью, – рокфором, шипучее – советским шампанским. И бурый крепкий, выдержанный в дубовых бочках, наименовывался коньком – армянским, грузинским, дагестанским. В смысле, коньяком. Коньки назывались норвежками и гагами, если на них бегать, а если они сами бегали на соревнованиях, то вперед, семена совершенными жилистыми ногами, выходил Душегуб, сын Лорелеи и Курбана, или же его обгонял холеный с белой звездой во лбу – Мизантроп, сын Диаспоры и Медикамента.

Лошади безропотно впрягались в легкую тележку, на которой восседал мелкий жокей, а зрители толпились у вокзальных окошек тотализатора, стыдливо называвшегося «кассой взаимных пари». А буржуазные «бега» официально именовались советскими «рысистыми испытаниями».

Руки у Василия Львовича в крови, рыльце в пушку, зубы на полке – он десять лет тому назад боцмана на своем дирижабле зарезал железным ножом.

Железный занавес – особое выражение из пожарного дела – использовали в театрах, если на сцене начинался пожар. Кажется, его Черчилль, благороднейший из бульдогов, впервые употребил в переносном смысле. И попал в самую точку, хотя вряд ли слышал популярную песенку «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем».

Думаешь, я не понимаю, что мы – искалеченный народ? Впрочем, к этому несчастью равнодушны даже мы сами.

4

Треска. Благословение и проклятие здешних мест. Двести лет местные жители кормились этой мускулистой серой рыбкой, разевающей перед смертью бессловесный рот. Другие ремесла позабыли. В четыре часа утра выходили на лов. Возвращались к вечеру, апостолы, с нейлоновыми сетями, полными то судорожных, то задыхающихся, то обреченных. Продавали мироеду-посреднику, уж не знаю, почему, должно быть, доллар за килограмм или около того. Кормились сами, меняли треску у земледельцев-соседей на овощи и зайчатину, экономя порядочную копейку. По закону, разумеется, любой обмен, который по-нынешнему прозывается бартером, облагается налогом. Но законопослушность западного человека, ты уж не расстраивайся, сынок, сильно преувеличена. Там, где закон нарушить безопасно, он почти не колеблется, исподволь превращаясь в русского человека с его прославленной поговоркой «Закон что дышло – куда повернешь, туда и вышло».

Рыба, в некотором роде, есть символ жизни, но не в христианском смысле. Рыба-ибо. Будь я поэтом, написал бы на эту тему философский стих. Или два. Рифма-то кайфовая, улетная, с выходом на высокий стиль и сопряжение смыслов, как выразился бы в юности мой друг Сципион. И еще: могли бы. Спасибо. Либо. Кандыба (украинский философ XIX века, существование которого представляется довольно сомнительным).

Грибы.

Нет, я пошутил. Ударение не позволяет считать данное созвучие рифмой.

Тут иное: если бы да кабы, да во рту росли грузди и лисички, по Смоленской дороге столбы, столбы, столбы, дороги Смоленщины, усталые женщины, прижимающие к увядшей (если не ошибаюсь) груди кринки с антифашистской сметаной. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Ошибся:

Как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их к груди.

Автор – патриот Константин Симонов. Адресат – патриот Алексей Сурков.

Он тоже писал про войну и ее проказы:

мне в холодной землянке тепло от твоей независимой любви. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага.

Когда патриот Константин Симонов услышал, находясь в сильнодействующей армии, что Военная коллегия Верховного суда СССР объективно приговорила патриота Алексея Суркова к высшей мере пролетарского наказания за шпионаж в пользу одной иностранной державы, он исхлопотал себе краткосрочный отпуск с Большого театра военных действий, добился приема у Троцкого, пал на колени, не страшась испачкать новые шевиотовые галифе, и, по неподтвержденным сведениям, упрашивал позволить ему лично расстрелять осужденного.

Между жарким и бланманже цимлянского несут. Уже – вскричал Евгений грозно и, обнажаясь, как булат, взглянул печально и серьезно на свой остывший шоколад.

Это Плюшкин, сынок, великий и несравненный российский поэт. Наше всё.

Подростки за партами, выключив сотовые телефоны, задумчиво слушают небольшие трагедии Плюшкина в исполнении хора и оркестра.

Проплывают океанские ледоколы – привет Плюшкину.

Пролетают космические вездеходы – слава Плюшкину.

Проползают ядерные сноповязалки – вечный покой Плюшкину.

Его застрелил из отравленного пистолета сенатор Дантес на дуэли, организованной царским правительством и лично Николаем Вторым – Кровавым.

Так нас учили. А на самом деле его самостоятельно замучили большевики в пересыльном лагере близ Владивостока.

Поэтов, художников и философов, содержащихся в лагере, погрузили на заржавленную, но самоходную баржу «Вячеслав Молотов», отвезли километра на два от берега, связали руки за спиной колючей проволокой, привязали к ногам по куску рельса и побросали в Тихий океан. Будь океан помельче, случайный ныряльщик еще года два рисковал бы оказаться среди мертвецов, объединенных гигантскими крабами.

Рыба в некотором роде представляет собой символ бескорыстия, поскольку лишена рук, ног, коры головного мозга, честолюбия, путевок в пожизненный санаторий,

секусаляного драйва (оставь это написание, оно нравится мне), чтения, письма и прочих прилагательных нашей заблудшей цивилизации. Она – жизнь в чистом виде, я даже написал бы

жызьнь, как принято сегодня среди продвинутых пользователей.

О, будь я продвинутый пользователь!

Будь я.

Се треска, воспетая художником Бродским, подрагивая упитанным мелкочешуйчатым телом, плывет в океане, озираясь круглыми глазами, лишенными век. Она держится стаей вместе с себе подобными: так ей кажется безопасней. Задачи, поставленные небесным командованием: выглядывать вокруг стаю мойвы (главной пищи трески), жрать мойву, вгрызаясь в длинную вялую плоть змеиными зубками, потом подплывать к треске противоположного пола и метать Ирку. В смысле, Киру. В смысле, икру. Или обрызгивать ее молокой.

Злые люди, оставьте меня в покое.

5

Каждое утро ко мне в спальню (почему-то без стука) входит молодая служительница Лаура или пожилая служительница Сандра. Та или иная, улыбаясь жемчужным зубом, приносит стакан сока из китайских яблок и полдюжины витаминов в цветной желатиновой оболочке на пластмассовом подносике. Витамины следует глотать целиком – они отличаются довольно противным вкусом.

А затем следуют завтрак, обед, ужин. Мойву сервируют редко. Треску – еще реже. Хотя вообще питание высококачественное, и витамины представляются избыточной роскошью.

Мне было лет восемнадцать, когда я отправился с молодым сочинителем Сципионом на могилу великого Пастернака (это псевдоним Плюшкина), автора прославленного романа Doctor Zhivago с Омаром Шарифом и Одри Хепбёрн в главной роли.

Прибыли на метро на темно-серый Киевский вокзал, увенчанный медленными вокзальными часами, и приобрели проездные документы в Переделкино, подмосковный городок живых и мертвых писателей.

Билетов хрупкие дощечки.

Липы желтые в рядок.

Тогда билеты еще печатались на кусочках желто-серого картона с дырочками от компостера. До кладбища от станции всего минут двадцать ходьбы. Берцовую кость Пастернака в 1960 году выловили из Тихого океана особой драгой, идентифицировали с помощью анализа ДНК и увезли в цинковом ящике в Москву, где по христианскому обычаю закопали в песчаную землю под тремя заблудившимися соснами. Впрочем, ошибаюсь опять, моя память хромает на обе ноги (шутка). Анализа ДНК еще не существовало при тогдашнем развитии научного силлогизма. Личность великого поэта установили по фанерной бирке, привязанной к ноге. Кстати, до сих пор неизвестно, живыми или мертвыми (название романа Константина Симонова, настоящее имя Кирилл, настоящая фамилия – Алексей Сурков; а также знаменитого экшен-вестерна The Quick and the Dead, где большегрудая Шэрон Стоун перестреляла несчетное множество комиссаров, мстя за погубленного отца, так называемого кулака) сталкивали плачущих поэтов и философов с самоходной, но заржавленной баржи «Вячеслав Молотов» в Тихий океан. С одной стороны, пулевые отверстия в черепах (не путай с черепаками), как входные, так и выходные, убедительно отсутствуют. С другой стороны, следов от оглушения прикладом или кирпичом на костях, особенно после длительного пребывания в океанской воде, не сохраняется. А все исполнители уже скончались в своих постелях, в предсмертном отчаянии вгрызаясь деснами в перьевую подушку и не оставив

воспоминаний. Так их и похоронили, с гусиным пухом на ввалившихся старческих губах.

Входные бывают также билеты. А выходные – дни. Употребляя это слово при обсуждении активного отдыха от трудовой деятельности, не забывай, что оно давно стало существительным прилагательным множественного числа. Не надо говорить: на выходные дни. Надо: на выходные. Которые в сегодняшней России все чаще называют уик-эндом. А

длинный уик-энд должен называться

праздники. Это сообразила когда-то твоя мать Летиция.

И еще один остроумный и приснополезный пример. По-русски не говорят: фабричные люди в союзе с крестьянскими людьми сражались с полицейскими людьми. Можно сказать изящнее и грамматически правильной: фабричные в союзе с крестьянскими сражались с полицейскими.

Москва даже тогда, насупленная и пасмурная, была тем, что сегодня называют метрополисом, то есть крупным поселением, под которым усилиями политзаключенных прорыто разветвленное подземное метро. О нет, уже перестала являться салатом из дерева, стекла и молока, как подчеркивал другой пассажир баржи «Вячеслав Молотов» в 1933 году. К 1968 году, когда советские танки подмяли под себя свободолюбивый чешский, а заодно и словацко-хорватский народы, дерева в Москве почти не осталось. Вру, впрочем. В Староконюшенном переулке, рядом с домом, где до 1938 года проживал твой дед, а с 1961 года жил и я, сохранилась натуральная деревянная изба какого-то славянофила. И стекла было много, правда, оно облицовывало веселую голубенькую гостиницу «Юность» и слоноподобный Дворец Съездов; и молока в треугольных бело-красных пакетах – тоже, если проснуться по механическому будильнику и прийти в магазин к открытию. Пакеты протекали, молоко быстро скисало. Впрочем, мало оно волновало меня в те годы. Детей (тебя) не было, а зачем молоко взрослому? Кстати. Известно ли тебе, что китайцы молока не пьют? В их биологических организмах отсутствует наследственный ген, отвечающий за усвоение лактозы путем обмена питательных веществ. Сегодня, когда Китай худо-бедно, но движется к зажиточности, молоко появилось в тамошних магазинах. Его употребляет молодежь, мучаясь впоследствии от несварения желудка. Это status symbol, знак расставания с прошлым, сжигания учебных плакатов по арифметике.

Московское старое дерево, источенное жучками, скрытое желтой и белой штукатуркой, заменилось железным бетоном

хрущоб, каламбуром, основанным на словах

Хрущев и

трущоба. Так неблагодарное население окрестило на скорую руку соорудившиеся пятиэтажки. Особое возмущение вызывали совмещенные санузелы. Не ведая, что в той же Америке это, в общем, норма, мы подозревали, что совмещенный санузел придуман большевиком по врожденной жадности и вредности.

У нас был фотоаппарат ФЭД-2, названный в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского. (Хорошее название: как если бы в Испании продавался аппарат «Торквемада».) ФЭД любил утверждать на производственных совещаниях, что у палача должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Мы уже жили в новой квартире в Тушино. Возвратившись с паломничества на могилу берцовой кости Пастернака, я отпечатал несколько фотографий и показал их отцу, твоему деду.

Он был презируемым мной человеком, твой дед. Раболепным, насмерть перепуганным человеком являлся он. Черно-белый вид могилы Пастернака, на которой лежало несколько спелых яблок, принесенных поклонниками таланта, а также изображения некоторых

писательских дач привели его в необъяснимый ужас. Он перебрал все фотографии, театрально зашептал «нет, нет!» и выбросил их в мусорное ведро, так и не объяснив, в чем дело.

6

Вместо коврика для мышки я использую том монтеневских «Опытов» из серии «Литературные памятники». Есть соблазны несостоявшейся жизни, есть занятия, к которым всегда тянуло. Будь я буддист, надеялся бы на следующую жизнь. В одной из них я выучился бы на сапожника. В другой – на переплетчика.

Не таким бы стал я сапожником, как ремонтирующие обувь для небогатых людей, но мастером, который, насвистывая, изготавливает новую обувь, сажая ее на ладные отшлифованные колодки из букового дерева.

Не таким бы я стал переплетчиком, как тоскуют у грохочущей машины, железным усилием пришивающей цветной глянцевый картон к стопкам бумаги, на которой напечатана литература для бедных.

Я бы без помощников работал. В мою мастерскую (скажем, в старом Вильнюсе: вход через подворотню, дворик, засаженный сиренью и дикой розой) приносили бы на лечение любимые книги с разрушившимися переплетами и выпадающими страницами. У товарища-кожевенника я покупал бы, весело торгуясь, поблескивающую плотную кожу: черную и вишневую. Переплеты мои украшались бы флорентийским тиснением, изображающим луговые цветы благословенной Тосканы. Буквы на них сияли бы – матово-золотые. А приходил бы кто попроще – пожалуйста, мог бы я изготовить для него и переплет из простодушного ледерина любого из цветов радуги.

Это советская власть, верно, воспитала во мне особую тоску по ремеслам.

Ты возразишь: а разве в цивилизованном мире не вымирают ремесла? Разве обувь и переплеты не изготавливают на конвейерах? Разве не потеряло смысл ремонтировать любую вещь, стоящую дешевле сотни долларов?

Справедливо, как и то, что в России при коммунистической скудости укрепилось племя мастеров, способных из ничего изготовить почти новую вещь взамен старой.

Но: только отремонтировать, не создавая ничего нового.

Твоя мать, назовем ее Летицией, любила говорить об онтологическом сходстве большевика с князем тьмы. Тот, согласно классической теологии, не умея создать ничего нового, способен лишь, словно шимпанзе человеку, подражать Творцу.

Ты спросишь: а почему я, не самый ограниченный человек в мире, по поводу и без повода сбиваюсь на обличения режима, интересного только историкам?

Хочешь ответ?

Я дам его тебе, только подумаю немного. И помогу себе из фляжки ямайского рома. Лучший ром в мире – кубинский, но я не покупаю его никогда, чтобы не поддерживать кастровский режим.

В обширном дворе моего факультета располагалась переплетная мастерская для курсовых и

дипломных работ. Но переплеты являлись простейшими, как инфузории, без тиснения. К тому же мастера неизменно знакомились с содержимым приносимого в переплет. Донесли бы в тайную полицию в случае крамолы. Правда, два-три лишних рубля (долларов десять по-нашему) купили бы их гробовое молчание.

Ты спрашиваешь, и я отвечу, но все же пока не готов.

Впрочем, одна мысль появилась: а почему нет? Если мир уже две тысячи лет очарован идеей Евангелия? Чем мы хуже? Может быть, мой народ и есть новый Христос, погибший на пыточной виселице ради процветания человечества?

В санатории сервируют на гарнир брокколи, спаржевую капусту, и цукини, недозрелый кабачок. Я, право, предпочел бы капусту обычную и кабачок обыкновенный, к сентябрю золотистому и прозрачному вызревавший на даче у моих друзей. Мы, предположим, размышляем о Монтене, а в пожухшей траве за кустами малины (одна-две ягодки обязательно оставались до самых холодов) дремлет гладкий растительный поросенок. Резали на ломтики толщиной в палец и обжаривали на чугунной сковороде в сливочном масле, не смущаясь повышенным содержанием холестерина.

И был праздник: дачная веранда с пыльными стеклами, благоухающая сухим смолистым деревом, бутылка крымского, тишайшие сумерки за окном. В сумерках бытия под оранжевым абажуром мы праздновали условное воскресение, и наши души, как мотыльки, бились о стекло, отделяющее нас от невидимого Господа. Большая смерть маячила рядом, но маленькую мы отгоняли, ласково глядя друг на друга. И это прошло.

7

Сок сегодня разбавлен, витамины особенно горьки. Я их, признаться, чаще складываю в тайную коробочку, чем принимаю перорально. Накопилось уже граммов сорок, должно быть.

Аэронавт Мещерский употреблял внутрь организма питьевой спирт с аэронавтом Ростопченко, соседом по каюте. Пить спирт – не самое простое занятие. Осушив стопку, следует задержать дыхание и постараться отключить вкус и обоняние – ненадолго, на те полторы-две секунды, которые необходимы для того, чтобы запить поглощенное стаканом холодной воды. Теплая не годится – вырвет. Спирт опьяняет быстрее и ярче, чем водка или, если уж на то пошло, другие крепкие напитки. Многим аэронавтам удается перед рейсом пронести два-три литра на борт дирижабля, а другие приобретают его у товарищей. Аэронавт Ростопченко горько жаловался на боцмана Перфильева. Тот, невзлюбив аэронавта бог знает за что, может быть, даже и за то, что он был рыж и любил посмеяться, придирался к Ростопченко, грубил ему на своем боцманском языке, грозил списать с корабля, обзывал хитрым хохлом. Не имея опыта службы на воздушном флоте, не берусь описать тесноты и духоты алюминиевой каюты на двух человек, габаритами и расположением, впрочем, сходной с купе международного вагона.

На дирижабле «Гинденбург» каждому богатому пассажиру отводилось отдельное помещение с кроватью и отдельной душевой кабиной. В корпусе дирижабля имелся ресторан с кухней и салон с карликовым роялем. В куполе цеппелина были оборудованы прогулочные балконы с панорамными окнами, а в нижней части корабля – смотровая комната. Ограничений было несколько. Первое из них – вес, поэтому вместо ванн предлагался душ и все, что можно, было сделано из алюминия. Второе и самое важное ограничение – запрет на курение, которое на «Гинденбурге», как, впрочем, и любом другом дирижабле, в буквальном смысле было угрозой для жизни. Все, кто находился на борту, включая пассажиров, перед посадкой

были обязаны сдавать спички, зажигалки и прочие устройства, способные вызвать искру. Курить разрешалось только в специальной закрытой комнате. Все члены команды были обязаны носить антистатическую верхнюю одежду и обувь на изолирующей подошве. Подлетели к Нью-Йорку – ветер, приземлиться трудно. Следует развлечь притомившихся с дороги господ в котелках и дам в поблескивающих шелковых чулочках. Капитан подплывает по воздуху к смотровой площадке Empire State Building. Пипл в отпаде – и на борту, и на смотровой площадке. Отплывают, не страшась иссиня-черных царственных облаков, в Джерси-сити, подходят к посадочной мачте. Взрыв, огонь, пламя. Шестьдесят два человека выжили, остальные, прости, погибли. Говорят, диверсия.

Понимаешь ли, у немцев гелия не имелось в достаточном количестве, и купить было негде – стратегический матерьял, к продаже гитлеровскому режиму воспрещенный. А корабль «Анастас Микоян», где служили аэронавты Мещерский и Ростопченко, напротив, был гелием наполнен, взорваться никак не мог и возил запасные элементы к автомобилям «лада» в Канаду, снисходительно извини незамысловатую рифму. Швартовка в Сент-Джонсе предусматривалась. Спуск по витой алюминиевой лесенке внутри причальной мачты, упоминавшийся выход в город группами по трое, непременно визит в лавочку «У Яши», закупка джинсов, видеоманитофонов и переносных магнитол.

Выгода предприятия заключалась в следующем: джинсы Wrangler обходились в сколько-то долларов. Продавались в Москве за большое количество рублей, на которые приобретался ящик электродрелей. Полет в Царство Польское с запчастями для тракторов «Беларусь», продажа электродрелей за злотые, покупка на вырученные деньги болгарских овчинных тулупов. Доставка тулупов в Москву, скромная взятка таможеннику. Чистая выручка – минус расходы на покупку первоначально истраченных долларов на черном рынке – захватывала воображение. Сорок тысяч поездок в московском метро, двадцать тонн картофеля или десять тонн печеного хлеба из муки грубого помола с примесью ржи – ты будешь смеяться, сынок, но он стоил дешевле в тогдашней Москве, чем хлеб из чистой белой муки.

Кто спорит, не худо служить аэронавтом на дирижабле Аэрофлота, летающем в заграничные рейсы. Что не мешало аэронавтам Мещерскому и Ростопченко на все лады поносить боцмана Перфильева, как известно, беспричинно притеснявшего аэронавта Ростопченко и угрожавшего закрыть ему выездную визу.

Это я, как ты догадываешься, пытаюсь пересказать его историю. Аэронавт Мещерский неважно владеет словом: сбивается, путается, краснеет.

Незаметно наступил промокший и неосвещенный вечер. Пахнет черемухой, заведомо не произрастающей здесь. Я пойду спать. Ром виноват. Виновата капель. Ты бы иногда звонил мне по скайпу? Кажется, это гениальное изобретение. А? Или хотя бы писал?

8

Тебя, должно быть, интересуют мои бытовые условия, сынок. Охотно удовлетворю твое здоровое юношеское любопытство. Комната у меня собственная, прямоугольная, небольшая, но чистенькая, с одним окном; стены выкрашены белой клеевой краской. В России мне виделось бы в этом нечто госпитальное, из жизни больных или медицинских врачей, но за множество лет и зим за океаном я свыкся с этим местным обычаем. Ведь даже гулкые стены из сухой штукатурки в нашей монреальской квартире, ты помнишь, так и остались снеговыми, матовыми, стерильными: намерение наклеить тисненные обои так и не воплотилось в брентную жизнь. Не беда – русский человек широк и благородно осознает, что всякое суверенное государство имеет право на свои дела давно минувших дней и преданья старины глубокой.

При комнатке, как на дирижабле «Гинденбург», предусмотрен совмещенный душ и туалет. Заботливая администрация обеспечивает незамысловатым, но приятно пахнущим мылом, шампунем, раз в месяц – новой зубной щеткой. Односпальной кроватью с чуть поцарапанными деревянными спинками и доброкачественным пружинным матрасом.

(Было у злополучного моего отца – твоего деда – занятие: каждые два-три года матрас супружеской постели перетягивать. Он во двор выносился, под липы, вспарывалась обивка, разрезались все веревочки, которыми пружины связывались в единое целое. Затем вся система восстанавливалась. А как еще? За два-три года одна из пружин, освободившись от бечевки, обязательно начинала выпирать, вонзаясь в бока мятущегося мужа и дремлющей жены его. Работа была веселая, и полезный исход ее – очевиден.)

На стене у изголовья укреплено бесхитрое бра, лампочка, забранная матовым стеклом. У письменного стола – торшер, мечта шестидесятника. Верхнего света не предусмотрено; тебя, канадца, это не удивит, а я слегка жалею, ибо привычка – вторая натура, и в комнате без верхнего света мне недостает уюта. Понимаешь ли ты, как я горжусь своей неприхотливостью? Причина ясна: я сравниваю все физические вещи жизни и повороты судьбы с их подобиями в покойном Советском Союзе. И, как и следовало ожидать, оказываюсь в гарантированном выигрыше!

Сегодня в известных кругах модно исходить тоской по советскому прошедшему.

Рассмотрим, например, вопрос гигиены и санитарии. Белье в моем санатории меняют каждые три дня, а в советских гостиницах – раз в неделю. Есть и другие особенности, выгодно отличающие. И прежде всего, конечно, одиночество в смысле privacy. Крайне бы не хотелось делить комнатку с другим отдыхающим.

Погоди. Меня опять клонит в сон. Сейчас приготовлю кофе: это не воспрещается правилами санатория. Пенсию по инвалидности мне продолжают переводить на банковский счет, а расходы более или менее нулевые, если не считать запрещенных в санатории рома и сигарет. Табачок свой смолить выхожу на крыльцо, перемещаюсь мелкими кругами, виновато глядя в сторону. Курильщиков так мало, что у входа даже не установлено стационарной пепельницы. Приходится прятать окурки (в просторечии – бычки) в карман санаторной холщовой куртки, предварительно затушив и подпрессовав пальцем, дабы убедиться в окончательном исчезновении огня, тлевшего в сухих табачных листьях, как человеческая надежда. (Неправильный эп

ик тет. Разве собаки не испытывают надежды?) Столь же воровато затем спускаю их в унитаз, что непорядочно с точки зрения охраны окружающей природной среды, но представляется неотвратимым в силу ряда объективных факторов.

Да, денежные средства у меня имеются, не беспокойся. Из развлечений в санатории имеется кабельное телевидение в холле, преогромное жидкокристаллическое устройство, экран которого, несмотря на игривое название, представляется вполне твердым. У него всегда сидит двое-трое отдыхающих, в гробовом молчании наблюдающих бейсбол или американскую борьбу. Списываю их сдержанность на счет национального характера ньюфаундлендцев. Я как-то осведомился у одного из зрителей на предмет возможности установить в моей обители свой собственный телевизор. Это допускается (за свой счет), кабеля нет, но можно поставить антенну, которая по-русски называется «усы», а по-английски – «кроличьи уши». Аппарат доставили быстро. Но не лежит душа. Поскольку основная прелесть моего отдыха состоит в наличии вычислителя, подключенного к Интернету за номинальную плату, уж не помню какую, на которую я выписываю ежемесячный чек. Про скайп я тебе глупость написал, конечно, так как связь допотопная, через телефонный модем, и слишком медленная для этих современных штук.

Возвращаюсь к описанию мебели. Итак, письменный стол, он же и обеденный. ДСП (не для служебного пользования, а

древесностружечная плита), покрытая эпоксидным лаком. Трапезы происходят в трапезной, куда сбредаются почти все сотрапезники. Опять же, друг с другом мы почти не общаемся, и мало кого из моих товарищей (кроме, разумеется, пожилого аэронавта Мещерского) волнуют судьбы нашего многократно поруганного и оболганного отечества. Вначале корыстные и недалекие царские чиновники, затем – богопротивные большевики, затем – шайка бессовестных казнокрадов. Поэтому я нередко уношу обед в свои, так сказать, покои, где и употребляю его в пищу неторопливо, или, как выражался великий Грибоедов, с чувством, с толком, с расстановкой.

Да! Я сам противоречу себе, сынок. Только что говорил о выгодах сравнения между продвинутым государством и страной, почти до смерти загубленной советской властью. Ныне отпускаешь. Кофий в санатории жидок и лишен аромата, как и на всем Североамериканском материке. Данный вопрос решаю творчески, с огоньком, свойственным русскому человеку. А именно, на дальнем краю письменного стола поблескивает титановыми поверхностями италийская кофеварка. Не нужен мне берег турецкий, и к Африке я равнодушен. В крошечном холодильнике достаточно места для кофейных зерен в бобах. Кофеварка действует самостоятельно. Я насыпаю в нее бобы кофейных зерен, которые она измельчает, рыча, а затем обрабатывает перегретым паром кипящей воды с целью извлечения вкусовых и бодрящих начал. Боюсь, как бы другие отдыхающие, привлеченные благоуханием, не похитили мою любимицу, которую я обожаю, как некогда – свою жену, снова назовем ее Летицией, произведшую тебя на свет.

Это шутка (не о жене, произведшей тебя на свет, а о возможности похищения кофеварки моими безобидными соседями).

9

Фонарь в листве. Свежо. Листья – уже чуть пожухшие от первых заморозков. Уже три дня принимаю все положенные витамины, и голова становится яснее, а душа – печальней.

Осень чувствуется, потому что бездымный воздух вокруг фонаря не только прохладен, но и необычайно пуст, не оживляемый вечерней мошкаррой и чешуекрылыми.

Примерно как мое сердце.

В дачную комнату влетел крупный мохнатый мотылек. Теплилась обыкновенная русская беседа о Набокове. По-английски слова «мотылек» и «моль» совпадают, заметил один из гостей. Вот душа его и наведальась к нам, добавил кто-то другой. Мотылек кружился вокруг потолочной лампы, пока не наткнулся на нержавеющей сетку, добела раскаленную подземным электричеством. Запахло жженым хитином, опустилось, шепелявя, облачко пыльцы. Дом, впрочем, на самом деле был вовсе не дачей, а обыкновенным жилым домом, стоящим среди чиста поля, и принадлежал американскому писателю, уехавшему в творческий отпуск. В беззаконном подвале, куда следовало спускаться по сосновой, поблескивающей лаком лестнице, располагался кабинет писателя. На покрытых тем же лаком сосновых полках красовались издания книг писателя в разномастных твердых и бумажных обложках. Он был ветеран войны во Вьетнаме и делился своим жизненным опытом с американским и международным читателем, а сейчас творчески отдыхал на Мартинике, кажется, а ключи из жалости отдал русскому литератору, знаменитому среди

пары сотен эмигрантов. Гости приехали на своих подержанных «фордах» и «крайслерах» – кто из Канады, кто из Нью-Йорка, кто из Коннектикута. На невысоком столе в гостиной покрывалась испариной вместительная бутылка смирновской водки из тех, что называют «ручками», на тарелке неестественно зеленели несколько малосольных огурцов, окруженные, впрочем, и иной, более изысканной снедью, правда та не зеленела, нет, багровела, наверное, и желтела, и белела, и чернела пятнами благородной плесени на белом и желтом.

Временный хозяин дома, мой старый товарищ по Москве, высокий атлет с самоуверенными цепкими глазами, подходил к окну и заглядывал в ночь, как в деревенский колодец, не произнося ни звука. Назовем его Сципион. В маловероятной дали переливались несчитанные светила, на холмах сияли то ли потухающие костры туристов, то ли свет в окнах одиноких коттеджей. Второе звездное небо играло зеленоватыми огоньками прямо над землей и состояло из несметных светлячков. Лето клонилось к закату. Стареющие женщины молчаливо носили застиранные легкие футболки с забавными надписями. Мужчины тихо переговаривались, придавая лицам значительное выражение. Кое-кто листал раскиданные по дому гляцевые журналы с яхтами и интерьерами, украшенными, как я люблю, гардинами из материала, который – скорее всего, ошибочно, – хочется назвать миткалем. Я говорю о той плотной хлопчатобумажной ткани, обыкновенно светло-коричневой, с мелким рисунком из огурцеобразных вишневых загогулин, в которой любой признает чехол от ватного одеяла, оставшегося в детстве.

В этом доме гардины висели в спальне как раз такие, его нищий временный хозяин, лицом и статью уже в Москве напоминавший удельного князя в изгнании, проявлял сдержанное радушие, а его временная жена-канадка работала подавальщицей в греческом ресторане и приехала только за полночь с тем очумелым выражением лица, которое только и бывает у приезжающей за полночь официантки в греческом ресторане в вермонтской долине, когда курортный сезон и выходные. Впрочем, она приехала не сама – хозяин дома, извинившись, отправился забирать ее, а я напросился с ним, чтобы оторваться от остальных гостей (мы не виделись больше года), и по дороге пытался продолжать разговор о Набокове, а может быть, и о чешуекрылых, или, скорее, о беззаботных и опасных днях в поработанной большевиками Москве, однако загордившийся писатель Сципион, кивая, так пристально смотрел на белое пятно фар перед автомобилем и так малоприветливо сжимал узкие губы, что и я замолчал и тоже уставился на петляющую дорогу. Лучи фар попеременно высвечивали посеревшую дощатую стену амбара, ошалевшую козу на привязи, панорамное окно, за которым бледные всполохи телеэкрана высвечивали силуэты мирных жителей. Я не обижался: сама неожиданность этих обыкновенных вещей представлялась праздником, особенно если добавить сводившие меня в ту пору с ума обильные звезды над этой дорогой, которую преодолевала престарелая машина, погромыживая проржавевшей дверью.

Господь в книге Бытия прибывает звезды гвоздями к небесной тверди. Космогония скотоводов и рыболовов, ежедневно готовых погибнуть под зазубренными мечами пришельцев.

И золото той земли хорошо; там бдолах и камень оникс.

Дичась, мы вступили в стеклянный павильон ресторана. Последние посетители беспокойно разглядывали разводы кофейной гущи на внутренних стенках крошечных чашек. Временная жена сочинителя Сципиона улыбнулась нам и, покачивая худыми бедрами, отправилась к метрдотелю. Тот отпустил ее, она переделалась в джинсы и футболку, вынесла полдюжины пластиковых контейнеров с едой, приобретенной по себестоимости. Звали ее Летиция.

И это прошло.

Утро опаловое и, как бывает в этих краях, беспокойное. Однако ветер – их называют здесь восточниками, западниками, южниками – не разгоняет тумана, но лишь раскачивает ветки деревьев под окном, срывая не успевшие пожелтеть листья. Жаль. Разглядывая древесные кроны сквозь запыленные квадраты оконного стекла месяц назад, я предвкушал золотую осень, ту самую, с шуршанием невесомых листьев по мостовым. Как медленно сметал их тогдашний ветер вниз по переулку, и никогда – вверх.

И этого переулочка больше нет.

При встрече с подобной фразой в книгах меня охватывает веселый ужас, словно при известии о тяжелой болезни отдаленного знакомого. Ужас и облегчение от того, что это случилось не со мной.

Преувеличиваю, вероятно. Переулок существует и даже сохранил свое название. Теперь он населен осанистыми личностями с нелегким взглядом, которые садятся в свои автомобили с загодя заведенными двигателями в подземном гараже, чтобы машину не расстреляли из гранатомета.

Алюминиевые, порядком поцарапанные судки, доставшиеся от бабушки, один на другом, с алюминиевой ручкой. Мать болела, приготовить пищу некому, пересечь переулок без всяких следов автомобильного или пешеходного движения, войти в гулкую подворотню, за которой следовал мощный двор, окруженный скрипучими, перенаселенными двухэтажными домиками и еще одним гигантским серым, времен «Мира искусства» и керосинок, и платяных щеток, и цветных олеографий, а в подвале источала запахи общепита диетическая столовая, и десятипроцентная скидка полагалась при отпуске обедов на дом. Борщ украинский со сметаной, биточки с картофельным пюре, кисель клюквенный. Мои недруги из дворовых реготали и надо мной, и над судками, я убыстрял шаг, спускался в подвал, проходил по тусклому коридору мимо прикрепленного к стене черного телефона. Он не вполне в коридоре находился, собственно, а у самого дверного проема на кухню с шестью или семью кухонными столами с разными, но одинаково потертыми клеенками, а номер телефона был Г5-2987. Сюжет, кажется, упущенный современным живописцем: участок стены возле коммунального телефонного аппарата, покрытый торопливо записанными номерами, непременно двумя десятками почерков, простыми карандашами и фиолетовыми чернилами из протекающих школьных авторучек (эти надписи – пониже других). Отразить ощупь поверхности: салатная либо песочная масляная краска, покрытая сероватым налетом времени, с немногочисленными, однако запоминающимися трещинами. В том числе вымерший химический карандаш, который полагалось облизывать, чтобы он оставлял не осыпающиеся чешуйки графита, но нечто сравнительно долгоживущее. Попадись мне подобная картина сегодня, заснял бы на фотоаппарат, благо – цифра, сберегать дорогостоящую пленку не приходится.

Но не попадется.

Давно выключенный по случаю светлого времени суток фонарь скрыт волнующейся, как умирающая рыба, листвой. По крутому спуску проезжают осторожные машины, и лиц водителей либо пассажиров также не видно. Вероятно, через несколько дней листья облетят, и сквозь паутину голых веток можно будет различить и фонарь, и уличное движение, и гранитный фасад мятежного англиканского собора, обросший строительными лесами. Во время прогулок я вижу четырех человеческих муравьев на самой высокой точке лесов. Оранжевые жилеты и алые стеклопластиковые каски. На нижней площадке лесов – увесистые банки свинцового сурика, которые одну за другой доставляют на крышу собора с помощью лебедки. В перемещениях муравьев – особая грация, то отсутствие лишних движений, которым отличаются грамотные строители. Дерево лесов, над которым когда-то

сияла звезда полей, шероховато, занозисто и местами запачкано белой краской. А ветки облетающего вяза, укоренившегося перед собором, схожи с вывернутыми руками еретика на инквизиционной дыбе.

Я в принципе понимаю, что довольно скоро пора будет помирать, но как-то не слишком отчетливо.

11

В четыре часа утра выплывали на лов трески многочисленные поколения ньюфаундлендцев.

Треска поедала мойву, человек поедал треску (впрочем, и мойву тоже).

Вот я о чем поведаю тебе, сынок.

Стояла густая, непроглядная советская власть. Мы жили, кое-как приноровившись к неисправимому. Наиболее передовые и отважные из нас, так называемые несогласные, протестовали, но население не поддерживало кипения их возмущенного разума. Во-первых, опасались подавления своего прекрасного порыва. Во-вторых, не усматривали необходимости. Ко всему-то подлец-человек привыкает, как сообщил великий Плюшкин в романе Doctor Zhivago.

В любой тюрьме найдутся непоседы, подстрекающие к бунту. И кому от этого хорошо?

Бороздили океанские просторы советские рыболовные суда.

Канадские тоже.

Потом треска исчезла. Говорят, благодаря загрязнению окружающей природной среды и истощению озонового слоя жизни.

Бывало, мы с друзьями-студентами собирались у костра и пели заветное:

Ты меня, судьба, не обманывай, не опасен мне горизонта вой, я когда-то был пармезановый, стал брезентовый и озоновый.

Правительство запретило лов трески, определив всякому ньюфаундлендскому рыбаку общественное пособие. На улицах в рабочее время немало празднующихся, с беспризорным голубым огнем отчаяния в ирландских или шотландских глазах.

Мойва считается в Ньюфаундленде лакомством. Некоторые количества в вяленом виде поступают в русские лавочки Торонто и Нью-Йорка.

Она не продавалась в России, так как считалась рыбой сорной. Малоценной, вроде кильки. И вдруг появилась, по-прежнему считаясь малоценной, вроде кильки. Сорок копеек килограмм. Отец пересыпал ее солью и перцем-горошком, помещал в эмалированный судок, оставлял на ночь в холодильнике. Получался деликатес.

Вот перлюстрация того, как мудрый Человек способен преодолевать житейские обстоятельства существования под монголо-татарским игмом Коммунистов.

Здесь так: мороженая треска продается в универсаме (кажется, теперь говорят «супермаркет») в виде филе. Откуда берется, понятия не имею, должно быть, из Китая.

Хрррр.

Лучше о чудесах изобретательства, и тут, сынок, ты удивишься. Я человек либеральный и считаю, что из книг и от преподавателей ты можешь получить больше, чем от отца. Но есть исключение. Тебе повезло. Твой отец владеет одной Тайной.

Слушай, невзирая на треску и мойву. И даже на Советскую власть.

Господь сотворил нас.

Мы сотворили паровоз, дирижабль и гильотину и увидели, что это хорошо.

Хорошо: первые, пусть частично ошибочные, шаги к совершенству бытия.

Впрочем, почему ошибочные?

Паровоз вёз. По полям, по долам, где бродили шуба и кафтан, бляя.

Дирижабль летал. Среди неодушевленных облаков и легких соколов, кричащих при падении, словно низвергаемые в геенну ангелы.

Гильотина гуманно лишала. Впрочем, не люблю слов «гуманно», «гуманитарно» и проч. Скажем так: по-человечески лишала, конкретно. Путем. Без базара. Одну минуточку, господин Дзержинский.

В четыре часа утра, когда едва светает, можно добрести до пристани, откуда с легким стуком мотора уносятся в море оставшиеся рыбацкие катера. Все, кроме трески, им ловить разрешено, но в промысловых количествах тут больше ничего не водится. С рыбаками можно договориться и к полудню снова подойти к причалу. За небольшие деньги тебе навсегда отдадут животрепещущую браконьерскую треску в полиэтиленовом пакете, оглядываясь по сторонам на предмет полицейских.

Аэронавт Мещерский, пока еще не получил свою бессрочную путевку, гнал из сахара спирт, менял его на рыбу, которую из-под полы продавал другим русским морякам и аэронавтам, ждавшим политического убежища. Было довольно выгодно, повествует он.

Тяжелое и неживое тело боцмана Перфильева нашли у причальной мачты (из экономии советские дирижабли в эллинги не загоняли, да они и стояли-то максимум двое-трое суток). Сначала подумали, что упал с дирижабля с помощью несчастного случая, потом обнаружили прижизненную ножевую рану в горле. Всех задержанных членов команды отпустили, только аэронавта Мещерского оставили под стражей: кто-то слышал, как он ссорился с боцманом в узком коридоре гондолы, заступаясь за товарища, и грозился убить его, да и нож, перепачканный запекшейся большевистской кровью, отыскался у него под подушкой. Хороший был нож, с пластмассовой наборной рукояткой, выкованный сормовскими умельцами из вагонной рессоры. Я такие видел на московских рынках.

Герметический детектив: двенадцать человек, из которых один неизбежно убивец. Решить его было нетрудно.

Дирижабль, нагруженный зерном, улетел, оставив подозреваемого Мещерского в камере предварительного заключения ждать процесса с участием присяжных заседателей. То есть хотели увезти и его, разумеется, чтобы осудить беспощадным народным судом, но канадцы не отдали: это, говорят, наша юрисдикция, извините великодушно.

Выпив рому или местного крепленого, он всегда сбивается на эту историю, главное событие его незамысловатой жизни.

Плохо с памятью у меня, неважно. Что-то проскальзывает из давних времен и вдруг обрывается, словно лет десять назад я потерял сознание и очнулся уже тут, в санатории. Киевский вокзал путается со зданием губернского суда в Ньюфаундленде. И плечо болит – видимо, застудил вчера, когда ночевал на углу улиц А и Б, которые сидели на трубе отопления, а ведь запасся же одеялом производства компании Гудзонова залива – желтовато-белым, с пятью цветными полосами по краю, которое выменивалось когда-то у индейцев на бобровые шкурки. Сент-Джонс – не Нью-Йорк, немногочисленные бездомные поименно известны полиции и органам собеса. Надо было об этом подумать. Но мне вдруг стало мучительно стыдно за бесцельно прожитые, захотелось начать с чистого листа, обрести свободу. И я, крадучись, подобно старому распутнику Льву Толстому, покинул санаторий, пожертвовав и мягкой постелью, и вычислителем, и трехразовым горячим питанием. Унес только вышеописанное казенное одеяло и полотенце, два китайских яблока, стакан, фляжку с ромом. Одедся тепло, предусмотрительно.

Довольно уродливое животное – бобер, и вредное, вроде человека. Мало ему, бобру, построить плотину для своего биологического пропитания: он начинает обгрызать лесные осины и березы, не умеющие защитить свое растительное благополучие. Сводит ствол зубами на конус так, что обгрызенный участок напоминает песочные часы, дерево рухнет от малейшего ветра, а поскольку плотина уже сооружена, начинает предаваться бесцельному гниению. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер. Семья бобров за несколько лет может уничтожить всю рощу, которая окружает их запруду. И переселиться на новое место, не страдая отсутствующей по причине животного происхождения совестью. А вы мне говорите – подсечно-огневое земледелие! А вы мне твердите – природа, дескать, не слепок, не бездушный лик!

У твоей матери, ты помнишь, существовала подержанная бобровая шубка для согревания тела в условиях суровой зимы. Мех был щипаный, похожий на цигейку.

В затянувшиеся январские вечера она порою набрасывала ее на плечи, сидя в нашем единственном кресле, от сквозняка. Древние оконные рамы весь зимний сезон оставались незаклеенными по моему головотяпству. Приходили по почте бессмысленно жестокие счета за отопление.

Когда аэронавт Мещерский предстал перед царским судом по обвинению в оскорблении величия Божьего, он поднялся со скамьи подсудимых и гордо произнес: «А все-таки она вертится!» И был, в сущности, прав. Вертится, путем центробежной силы выбрасывая в космос заржавевшие ножи, мертвые тела и рассохшиеся гитары с отломанным грифом. Рухнувшие от старости секвойи, искусственные спутники, помпейские фрески.

Зеленые инопланетяне, которые в скольких-то световых годах от нас наблюдают за происходящим на Земле, могли бы прислать свои видеозаписи, чтобы глухие по губам озвучили бы эту хронику и человечество получило бы нелицеприятное представление о своей истории.

(Не столь уж сложен мой русский язык, чтобы ты его не понимал. Но я получаю от тебя только редкие записки, имеющие мало отношения к содержанию моих депеш – читаешь ли ты эти последние? Начинаю сомневаться.)

Допустим, в четырех световых годах. Значит, года через четыре у них на дисплеях появится угол улиц А и Б, и я, закутанный в одеяло, подобно индейскому щеголю, буду пристраиваться

на холодном асфальте у входа в здание Royal Bank, подкладывать под голову рюкзак со сменой белья, озираться. Ночами в Сент-Джонсе пусто, море в бухте всегда спокойно, спи не хочу. Но я буду ворочаться, пытаюсь согреться, сворачиваться в клубок, как человеческое дитя в утробе матери, уже третий раз отхлебывать из своей фляжки, впрочем, довольно объемистой. Спать на воздухе мне не впервой, слава богу, прожита юность с частыми походами на природу, и в полудреме мне будет мерещиться костер, отсветы его пламени на мордашках однокурсниц, запах вареной лапши с тушенкой, нестройный хор, распеваящий студенческие песни. Правда, тогда мы спали в палатках: вбивали в землю алюминиевые колышки, натягивали веревки, расправляли защитный брезент, целомудренно распределялись по парам, засыпали в обнимку с подругами, но все же в отдельных спальнях мешках. Нравы тогда были другие, сынок, не чета нынешним. Фляжка славная – нержавеющая сталь обтянута хорошо выделанной кожей зарезанной коровы, украшена тиснением с эмблемой виски Cutty Sark – легким, так сказать, парусником, несущимся вдаль по водам Карибского, должно быть, моря. А у костра замерла гитара, молодежь разливает по эмалированным кружкам водку «Московскую» – для храбрых юношей, и портвейн «Три семерки» – для жеманящихся девушек. Капитан, обветренный, как скалы, выйдет в море, не дождав нас. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина-с. Многие из них, должно быть, уже умерли, а остальные состарились, подобно мне, и с трудом засыпают на ледяной мостовой, и на их оплывших лицах играет синий и белый свет, струящийся от вывески банка, а также желтоватый – от уличного фонаря. И они прячут лица в морщинистые ладони, прикрывают лица одеялами и отворачиваются от света, а бессонница не отступает. Потом их трогает за плечо полицейский и без лишней грубости отводит обратно в санаторий, где можно заснуть уже навсегда.

13

Эти зеленые, которые на Проксима Центавра жируют, они любопытно устроены, сынок, с точки зрения естественных наук. Я с детства поражаюсь нашей жалкой и смешной физиологии. С какой стати царь природы должен через ротовое отверстие вводить в организм куски растений и животных, получать из них энергию, а отбросы выводить в виде сам знаешь чего? Почему его дурно пахнущие органы выделения расположены там же, где и органы совокупления? По большому счету – кошмар! (Чтобы не возгордился, смеялась твоя мать Летиция.)

Утром, когда проксимцев начинает клонить в сон, они распускают широкую зеленую крону. За время сна поглощается достаточно солнечного света, чтобы провести деятельную ночь. Помню, как хохотало все население планеты, когда по телевидению показали способ размножения, принятый у людей. Ибо органы выделения у проксимцев отсутствуют за ненадобностью, а размножаются они, опыляя друг друга, как треска в океане. Сообщаются, шелестя узкими разговорными листьями. Уговаривают проксимку на опыление, лаская ее зелеными присосками. Потомство зреет на проксимских самках, подобно кокосовому ореху на пальме, потом созревает два года в земле. Всякий третий-четвертый год взрослые пускают извилистые корешки, чтобы набрать в организм минеральных веществ из почвы. Заметь, что резать друг друга им даже не приходится в зеленые головы. Картины человеческих войн сопровождаются всеобщим озадаченным шелестом разговорных листьев. Проксима Центавра – довольно тусклая звезда, красный карлик, вроде наркома Ежова. Однако жители планеты с незапамятных времен умеют разводиться костры, а в последние века – пользоваться искусственным освещением. Дополнительный свет насыщает растительных человечков, а в зависимости от длины волны может и опьянять, как ямайский ром – аэронавта Мещерского. (Крепко выпив, он всегда именуется «коллегой». С какой стати! На дирижаблях я сроду не летал, никого, слава богу, не убивал, под судом присяжных не находился.) Любо-дорого

наблюдать, как два молодых проксимца в ресторане заказывают фиолетовое излучение – на закуску, розовое – на второе, бело-синее, как с вывески Royal Bank (синий – от фона, белый – от геральдического льва), – на сладкое. Опьяняющий ультрафиолет порождается машинками, которые ставят на стол за дополнительную плату, а уж наши влюбленные голубки в зависимости от настроения выбирают его интенсивность и частоту в пределах, установленных законом. Словом: звезда Маир, земля Ойле. Туда стремился уехать после большевистского переворота мрачный символист Федор Сологуб. Но выданную выездную визу аннулировали, любимая жена его с горя бросилась в весеннюю Неву и утонула. Он после этого еще двенадцать лет прожил, сочиняя романы о проксимцах.

Славно проводят они свою растительную жизнь, сынок. Только местные бобры им осложняют. Подкрадываются днем, обгрызают недвижимые стволы на конус, и милые проксимцы, просыпаясь, ломаются пополам – сразу же или от первого дуновения ветра. Моря и горы он обшарил все на свете, и все на свете песенки слышал.

Когда временный обитатель писательского дома впервые появился у нас в Монреале, оставив новую временную жену в Вермонте, тебе было года два.

Золотые глаза Сципиона, казалось, излучали странный свет той длины волны, которая заставляет юных проксимцев задуматься о неизбежности увядания и высыхания. Вел себя с необычной для старого друга сдержанностью. «Не нужна ли помощь?» – без восторга спросил он, когда я начал заполнять железную полусферу, стоявшую во дворе, кусками искусственного угля. «Могу посодействовать в раздувании огня, – добавил он, – у меня прекрасные легкие». Не требовалось: я располагал флаконом какой-то горючей гадости, керосина, должно быть, а может быть, он именовался и вовсе лигроином. «Взвейтесь кострами, синие ночи, – замурлыкал Сципион, – мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионера – всегда будь готов!» Керосин-лигроин выгорел почти мгновенно, присмиривший огонь ушел вглубь прессованных брикетов. Сочинитель Сципион глухо и глупо расхохотался. «Всегда бей котов, бей котов, – так распевали девушки, мои одноклассницы, в церковном хоре по моему наущению, а дураки-учителя так ничего и не поняли!» «Отчего же вы сейчас поете правильно?» – вежливо спросила твоя мать. (Они так и остались на вы.) Сципион задумался. Брызги и волны на экране были совсем как в жизни. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домом. Остановить машины жидкого воздуха – значило взорвать шахту, быть может, вызвать извержение расплавленной магмы. «Я приехал полюбоваться знаменитыми монреальскими фейерверками, – сказал он, наконец, – отменно ли они видны с вашего двора?»

Признаюсь, сынок, что ответ Сципиона показался мне лишеным смысла. Я разгадал этого человека: он не заслуживал доверия, хотя и стоял высоко, владея искусством письма. «Ши Шань, – сказал отсутствующий незримо, – ты должен взять новое обязательство перед партией и заучивать теперь в день пятнадцать иероглифов».

Летиция осторожно улыбнулась своими бледными губами. «Добро пожаловать, – подтвердила она, – мы испросим у дворника ключи от плоской крыши здания, увлекательное зрелище будет вам обеспечено без всякой толчеи, которая случается в старом городе на берегу реки Святого Лаврентия во время представления, а может быть, дверь даже открыта». «Сочту за честь», – сочинитель Сципион отвесил легкий поклон своей бывшей временной жене (твоей матери). Беседа за столом не ладилась:

хозяева смущались, да и гость почти не шелестел разговорными листьями. Фейерверк, впрочем, оказался великолепен. Мы захватили на крышу переносной радиоприемник, настроенный на особую волну. Всякий взрыв разноцветных шутих в черном небе сопровождался особой музыкой, всякий огненный шар разворачивался и рассыпался, словно совершая балетные па, всякая тварь, видимая и невидимая, славилась Господа и его недобрый, но любопытный жизненный опыт.

«Вероятно, врачи спецбольницы уже рассказывали вам, что речь идет о защитной реакции нервной системы на пережитый шок. Сомневаюсь, что внезапное обретение памяти пошло бы вашему отцу на пользу; возможен даже суицидальный эффект. Поэтому следует действовать медленно и осторожно. Не мне вам рассказывать, что пациент поступил к нам в практически неменяемом состоянии. Я предполагаю, что потрясение, связанное с трагедией, только усугубилось, когда он попал в больницу закрытого типа с ее дисциплиной и не слишком гостеприимной обстановкой. Да и компания там, прямо скажем, не самая приятная. Лечение в этом заведении оказалось почти безуспешным. Еще полгода тому назад больной мог круглые сутки пролежать, уткнувшись заросшим лицом в стену, отвлекаясь только на прием пищи (к которой почти равнодушен и сейчас) и отправление естественных надобностей. Даже умыть его приходилось почти насильно. Всякий душ был испытанием для наших медбратьев, а выдавший виды больничный парикмахер (мы приглашаем его раз в полтора месяца) вдруг отказался его стричь, пришлось позвать другого. После нескольких месяцев лечения с применением современных лекарственных средств нам удалось пробудить у пациента некий интерес к жизни. Он прогуливается возле больницы, а недавно был переведен на полусвободный режим (с использованием радиобраслета, позволяющего в любой момент установить его местонахождение). Освоил Интернет (мы поставили блокировку на определенные имена, чтобы он случайно не разыскал информацию об известных вам событиях), самостоятельно русифицировал свой компьютер (не без гордости показав мне, как выглядят его письма, написанные кириллицей), увлекается компьютерными играми – правда, самыми примитивными, рассчитанными на десятилетних детей – и новостями из России, пишет вам письма, удивляется техническому прогрессу, спрашивает, не в летаргическом ли сне он провел последние десять лет. В некотором смысле, кстати, так оно и было.

Медикаменты, конечно, вещь мощная, однако и вы можете оказать лечению серьезное содействие. Говорю как врач, хотя и понимаю, что задача, учитывая ваши собственные переживания, не из легких. Вы последовали моему совету и начали писать отцу; отлично! Да, преступник нуждается в прощении, но к душевнобольному, особенно если речь идет о родном для вас человеке, грешно испытывать что бы то ни было, кроме жалости и сострадания. Еще раз подчеркну, что вам следует ограничиваться самой общей информацией о вашем нынешнем житье-бытье, желательно позитивного свойства. Что до прошлого, то и его полезно свести к семейным воспоминаниям о благополучных совместных годах. Попробуйте разбудить его память о вашем детстве, с которой у него связаны, не сомневаюсь, самые положительные эмоции. Не выходите за границы периода, на котором его память обрывается, то есть не пишите ему о времени, непосредственно предшествовавшем известной трагедии, не говоря уж о ней самой. Если он не будет реагировать – не огорчайтесь. Мозг больного живет по своим законам.

Больница пошла на незапланированные расходы, наняв переводчика, с помощью которого я знакомлюсь с письмами вашего отца. Что можно сказать? Не буду употреблять профессиональной терминологии, но случай остается тяжелым. Основную часть памяти больного занимают события двадцатилетней давности и ранее, иногда чуть более поздние. Впрочем, он сохраняет и воспоминания о своей нынешней жизни. Все остальное – провал, черная дыра. Лишь изредка из подсознания – отдельными фразами – прорываются неясные намеки на забытое. Язык больного (даже в переводе) странен, логика мышления нарушена, порою он одержим бессмысленными фантазиями. Его интерес к положению на родине вполне понятен и даже отраден, однако огорчительно, что он так зациклен на советском режиме, который, как вы сами понимаете, уже мало кого волнует, кроме профессиональных

историков.

В принципе, администрация могла бы выписать его уже в ближайшем будущем, благо и больничных коек у нас не так много, а в них нуждаются другие. Он получает пенсию по инвалидности, имеет право на социальное жилье. Опасности для общества ваш отец уже, пожалуй, не представляет, тут я согласен с врачами спецбольницы. В то же время его перспективы интеграции в социум остаются, увы, сомнительными. Не дай бог, после выписки снова соберет вещи и отправится ночевать на улицу. Моя мечта в отношении данного больного состоит в том, чтобы довести его хотя бы до минимально социального состояния; в настоящее время он живет в искусственном мире. Помимо перечисленных мною выше занятий, его мало что интересует; время он проводит один, иногда часами беседуя со своим воображаемым другом с непроизносимой фамилией, кажется, Месшчерский. Выпивает. Алкоголь, разумеется, запрещен в больнице, но в данном уникальном случае мы предпочитаем не замечать этого мелкого нарушения режима».

15

В санатории, оказывается, предусмотрена система наград за образцовое поведение и высокий умственный уровень развития интеллекта. Сегодня главный врач вручил мне после завтрака привлекательный браслет из серого пластика, украшенный электронным приборчиком размером с часы. (Таким же хвастался мне аэронавт Мещерский.) Спросил, на руке ли хочу я носить украшение или на лодыжке. Решение далось с трудом. С одной стороны, браслет (я сразу понял) дает мне доступ к Высшему знанию. Стоит ли выставлять напоказ свою причастность к племени избранных? С другой стороны, приятно наблюдать, как на приборчике мигает зеленый огонек, напоминающий мне о ночных улицах старой Москвы с ее немногочисленными таксомоторами марки «Волга» и «Енисей». Судя по Интернету, сегодняшняя Москва страдает от автомобильных пробок; верится с трудом. Откуда им приобрести столько автотранспортных средств передвижения? Из-за границы? А где же необходимая для этого валюта? Выдумка, должно быть, министерства пропаганды. Валюты не хватает даже на закупку канадского зерна, ибо за полгода в санатории я не заметил в небе ни одного российского дирижабля, а в бухте – ни одного российского сухогруза.

По тщательном равномерном размышлении я, скромняга, отдал предпочтение своей располневшей лодыжке, покрытой грубыми седеющими волосами. Главный врач сообщил также, что в связи с окрепшим здоровьем мне не возбраняется гулять по осеннему городу в радиусе двух километров от санатория. Что ж! Их дело лечебное, благородное, а нам, старикам, приходится только радоваться этой почти отеческой заботе.

Обретенным правом воспользовался безотлагательно. Вместо казенной зеленой куртки надел собственную кожаную, замотал стареющее горло клетчатым шарфом во избежание острых респираторных заболеваний. Я и раньше, разумеется, выходил из санатория, однако не удалялся от здания более чем метров на сто пятьдесят (если не считать злополучной ночевки под вывеской Royal Bank). Асфальт в городе – среднего качества, наличествуют выбоины и трещины, признак нерадивости городской управы или финансовой недостаточности; скорее второе. Зеленые насаждения – которые правильнее было бы с учетом времени года наименовать

желтеющими насаждениями – присутствуют в достаточном количестве. Самый высокий небоскреб, отведенный под различные государственные учреждения, насчитывает около двенадцати этажей. Вообще же застройка имеет характер, более свойственный частному сектору, то есть состоит из домов малой этажности, частично сложенных из кирпича, но по

большей части, как обыкновенно в Канаде, наскоро воздвигнутых из гипсокартона на алюминиевом каркасе. Когда мы с твоей единокровной матерью Летицией обживали памятную тебе квартиру у парка Лафонтен, я намучился с этими стенами. Вбиваешь в нее, допустим, гвоздь, а он свободно шатается, не в силах выдержать даже портрета Троцкого, купленного для смеху в магазине коммунистической партии албанского толка. Добрые люди научили меня купить особые болты под названием «бабочка». Сверлишь в стене широкую дырку. (Ты внимательно следил за моей работой и выпрашивал болты-бабочки, чтобы поиграть. Не давал: опасно.) Просовываешь туда болт, снабженный двумя металлическими крылышками на пружинках. Во тьме за стеной, в безвоздушном, быть может, пространстве, не видимом человеческому глазу, крылышки раскрываются, издавая еле слышный щелчок. Ты крутишь болт, и они с той стороны накрепко прижимают его к гипсокартону. Полку для телевизора на такое крепление не повесишь, а черно-белую фотографию мамы с папой (деда с бабкой) – пожалуйста. Я, помню, не понимал, зачем отец с матерью ходили раз в два года фотографироваться в студию. Теперь осознаю: чтобы картинки остались после их смерти. Мы ставим памятники на могилы близких, хотя умом понимаем, что лет через двести их все равно снесут, чтобы закопать под тремя соснами кого-то следующего, еще не рожденного.

У меня была когда-то дюжина фотографических портретов различных дореволюционных людей обоего пола. По дороге к метро «Парк культуры» я увидел старый дом, подготовленный к сносу (выбитые стекла, снятые двери, вой ветра). Забрел во двор, увидел довольно высокую кучу мусора, главным образом бумажного и ветхого. Полюбопытствовал, томясь. Обнаружил означенные портреты, готовые к сожжению или к увозу в мусорохранилище. Подобрал. Пожелтели, как листья каменной березы на улицах Сент-Джонса. Мертвые герои фотографических портретов глядят сурово и торжественно, словно предчувствуя ночные дозоры, суп из селедки, расстрелы под грохот автомобильного мотора. Улыбки отсутствуют. Прически женщин строги и вычурны одновременно, сюртуки мужчин тщательно выглажены и вычищены платяной щеткой. Чудны дела твои, Господи. Однако оптика у дореволюционного фотографа лучше, чем у советского. Мертвые при царизме выпуклы и объемны, а твои дед с бабкой тоже торжественны, но лица их кажутся плоскими.

Дед признавался мне, что с Переделкино, городком живых и мертвых писателей, у него связаны самые страшные в жизни воспоминания. «Их убили всех, – пробормотал он однажды, не разъясняя, кого и за что, – всех убили, и где могила твоей бабушки, я до сих пор не знаю». Может быть, в Южном Бутово, на бывшем расстрельном полигоне возле станции так называемого легкого метро? Это некий гибрид метро и электрички, который ходит по поверхности и с основной системой метро не соединен. Обыватели жалуются, потому что плата за проезд в центр представляется им разорительной.

Каин, где брат твой Авель?

16

Ты, пожалуйста, не думай, что мы чужие друг другу. Я много помню хорошего и забавного про свое детство с вами. Все правда: когда вы уехали с мамой на север, где она получила работу, вы оставили меня у бабушки на два месяца, пока не обживетесь на новом месте. Два месяца обернулись вечностью. Я долго плакал, когда мне сказали, что переезд к родителям отменяется и что я вас больше никогда не увижу, но в конце концов привык.

Мамы давно нет. Она умерла через несколько дней после дяди Сципиона. Несчастный случай.

Ты тоже как бы умер тогда. Бабушка объяснила, что ты захворал душевной болезнью и надолго, быть может, навсегда, помещен в лечебницу[20].

Сейчас, конечно, наступили совсем другие времена. Русский язык я почти забыл, письма твои читаю с помощью электронного словаря. В подвале квартиры, где мы живем с Дженнифер, до сих пор хранятся картонные коробки из винного магазина, набитые предметами, которые ты привозил из командировок в Россию. В те смутные времена ты любил рассказывать, что доллар можно легко продать на черном рынке за множество рублей и, таким образом, скупить чуть не пол-страны. Мама смеялась над тобою, уверяя, что советские изделия ни на что не годятся даже бесплатно. Ты обижался; впрочем, по-настоящему вы ссорились редко.

Где-то, видимо, в разобранном виде отдыхает и мой детский велосипед с двумя дополнительными колесиками. Предполагалось, что я, освоив умение кататься, отвинчу колесики, и он прослужит мне еще пару лет, пока не вырасту. Ты привез его, когда мне было лет восемь, в полуразвалившейся картонной коробке, схваченной полосами тонкого железа. Если начать быстро сгибать и разгибать такую полоску, объяснял ты, в месте сгиба металл разогревается, быстро нарушается его структура, и происходит разлом.

Мы распаковали велосипед, густо смазанный машинным маслом, и ты с гордой улыбкой заботливого отца долго собирал его с помощью приложенного гаечного ключа и отвертки. «Сто долларов, – бормотал ты, – а пять не хотите? Ну, не такой красивый, как местные, но такие базовые, грубые вещи у нас все-таки изготавливать умеют». Велосипед показался мне (как и маме) довольно топорным, но зато, решил я, он доставлен из далекой страны, такого ни у кого нет.

– Ты забыл про тот конструктор вроде Lego, который привез в прошлый раз? – спросила мама не без ехидства.

Ну да, пластмассовые блоки с выступами и пупырышками, из которых можно строить дома, корабли, автомобили. «Цвета, конечно, не такие яркие, – сказал ты, вручая мне увесистую коробку, – но учтите, всего два доллара вместо сорока пяти! За пятьсот штук!» Положим, не только цвета были тусклыми – поверхность крошечных блоков тоже не блестела, да и не блистала. Я сдержанно обрадовался – такого несметного количества кирпичиков не имелось ни у кого из моих друзей. Часа через два все эти кусочки пластмассы пришлось выбросить: они просто не умели – или не хотели? – скрепляться друг с другом. Даже стена домика, самая простая конструкция, разваливалась от малейшего прикосновения.

Субботним утром мы пошли в парк Лафонтен учиться кататься. Вспомогательные колесики отвалились сразу, пришлось привинчивать их снова. Через полчаса отломалась педаль, но ее установить обратно не удалось: нестандартный винтик потерялся в густой траве парка. Ты нес велосипед в правой руке, сгорбившись, с оскорбленным видом. Отломавшаяся педаль оставила у меня на ладони черный след от машинного масла, смешанного с пылью.

– Говорила я тебе, скупой платит дважды, – сказала мама.

– Твой Сципион за всю жизнь и пяти долларов не заработал, – ответил ты неожиданным неприятным голосом.

– Он такой же мой, как и твой, – мама побледнела.

– Ладно, прости, – сказал ты. – Поедем в город, купим мальчику нормальную машину.

Чистенький велосипед, который не нуждался в сборке, я давно забыл, а неудачный, жабьего цвета, со стрекочущим металлическим звонком, так и стоит до сих пор перед глазами. Почему-то мы не стали его выкидывать, как Lego, а положили в подвал до лучших времен. Вместо игрушек ты стал привозить мне русские мультфильмы, которые, правда, приходилось

переписывать на североамериканский стандарт: не самое четкое изображение иной раз становилось почти неразличимым. Диснеевские ленты, которые мама брала для меня напрокат в ближайшем видеоклубе, нравились мне куда больше. К тому же никто не заставлял меня их смотреть. «Сорок минут в день как минимум, – настаивал ты, – считай это дополнительным уроком».

После переезда к бабушке принудительное развлечение кончилось, осталась только воскресная школа при соборе Петра и Павла, куда меня отводил дядя Хаим, служба на незнакомом языке, лишь отдаленно напоминавшем русский, и нечастые праздники с угощением для детей, приходившиеся на непривычные даты. Сейчас я вспоминаю все это словно сквозь пыльное стекло. Глупо верить в Бога, если он в одночасье превращает ребенка в сироту. И не меня одного – сотни тысяч детей по всему миру. Освенцим, Палестина, Руанда, Дарфур – о каком Боге может вообще идти речь?

17

Может быть, ты и прав. Может быть, Бог уже оставил нас, перестал существовать. Много веков подряд человечество строило храмы, с конца девятнадцатого века – железнодорожные вокзалы с церковными потолками. Коммунисты увлекались метро, что лишний раз доказывало их связь с дьяволом. Еще был период, когда строили банки, видимо, как символ новой свободы – с колоннами, лепниной, фресками. А сейчас воздвигают торговые центры. Самый большой в мире расположен среди продутых и голых степей Альберты. Включает плавательный бассейн и аквапарк. По воскресеньям туда приезжают с детьми на целый день – вместо церкви.

Пока я дремал летаргическим сном и видел сны, быть может, больничные инженеры вмонтировали мне в одну из мозговых извилин нанопроигрыватель mp3. Добрые люди. Операция дорогостоящая, к тому же уйма времени потребовалась им, вероятно, на подбор и скачивание из Интернета объемистой коллекции советских песен. Радостно мне. Я спокоен в жестоком бою. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Единственное неудобство состоит в том, что не предусмотрено системы выбора, то есть песни заводятся в случайном порядке. Качество отменное: стерео. Иногда – если старая пластинка поцарапана – звук поскрипывает. В песнях постарше, времен моего детства или раньше, слышится раздолье удалое и сердечная тоска. Нет, я не то хотел сказать. В них слышится, напротив, шуршание плотной черной бумаги, которая в шестидесятые годы служила мембраной в динамике нашего радиоприемника. На шероховатой поверхности серели обильные пылинки, привлеченные статическим электричеством.

Ты еще небольшой был, неразговорчивый. Трогательный, с пухлыми щеками. Помнишь фотографию, где ты сидишь на ступеньках нашей квартиры на первом этаже и улыбаешься бог весть чему? Оставив тебя на попечение Летиции, я отправился в Нью-Йорк (куда мне так или иначе давно хотелось) повидаться со Сципионом. После выхода своих двух романов в маленьком университетском издательстве он, не побоюсь этого слова, заважничал и не отвечал на наши приглашения приехать в Монреаль, которые, замечу, делались от чистого сердца. Впрочем, быть может, я и ошибаюсь. Впоследствии, как ты знаешь, он к нам зачастил. Слава тонкого писателя, к тому же потерпевшего за правду, не поддавалась денежному исчислению. Иными словами, Сципион был небогат. Дватри раза в год ему предлагали выступить кафедры славистики (оплачивали дорогу, гостиницу, предлагали гонорар – изредка тысячу долларов, чаще сто или двести). Он разделил со мной гостиничный номер, снятый на три ночи Колумбийским университетом, и я долго оглядывался, разинув рот, пораженный невиданной роскошью трехзвездочного отеля близ 42-й улицы. (Смеюсь.

Шучу.)

«А скажи, – спросил я вчера аэронавта Мещерского, – боязно летать на дирижабле в грозу, в ураганный ветер?»

«Совсем нет, – засмеялся мой верный товарищ, поглаживая набриолиненные казацкие усы. – Моторы у нас мощные, никакой ветер не страшен. Ты, Свиридов, по-моему, путаешь дирижабль с воздушным шаром, несущимся, как известно, по воле волн. Вот тут, не скрою, нужна отвага, потому что шар может унести черт знает куда».

«Когда мы дружили в Москве с сочинителем Сципионом, ненавидя советскую власть, – вдумчиво ответил я, – предметом наших застольных бесед нередко служили различные способы бегства за государственную границу. Обсуждался и воздушный шар. Мы быстро пришли к выводу, однако, что любой такой агрегат, даже если нам удастся его построить, тут же собьют пограничные солдаты, не мучаясь совестью за неимением таковой, как у бобров».

И мы приняли внутрь тела по глотку ямайского рома за наше героическое прошлое и гармоническое настоящее, запивая его теплой кока-колой и непроизвольно икая.

Из той поездки в Нью-Йорк я привез японский коротковолновый радиоприемник «Сони» размером в две сигаретные пачки. Вещица отличалась приятной увесистостью. Черного цвета. Сципион смеялся надо мной в момент покупки: «Что ты будешь ловить на нем? Передачу “Голос родины”?» «Я нуждаюсь в звуках родной речи», – набычился я. «Наша речь сохраняется внутри нас, как луковица тюльпана, просыпаясь в положенный срок», – отреагировал сочинитель. Продавец-хасид с тревогой потряхивал кудрявыми пейсами, опасаясь, что сделка не состоится и он лишится положенных комиссионных.

Странно и беспокойно чувствовать себя Рипом ван Винклем.

Мне кажется, если я снова сяду на ночной автобус (который, несомненно, по-прежнему ходит тем же маршрутом); выберу кресло в задней части машины, чтоб можно было вволю покурить; захвачу с собой «Архипелаг Гулаг», который, среди прочих книг, эмигранты могли получить бесплатно; задремлю, отхлебнув из плоской фляжки; в семь утра, оглушенный и сонный, но все-таки молодой, выйду из автовокзала – то возникнет возможность попасть в тот же мир, что двадцать пять лет назад. Все у меня впереди. В рассветных сумерках сияет назойливый неон (аргон, криптон), зазывающий в прокуренные кинозалы. Самые пожилые и неприглядные из доступных девушек, позевывая, извлекают из пачки предпоследнюю сигарету и созерцают меня с грустным интересом. Кожаные мини-юбочки, крикливые (алые, зеленые) лифчики в цвет неоновых вывесок. Лица осторожны и напряжены. Ночь прошла, заработано мало. В особой витрине круглосуточной электронной лавки сияет умопомрачительная новинка ценой в небольшой автомобиль: компьютер с жестким диском аж в двадцать мегабайт, с цветным экраном в пятнадцать полновесных дюймов.

А вот те зеленые растительные человечки, они ведь, как я уже сообщал тебе, хранят всю зрительную информацию с нашей бесталанной планеты. Только озабочен я: в силах ли они сделать картинку объемной? И напитать ее сиротливым утренним холодком великого города? Запахом гниющего мусора и тлеющей анаши?

Сципион представил меня в качестве своего друга детства, редактора и консультанта. Среднестатистический профессор (седая бородка, очки без оправы, вишневый замшевый пиджак) отвел нас, семеня, в кабинет с выставленным угощением: чипсы картофельные, мерло калифорнийское, арахис соленый. Мощное множество желтеющих русских книг на стеллажах. «Вот сборник Ходасевича с автографом!» – провозгласил профессор. «Вот сборник Набокова с автографом Веры Набоковой! Вот «Тихий Дон» с автографом! Вот сборник вашего великого соотечественника Иосифа Бродского с автографом! Вот сборник Николая Рубцова, зарезанного своей любовницей в ночь на Крещение!» Вино в

пенопластовом стаканчике отдавало уксусом и безнадежностью. «Иосиф Бродский – вообще не поэт, – проскрипел Сципион с обворожительной полуулыбкой. – Шолохов украл свои романы, забыл у кого. А уж про Набокова я и говорить не стану. Дутая величина, сударь. Кухаркин сын, как называл его Георгий Иванов».

18

Снова заголосил мой нанопроектор. Ты пришел! по таежной тропинке! на моем повстречался пути. Ты меня! называл бирюсинкой! все грозил на оленя пойти. Только вдруг завтра уедешь (шипение – слов не разобрать! Кажется, что-то вроде «станет сумрачно мне у костра»), ты грозил, что пойдешь на медведя, но боишься в тайге комара. Ложная романтика, которую впаривали угнетенному народу циничные московские литераторы, все как один бабники и пьяницы.

Майя Кристалинская. Девушка с аспартамовым голосом. Интересно, какая у нее настоящая фамилия. Справился в Интернете. Оказалось – не псевдоним. Сошла в могилу от рака крови, бедняжка. На сцене красовалась в косыночке, повязанной вокруг лебединой шеи, чтобы скрыть следы химиотерапии. Московские модницы следовали ее примеру, не зная прискорбного секрета.

Разобрал, наконец. Станет зябко тебе у костра. И все грозил не на оленя, а на медведя пойти.

Вот бреду я вдоль большой дороги, в смысле, главной улицы города Сент-Джонс в глухой провинции Ньюфаундленд, и наблюдаю нравы.

Жутковато и неуютно чувствовать себя Рипом ван Винклем.

И счастья нет. И счастье ждет у наших старых, наших маленьких ворот, распевает Майя Кристалинская.

Привет от венской делегации, как выразился бы В.В. Набоков.

Радостным шагом, с песней веселой мы выступаем за комсомолом. Мы выступаем дружно вместе с аэроавтом Мещерским, оправданным судом присяжных заседателей за недостатком улики. Мой браслет – на голени, его браслет – на крепком запястье, рядом с добротными часами «Ролекс» азиатского изготовления. Мы идем твердой походкой, потому что приняли никак не более ста семидесяти пяти граммов на человека. Как слону дробинка.

Я уже отмечал, что асфальт в Сент-Джонсе не самый американский. Напротив, потрескавшийся и неприглядный. Крупные дыры, впрочем, своевременно засыпаются песком и цементируются. Иначе амба муниципальному бюджету: засудят в случае аварии. Когда я еще ездил на родину, частные таксисты, объезжая глубокие выбоины на дорогах, жаловались на прискорбное состояние российских путей сообщения.

«Попадешь колесом в такую яму, и прощай, коленчатый вал», – грустно докладывал обобщенный шофер в синей нейлоновой курточке. Похожие жесткие куртки образца 1950 года до сих пор носят американские пограничники.

«А в суд подать на муниципалитет – слабо? – вскидывался я. – Новая машина плюс моральный ущерб?»

«Простите?» – озадачивался обобщенный водитель, не понимая самой идеи.

Усердно пытаюсь доказать тебе очевидное, сынок: десятилетия большевизма дорого обошлись моей возлюбленной родине.

Сент-Джонс, как я достоверно убедился в ходе пешей прогулки с моим оправданным товарищем, город трехмерный, подобно нашей вселенной. Он расположился на одном из берегов длинной узкой бухты, привольно раскинувшись на склоне умеренной крутизны. Театрал уподобил бы его амфитеатру. Дома и местное население в таком случае преобразились бы в зрителей. Роль гладиаторов (неуважаемая, опасная профессия) исполняли бы яхты и моторные лодки, бороздящие зеркальную поверхность бухты. Львы и тигры превратились бы в грузовые и пассажирские корабли. А я стал бы первым христианином, испуганно озирающимся на арене. Сочинитель Сципион, который в юности баловался стишками, признавался мне, что в одном из его первых сочинений описывалась подобная сцена. Еще не развалившийся Колизей, оголодавшие хищники, лохматый старичок – божий одуванчик, раб, должно быть, которого вот-вот примут в пищу, предварительно больно покусав. И аплодирующие граждане первого Рима, главным образом освобожденные секретари парткомов оборонных предприятий, получившие билеты по разнарядке. Он декламировал мне этот опус. Я не одобрил. Лучше бы он писал о страданиях нашего отечества, раскулаченного коммунистическими гиенами и большевистскими шакалами. Он куда-то пропал, Сципион. Я тревожусь. В Интернете, как ни странно, не выскакивает ни одного упоминания. Неужели о нем настолько забыли в сегодняшней России? Я красиво помню, что все три его повести разошлись гастрономическими тиражами. И не так давно, в сущности, недавно. Вот такая трава забвения, аналогичная полыни, произрастает теперь на обочинах моего обуржуазившегося отечества.

Завтра мы вступим с аэронавтом Мещерским в гранитное здание губернского суда, отстоим небольшую очередь в канцелярию, она же билетная касса, и снова отправимся в Переделкино. Дорога недалеко, на могиле закопанной берцовой кости Плюшкина всегда лежит два-три яблока, которыми возможно закусить кубинский ром из плоской фляжки, а если хватит денег – то и из полномасштабной бутылки в 0,75 литра. Подобная емкость стоила шесть рублей, не дороже приличной водки. Но мы брезговали напитком с Острова свободы, приобретая его лишь в случае отсутствия последней (не свободы, а водки). Куба, любовь моя. Остров зари багровой. Песня летит над планетой, звеня, Куба, любовь моя! Куба, отдай наш хлеб. Куба, возьми свой сахар. Куба, Хрущева давно уже нет. Куба, иди ты на хер!

Так угнетенный русский народ издевался над своими поработителями, сынок, путем невинной, однако свободолюбивой пародии.

«Дедушки у тебя никогда не было, – нехотя сообщил мне отец, твой дед, – а бабушка погибла в лагере».

«В пионерском лагере?» – попытался уточнить я.

«Нет, в лагере для заключенных, сынок. Долго объяснять. Вырастешь, расскажу».

Отец получил в детдоме среднее образование и путевку в жизнь: право поступить в техникум или даже в институт, несмотря что сын врага народа. Он работал, допустим, счетоводом. И что же дальше? Фамилия бухгалтера была Галтер, как фантазировал незабвенный Эдуард Лимонов, бывший друг моего бывшего друга Сципиона?

Нет, фамилия его была, как и твоя, Свиридов. Он обладал двумя парами черных сатиновых нарукавников, натягивавшихся на руки с целью экономии дорогостоящей и дефицитной мануфактуры пиджаков. Еще он носил рубашки из тонкого и несерьезного материала типа бязи. Смущаясь, как всякий беспомощный и стареющий человек, стоял перед полнеющей женой, твоей бабушкой, а она завязывала ему на шее убогий галстук – узкий, черный, в бездарных крапинках. Однако любил птиц и держал в клетке одинокого мандельштамовского

щегла.

Так вот и мы все, кроме какого-нибудь Плюшкина, которого памятник Гоголю справедливо называл прорехой на человечестве, вымираем, оставляя разрозненные и мало кому необходимые воспоминания родных.

19

В какую-то бесплацкартную зиму в клетке появился второй жилец: воробей со сломанной лапой. Отец (твой дед) принес его с улицы, смущаясь. Невзрачная птица подверглась связыванию бечевкой испуская истошный писк. Уложена на мелкую тарелку под кудахтание мамы (твоей бабушки). Изготовив из двух спичек и кусочка той же бечевки медицинскую шину, отец прикрепил лечебное средство к сломанной лапе. Забинтовал туго. Мать придерживала. Выпустили притихшее животное в клетку, обнимая теплыми ладонями, улыбаясь детской улыбкой. Жердочка занята щеглом. Больная птица пристроилась на фанерном днище, посыпанном соломой, и постепенно глаза ее подернула матовая пленка дремоты.

Потом как-то сразу московский март, месяц прохладный и неверный, обещающий многое, дающий сушие крохи, как и любой иной месяц (год, квартал, пятилетка знаков качества и всенародного коммунистического бдения). Мы дышали медленно и незаметно. А птицы, невольные соседи по клетке? Те жили, ни о чем не печалась. Сухого корма хватало на обеих. Воды также. Ограниченное пространство, возможно, и огорчало пленниц, но откуда нам было знать?

Пятого марта незапамятного года стояла суббота. Вру, воскресенье, возможно даже и Иисуса Христа, распятого на кедровой виселице при Понтии Пилате, царе иудейском. А год наблюдался 1961-й, и через месяц с небольшим простой сербский парнишка Юрий Г

о гарин должен был полететь в тесном алюминиевом шаре в распахнутый, как книга Бытия, космос.

Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о московском марте 1961 года? Изволь.

Еще неизвестна городу и миру волнительная полуоткрытая улыбка Юлия Г

у г

о рина. Мы устали после долгой зимы, проведенной в единственной подвальной комнате. Отцу наконец дали жилье в той же квартире, откуда мать его увезли на Лубянку, а его самого – в детприемник. Ценой потери скольких-то квадратных подвальных метров твоей бабушке удалось обменять свою комнату и въехать в ту же квартиру. Имелись тихие и немногочисленные соседи, о которых сообщать тебе излишне: я не этнограф. Общая площадь двух совместных комнат с изношенным паркетом (трещины заполнены высохшей мастикой, сгущенной до состояния ладана или смирны) составляла двадцать шесть совершенно квадратных метров. Староконюшенный переулочек. Арбат под окнами. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое безумие, никогда до конца не пройди тебя. Откуда ей знать, что когда-то в порядке предписанных мер в глухом переулочке Арбата был схвачен седой инженер.

Там теперь хрен знает что! Сынок! Ты не представляешь! Я отыскал видео в сети. Где мой Арбат? Где мое отчаяние? Там ныне лишь корыстолюбивый лотошник реализует матрешки и игривые футболки для jovиального француза и новообретенного латыша. Его, героя онегдодов про одалисок и удовов. Раша, гордость наша. Напрасно я приехал в Таллин, где

климат, блин, континентален. Что неправда ради рифмы. Климат в Прибалтике, как в Ньюфаундленде: морской, чуть теплый и унылый, как брюквенная каша. Отварить брюкву в воде, сделать из нее пюре, добавить в него обжаренный в масле лук, посолить, залить молоком и подогреть, помешивая, в течение 5–7 минут.

Март, Москва, давно-давным. Вот отец мой, навеки остолбеневший приютский выкормыш, нашаривает на березовой тумбочке загодя припасенный стакан с водопроводной водой. Пьет, издавая домашние успокаивающие звуки. Кряхтит, укладываясь обратно, чтобы обнять живую и теплую жену. Да! И ладонь, берущая больную птицу, и жена, отдаленно пахнущая духами «Красная Москва», одинаково теплы. Вот-вот, и те упоминавшиеся выше огурцеподобные загогулины на хлопчатобумажном чехле ватного одеяла, которым укрываются супруги, чтобы не замерзнуть в условиях ночного падения температуры.

А я, бывает, среди ночи переползаю в комнату к родителям и, не спрашиваясь, укладываюсь между ними. Или сбоку, ближе к стенке, как в ту ночь, чтобы не мешать им обниматься во сне.

Неужели и это пройдет, думал я с ужасом.

Мать приносит с кухни рисовую кашу с изюмом: другой я не ем. «Каша с тараканами!» – восклицает она, и я с готовностью смеюсь, вспоминая известную историю (таракан в булочке; разгневанный великий князь вызывает булочника Филиппова; тот съедает таракана с криком – это изюм! новый рецепт!; отсюда и пошли булочки с изюмом). Завтракает и отец, употребляя столовую ложку в отличие от моей чайной. Чай крепок; для меня его разбавляют кипятком. Кофеин вреден ребенку. Тающий снежок за окном, слякоть, сырость, но сквозь форточку с бульвара доносится обнадеживающий и направленный в будущее запах весны.

Клетку берет отец за железное кольцо, прикрепленное сверху, и пленницы ее начинают биться от страха в ограниченном пространстве, ударяясь о прутья и роняя мелкие перья. Им тепло дома, а на улице мокрый снег, грязца на мостовых, небосвод графитовый и невысокий, хотя добраться до него даже и с птичьими крылами невозможно.

Перед памятником великому космонавту Гоголю (который писал о прорехе на человечестве) мы присаживаемся на промерзшую и ребристую бульварную скамейку. Птицы волнуются, предчувствуя. «Мама, – говорит отец, – открывай!» Она поворачивает проволочную задвижку и тянет дверцу на себя. Капитан-щегол подскакивает к выходу, высовывает головку, оглядывается, нерешительно возвращается на жердочку. Рядовой-воробей, напротив, сразу же рвется на свободу и исчезает, не оглянувшись. Щегол провожает его взглядом, вновь подлетает к выходу – и также уносится от нас, витая.

«Вот и все», – произносит человек.

«Да», – подтверждает его женщина.

И они покидают прозрачный бульвар, оставив утратившую смысл клетку на скамье. А я семеню между ними, норовя подскокить, как освобождаемый щегол, подпрыгнуть, держась за родительские руки.

И это прошло.

ниве, высокий старт и жалкий финиш. А мне-то что, спросишь ты?

И глупо спросишь. Даже аэронавт Мещерский, личность, честно говоря, неразвитая, слышал о сочинителе Сципионе. Обруганный им (Сципионом) автор «Бледного огня» называл его надеждой отечественной литературы. Свою первую прозаическую вещь он писал, можно сказать, в моем присутствии. Он промолвил, сутулясь: вот грохочущая железная дорога, шлагбаумы, тепловозы, фирменный скорый поезд Москва Киев под названием «Мазепа». Белые занавесочки на окнах, сосредоточенные морщинистые курильщики в тамбурах, вагон-ресторан: солянка (а положили ли положенную по рецепту маслину? Или продали ее беспризорникам, осаждающим столичный поезд на станции Житомир?) и неприменный ромштекс с безмолвным картофельным пюре и сиротливой веточкой петрушки. Вот и станция Переделкино, справа от которой хором смеются и радуются мертвые писатели. Слева от железных дорожных путей расположена деревня Чертополох. Там обитают лица титульной национальности с подмосковной пропиской и невысоким уровнем жизни. За тридцать рублей в месяц мы сможем получить на всю зиму комнату с заледеневшим алюминиевым рукомошкой в прихожей и электрическим освещением. Я буду писать роман и водить девушек. Ты будешь размышлять о смысле жизни и, если захочешь, водить девушек. Пойдет?

Мы сняли продолговатую комнату с продавленным диваном и комплектом журнала «Знание – сила» за 1958 год. Сервант с бедной посудой: тринадцатигранные стаканы мутного стекла, поцарапанные тарелки мелкие и тарелки глубокие с беспомощными синими ободками, шероховатый алюминий вилок и ложек. Неслыханное студенческое блаженство тех лет: жить отдельно от родителей. Разминать в пальцах сигареты «Ява», подсушенные на батарее отопления. Путешествовать по хрусткому снежку в пристанционный магазин за картошкой и мороженой треской, крепленным вином и консервами «Завтрак туриста» (перловая каша, томатный соус, измельченная рыба частиковых пород). Задышаться, повторю, от счастья под морозными небесными кострами, из-за огромного расстояния представляющимися лишь светящимися точками. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая дефицитные пыжиковые ушанки, среди канав гуляли с барышнями ответственные работники. И каждый вечер в определенный час (или это мне только снилось?) женская фигура, укутанная в вискозную ткань, мельтешила в оконном проеме. И присылала мне сушеный – хрупкий и шуршащий – цветок бессмертника в стакане голубого, как небо, ай.

Всякое случалось в моей обильной событиями жизни многоборца с кровавым коммунистическим режимом, сынок.

Водить девушек. Несомненно, преувеличение, подростковая мечта. Чем мы могли их привлечь, прости Господи? Я еще был студентом, но заурядным, даже не отличником, а Сципион, уже изгнанный с физического факультета за неуспешность и освободившийся от призыва в армию по причине не то плоскостопия, не то скрытой эпилепсии, не забудь представлял собой сочинителя начинающего, подпольного, к тому же по некоторой хмурости характера не особо общительного. А девушки в те годы, повторюсь, были куда целомудреннее, чем впоследствии. Однако мы не огорчались. Селедка, посыпанная луком, отваренная на керосинке картошка, водка, загодя помещенная в сугроб, составляли наш обычный ужин. Днем, когда я посещал занятия, Сципион писал в общей тетрадке автоматической перьевой ручкой или перепечатывал сочиненное на пишущей машинке «Колибри», изготовленной в Германской Демократической Республике. Горжусь, что был его первым читателем. Впрочем, он и без читателей был уверен в своих силах. «Как ты думаешь, – спрашивал я, – велики ли твои шансы переселиться на ту сторону железной дороги, где настоящие писатели пьют от простуды чай с малиновым вареньем, заполняют анкеты на выезд в братскую Болгарию за овчинным тулупом, а их вдовы с ужасом ждут выселения с нажитого места, поскольку имеют право занимать государственную дачу лишь в течение полугода после смерти супруга?» «Думаю, что мои шансы невелики, – шурил Сципион, – полагаю, что мне скорее следует ориентироваться на институт имени Сербского».

«Претенциозный бред», – цедили литконсультанты журналов. Лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией и коммунистами литературе Геббельс противопоставил литературу

действительно свободную, служащую великим идеалам счастья народов, открыто связанную с фабричными и их освободительной борьбой. Однажды в феврале когда по всей земле мел пастернаковский ветер, задувающий свечи бытовые парафиновые, к нам постучалась девушка Коринфия. Сципиона не наблюдалось. Всклипывая, она дожидалась его до утра, не сказав мне ни слова, а потом побрела к первой электричке, почему-то оставив под настольной лампой фиолетовую, как любимые чернила Сципиона, бумажку в двадцать пять рублей.

Обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый или номер сорок. А я шел на шесть двадцать пять.

Летом не лишенная изящества повесть Сципиона стала расходиться среди любителей словесности в перепечатках, к осени – опубликована в Америке. И хотя ничего антирежимного в ней не содержалось, по заведенному коммунистами обычаю его имя незамедлительно занесли в проскрипционный список, и любой жандарм получил право резать беззащитного одинокого сочинителя без суда и следствия. Обошлось; кое-как мы просуществовали до глубокой осени, когда боярышник багровеет особенно тревожно; вновь явились к нашей сгорбленной пергаментной хозяйке. Идиллия не повторилась: Сципион был насмерть перепуган, к тому же Коринфия явилась к его родителям с новорожденным младенцем на руках, рыдая. Была изгнана решительным старшим поколением. Муки совести, финансовая недостаточность. Сочинительский зуд, однако, не оставлял моего бывшего друга; именно той зимой он составил известный тебе (или неизвестный) очерк о сущности брошенной им поэзии.

Друг мой, ответь мне, почему ты возвращаешься к утраченному? Отчего неймется тебе, отчего ты не желаешь продолжать свои новые труды?

Так я вопрошал сочинителя Сципиона, но он смотрел мимо, сохраняя молчание. Перед ним на дощатом столе стоял достаточно мутный стакан (помнишь, я привез такой из Москвы, и ты не оценил моей покупки, а ведь мне пришлось нарочно ехать за ним на блошинный рынок). Так получилось, что именно этот стакан он и взял вместо ответа в руку с длиннющими пальцами (ногти, впрочем, были грязны). И немедленно выпил, как выразался другой самопровозглашенный великий писатель тех лет.

21

Дружить с гениями – задача не из легких, сынишка ты мой возлюбленный. Лестно, разумеется: мы люди простые. Рассчитываешь на свое место в вечности за их счет.

Впрочем, осознаешь: у вечности ворует всякий, а вечность – как морской песок. Это строки Мандельштама, лысого льва, затравленного на арене Колизея коммунистическими гееннами. Он вообще, дурилка картонная, тяготел к песку – а песок есть прах камня, кости разложившейся вечной природы. Прими ладонями моими пересыпаемый.

Бог с ними, с гениями. Тем более что эта печать ставится на чело смертного усилиями общества. Сегодня ты Бенедиктов или Вальтер Скотт, а завтра – жалкий памятник Гегелю на Тверском бульваре. К тому же вкусовые качества сегодняшнего обеда оказались невысокими. Ведь как справедливо отваривать брокколи? Полторы, максимум две минуты на пару. Чуть

больше – и оно (они?) приобретает отталкивающий скучно-зеленый цвет. Что хотят, то и делают. Суки.

Лучше ты выйди, как юный витязь в чисто поле, на сайт [gamehouse.com](http://gamehouse.com) и бесплатно, то есть без внесения денежных средств, скачай игру SuperCollapse II.

Кубики разных (четырех) цветов падают на маленьком экранчике. Мышкой требуется щелкать (кликать, окликать) на комбинации кубиков одного цвета. Они, понимаешь ли, после этого исчезают, как все земное. Кликнешь на пять слипшихся алых кубиков – получишь сто, скажем, очков. Кликнешь на семь – получишь тысячу. Так считаются очки, экс, я бы сказал, поненциально.

А кликнешь в русской степи:

Господи, где ты! Почему ты меня оставил? Нет ответа. Не так ли и ты, Русь, как бойкий костюм-тройка, несешься .

Тут: иное. Тут кубики с грохотом переселяются в приснопамятное небытие, где все мы обитали до своего рождения, а ты восхищаешься собственной ловкости.

Ты наш первый компьютер Макинтош помнишь вообще? Ящичек цвета слоновой кости, черно-белый крошечный монитор, встроенный прямо в корпус? Ломался часто (летел блок питания), но в обращении был дружелюбен и легок, не чета сочинителю Сципиону.

Крах! Крах! Исчезают кубики, взрываясь.

В момент смерти от удушения мозг выделяет особое вещество, вызывающее эйфорию. Запомнил название. Эуфиллин? Нет. Это, кажется, средство от геморроя. Амфетамин?

Эндорфин.

А забредешь в сумеречный вечерний бар с хайтек браслетом на голени – тишь, гладь, Божья благодать. Отдыхают неприкаянные ловцы рыб в неухоженных бородах, без изношенных супруг женского пола, занятых одинокими детьми и незажиточным хозяйством домашнего бытия, поддерживают мужской разговор о тяготах вылавливания исчезнувших, вымерших рыб, о безработице, пожалуйста, прикуривай у нее. Дубовый стол, в солонке нож, и вместо хлеба ёж брюхатый. От нас с аэронавтом Мещерским отсаживаются понемножку, видимо, недолюбливают иностранцев, но бар невелик размером, обрывки бесед улавливаются. Об Александре Коллонтай тоже иногда обсуждают, об Инессе Арманд. И Наденьку Курбскую поминают незлым тихим словом. Впрочем, курить воспрещается. Выходят, шурша брезентом моряцких курток, в ладошках сохраняют хилый огонек зажигательных машинок. Курят нечасто, стараются затягиваться поглубже: пачка Player's нынче стоит дороже бутылки пристойного вина. Хорошо. Славно. Ты-то, я надеюсь, не куришь табуку?

При коммунистической власти немногочисленные московские бары, сынок, были недоступны рядовому населению. Их посещали только агенты печально знаменитого НКВД. Расплачивались за чешское пиво корпоративными кредитками, подло прислушиваясь к разговорам отсутствующих посетителей. Когда мы с твоей однородной матерью Летицией ездили в перестраивающуюся Россию, ты замер, удивленный, в номере железобетонной гостиницы «Молодежная» и спросил: «А разве радио бывает по-русски?» Потом мы спустились в подвальный бар (ты уже уснул), и Летиция долго недоумевала. Ибо на полке пылились опустошенные бутылки из-под зарубежных высококачественных джинов, виски и тоников. И мартини, впрочем. А на продажу предлагались только низкокачественные напитки местного изготовления. Я усматриваю в этом метафору советской власти, ее цинизм и страсть к обману мирного населения.

Лестно дружить с гениями, но нелегко. Или наоборот: легко, но нелестно.

Во-первых, ab ovo, кто подтвердил, что он сумрачный гений?

Где справка из Союза гениальных сумрачных писателей?

Десяток приятелей удостоверил? Так он – в часы одиноких ночных чаепитий – не верит ни им, ни самому себе. Вот обитаем мы в деревне Чертополох, и поскольку я, будучи студентом, все-таки зарабатываю некоторые финансовые девизы, у нас имеется на столе, на клеенке с нарисованными тропическими фруктами «апельсин» и «ананас» несколько количеств светлой водки. И он высказывается внезапно: в чем смысл уходящей, как брошенная юная женщина, жизни? (Типа Эвридики, добавляет, и черная, возможно, шелковая, юбка ее, вещь шелестящая и ранее волновавшая, в эту минуту кажется жалкой до слез.) Может быть, его (смысла) и вообще отсутствует?

Мне легко, элегически добавляет, я причастен творчеству. А ты, сочувствующий Свиридов, не умеющий отличить альфы от омеги?

Множественные брокколи переварены, мороженое филе ханьской трески безвкусно, как утреннее лобзание усталой платной дивы.

На крыше собора – гроба поваленного, уже частично выкрашенной небывалой сияющей киноварью, которую так нетрудно спутать с суриком, размахивают несметными малярными кистями паучьи человеки в оранжевых спецовках и алых касках, но искупления не сулят.

22

О братьях наших меньших. Мы привыкли именовать таким образом животные существа, обладающие чувствами и инстинктами, однако лишенные разума. Никому не придет в голову считать своей сестрой коноплю или иву. Впрочем, и с животными некоторая неразбериха. В состав своих братьев мы принимаем главным образом млекопитающих и теплокровных – в отличие от облакоподобной непривлекательной медузы; стремительной острозубой ящерицы; безрукой и безногой рыбы – в сущности, калеки перед лицом Господа.

Подчеркну также, что наиболее приятны нам животные одомашненные, вероятно, по той же причине, что и женщины, то есть по соображениям корысти. Они полезны нам. Пес охраняет овечью отару, терзает врагов народа при попытке к побегу, спасает замерзающих в швейцарских Альпах. Кот уловляет хтонических мышей, а в их отсутствие выступает в качестве источника тепла и экологически чистой психотерапии. Конь используется в качестве тягловой силы, участника рысистых испытаний, для изготовления увлекательного бешбармака в безбрежных казахских степях.

Вспоминаются в связи с этим вдохновенные, много лет запрещенные стихи из фильма Doctor Zhivago.

Лошадь, лошадь моя, черногривая добрая лошадь, я тебя полюбил – ты тоже умеешь по ласковой родине плакать. И ты, собачатина с толстым подкожным слоем жира, живущая в тихой деревне возле Сеула, с любопытством из клетки своей обоняешь пронзительный запах ким-чи, которое осенью квасят хозяйки, смеясь, в глиняных амфорах, и размышляешь: как мне повезло, что живу я не в Северной – в Южной Корее. Лист капусты шершав и матерчат, в доме хохот и взрывы гранат. Там шинкуют, и квасят, и перчат, и бесчинствует дворник Игнат. И маринад отвечает. На все вопросы отвечает Ленин. У дворника – жена, а у буренки – вымя.

Нахохлилась страна под дождиком косым. Кому воскресшие не кажутся живыми – тот Господу не сын.

(Один недостаток, впрочем: рифма

граната – Игната уже употреблялась поэтом Исаковским в романе «Бесы».)

Задаюсь вопросом: если и впрямь существует предвечный Создатель, которому мы в таком случае приходимся меньшими братьями, теплокровными и живородящими, то как он относится к бедным родственникам нашим вроде бычков, в том числе и в томате? Признает ли за ними право на бессмертие? На стремление к счастью? Свободу вероисповедания, неприкосновенность жилища?

Опасаясь, что не признает, ибо допускает нам делать с животными, прямо скажем, самые постыдные вещи. Как, впрочем, и им с нами; практика поведения могильных червей напрашивается в качестве наглядного примера. Можно упомянуть также микробов, хотя современная наука относит их не к животным, а к растениям. Ничего себе растение! Ни хрена себе баян! Жрет тебя изнутри до самой мучительной смерти, и, главное, какая ему, гаду, польза? Ведь помрет животное-хозяин (в данном случае человек) – и тебе, растению мелкоскопическому, полные кранты! Конец положительный! Необратимый, как реакция осаждения сульфида ртути!

Не внемлют микробы моим возмущенным речам, настойчиво продолжая свою самоубийственную работу. Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин, любимый Ильич, съеденный заживо палочкой Вассермана. И Марат умер, плескаясь в ванне, подобно исчезнувшей треске, зарезанный самоотверженной девицей Фанни Каплан, отдавшей свою молодую жизнь за освобождение отечества. Впрочем, в отсутствие благородной мстительницы ему бы тоже не допустили умереть от чесотки, профилактически отрубив буйную французскую голову.

Поутру, еще до начала занятий, школьники приносят на комиссию в лавочки Сент-Джонса битых зайцев, изловленных в пригородных лесах с помощью силков, поставленных с ночи. Никто не возмущается, наоборот, родители радуются скромному дополнительному денежному доходу, а покупатели – возможности разнообразить свое небогатое меню питания.

А я бы не смог изловить зайца и с целью продажи лишить его жизни. И ты бы, вероятно, не сумел, получив от меня воспитание.

Я сам видел такого позавчера, когда с позволения главврача отправился на прогулку за пределы города. Населенный пункт невелик, до леса можно дойти за неполный час. Я выглядел точь-в-точь как подмосковный грибник, оставивший дома свою супругу-грибницу: на локте вместительно качается сплетенная из веток плакучей ивы корзина, в руке довольно острый, хотя и небольшой нож. Стояла прибалтийская сырость, серость, усугубляемая гранитными валунами, лежавшими, словно окаменевшие мешки с картошкой, там и сям. Обгонявшие меня удивленные автомобилисты нажимали на клаксоны своих подержанных машин в знак приветствия и одобрения. Аэронавт Мещерский в силу пожилого возраста сильно отстал, даже отчасти рассеялся в туманном воздухе, а мне хотелось побыть одному, и я не останавливался. Хотя и понимал, что рано или поздно придется подождать товарища: в одиночку мне вряд ли одолеть припасенную бутылку сорокаградусной.

Я оглянулся на отдаляющийся город. Алое пятно на сером: крыша собора. Свет, и служба идет. Пять-шесть конторских зданий, целомудренно воздымающих свои провинциальные этажи. Многоцветные жилые домики, наперебой сбегаящие к заливу, который уже скрывался из виду. Узкими улочками я вышел на шоссе. Придорожные строения стояли реже, участки увеличивали свою площадь и носили следы сельскохозяйственной обработки. Кое-кто из

бывших рыбаков копал картошку на любительских огородах, утирая пот со лба широкими натруженными ладонями. Кривые яблони склонялись под тяжестью неказистых, но обильных плодов. Потом и эти дома, крытые серым шифером, исчезли, по крутым обочинам шоссе начал густеть неухоженный смешанный лес, по первому ощущению – грибной. Во всяком случае, подстилка из гниющих листьев и хвои источала знакомый и безошибочный запах. Я вскарабкался на склон (новые кроссовки чуть скользили на влажной траве) и, трудясь, срезал осиновую палку, после ножа и корзины (в которую когда-то – под ликование восторженной черни – скатилась окровавленная кудрявая голова Фанни Каплан с губами, искривленными последней судорогой) – принципиальный инструмент грибника. А на зайца я этой палкой бы не покушался, честное слово. Даже соблазна не возникло, когда он, отдыхающий в палой листве, вдруг кинулся от меня наутек, не ведая, что я не стремлюсь причинить ему зла.

23

С наступлением каждой осени, когда городские клены постепенно становились багровыми, город – молчаливым, а ветер – немощным и прохладным, ты вздыхал, что под Монреалем почти не растет грибов. Ты сидел на нашей узкой кухне, опустив голову, а мы не понимали тебя – стоит ли выискивать и собирать в лесу дикие, возможно, ядовитые, когда в любой лавке предлагаются чистые белые шампиньоны, а если хочется экзотики – можно купить, хоть и за несусветные деньги, устричные грибы, которые ты по-русски называл вёшенками, или взять в Китай-городе сушеных, а то и консервированных в жестяной банке. «Не то, не то», – огорчался ты.

Потом к нам стал приезжать дядя Хаим, которого ты встретил в русской церкви.

Дурно пахнущей вяленой рыбой из русской лавочки вы закусывали горькое St-Ambroise, осторожно разлитое в высокие бокалы, расширяющиеся кверху. Словоохотливый дядя Хаим уговаривал меня попробовать, растерянно улыбаясь. В рыжеватых грубых волосках, покрывавших тыльную сторону его ладони, посверкивали хрупкие рыбы чешуйки, на расстеленном номере The Gazette щерился колючий рыбий скелет, и отломанная сухая голова безучастно щурила вытекшие глаза.

«Малец, – восклицал он, – ты катаешься в своей родной Канаде, как ярославский сыр в вологодском масле, но тебе недоступны простые радости человека с советским прошлым! Смотри, это спинка филей, наиболее ценная часть воблы! Я почистил ее для тебя, вынул все кости. Держи! Даже в Москве, с моими связями заведующего мебельным магазином, я не мог доставать эту рыбку чаще, чем раз в месяц!»

Мы уселись в его фиолетовый «пежо» с постукивающей коробкой передач.

«Два пива перед тем, как сесть за руль, разрешается канадскими законами, – с душевным ликованием просвещенного человека повествовал дядя Хаим, – допустим, я выпил четыре жалкие бутылочки по трети литра каждая. Но сколько лет закалки! Остановить меня не придет в голову никакому полицейскому козлу. А коробку передач надо сменить, давно размышляю об этом. Или выразиться более возвышенно? Смена коробки передач давно служит предметом моих размышлений».

«Почему же медлишь?» – спрашивал ты.

«Если менять в гараже, – размышлял вслух дядя Хаим, – то никакой зарплаты не хватит, тем более что в настоящее время у меня с ней полный цуцванг. Требуется снять коробку передач с моего второго “пежо”, серого, перебрать, смазать, смонтировать. Работа не на один день».

Мы следовали в университетский дендрарий. Помнишь? Километров сорок от города, за чопорным Биконсфилдом, не доезжая St-Anne de Bellevue. Почти природный, почти нетронутый лес: клены, ели, сосны. Двое взрослых, вступив в рощу, стали сосредоточенными и взволнованными, словно охотящиеся кошки. (Помнишь нашу кошку Аглаю? Черную, тощенькую? Прокралась в приоткрытую дверь с улицы жалкая, вымокшая под сентябрьским дождем, без ошейника, и мама уговорила тебя ее оставить. Вечером, когда мы по обыкновению смотрели Star Trek, Аглая мурлыкала у мамы на коленях, обнажая мелкие желтоватые зубы. Иногда приносила полузадушенных мышей, которых ты вытаскивал у нее из пасти и отпускал в траву на заднем дворе.)

Клены, ели, сосны, широкие сухие листья, истлевающие на сырой земле. Пни, валежник. Ты выделил мне перочинный инструмент и распорядился звать тебя, когда я найду гриб: на экспертизу. Мы разбрелись; мне попадались, однако, только страшилища на тонких желто-коричневых ножках, с сильным неприятным запахом, произрастающие неаппетитными кустами на гнилых кленовых пнях, покрытых лишайником. Я сорвал одного из этих несъедобных уродцев: влажная шляпка с серо-желтыми пластинками на исподе, жесткая ножка. Рассмотрел, без сожаления выкинул. Когда мы столкнулись в лесу, я увидел, что твоя корзина полна этими поганками. «Опята! – кричал ты воодушевленно. – Хаим, в этих грибах заключен великий философский, я бы даже сказал, христианский смысл: уродливы, но по вкусу не уступают боровикам и подосиновикам».

Ты долго смеялся надо мной тогда.

В багажнике у дяди Хаима обнаружилась переносная шашлычница листового железа, пакет углей, флакончик жидкости для разжигания (я проверил название – это лигроин). В пенопластовой охлаждающей коробке – фунтов пять говядины, посеревшей от выдерживания в маринаде, а также литр водки с двуглавым орлом и несколько бледно-зеленых огурцов. Вы сели пировать, приговаривая, что домой следует вернуться скорее, чтобы Летиция тоже попробовала шашлык если не горячим, то хотя бы теплым. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, – пел магнитофон, – завоевать пространство и простор, нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор!» Я наблюдал отчужденно, плохо понимая причины вашего веселья. Мне было лет девять, к тому времени я наотрез отказался от мяса и рыбы. Запах обугленной плоти убитого живого существа представлялся мне отталкивающим. Впрочем, дядя Хаим – а может быть, и ты сам? или мама? – позаботился обо мне: в багажнике нашелся также пластиковый пакет с хлебом, сыром, помидорами, даже арахисовой пастой на палочках сельдерея – ну да, значит, точно мама.

Месяц назад я получил письмо от дяди Хаима. Он теперь старший приказчик в московском мебельном магазине, хвастается, что лисички, те самые, которые недавно появились в Gourmet Garage в Монреале, в России почти в десять раз дешевле. Пишет также, что доволен и счастлив и уже оформил бумаги на иммиграцию в Черногорию – начинать новую жизнь садовода-пенсионера, подрабатывающего выращиванием цветов. Приглашает в гости: у него будет домик на берегу Адриатики, три комнаты, горячая вода, канализация, стиральная машина. Мы с Дженнифер всерьез собрались к нему на будущий год, если удастся накопить на билеты.

Хочешь, я дам ему твой адрес?

Черногория, говоришь? Волшебная страна. Говорят, одна из немногочисленных, где по старой памяти любят русских. Ответь, Александровск и Харьков, ответь, откуда же у дяди

Хаима нашлись финансовые деньги на упоминавшийся тобою домик, пускай он на поверку и окажется не крупнее габаритами, чем хижина Карлсона, который живет на крыше? Сколько помню, дядя Хаим всегда был в долгу у мироздания.

«Неправильно живешь, Свиридов, – поучал он, потчюя меня паленым виски, приобретенным в пригородной резервации у индейцев сиу, – вечно заботишься о завтрашнем дне. Погляди, друг мой задушевный, на воробьев небесных! Всякий из них, подобно мне, давно исчерпал весь положенный ему предел на кредитной карточке жизни, выплачивает разумный ежемесячный процент, памятуя, что рано или поздно его истребит какой-нибудь ястреб-тетеревятник с полосатой грудью и наглым взглядом темно-золотых глаз под белыми бровями. Пускай тогда горюет банк, который легкомысленно выдал кредитку. Или же он, как перелетные потомки летающих звероящеров из патриотического стихотворения Исаковского, отправится в Турцию, где не выследить его никакому Интерполу».

Перед самой перестройкой лощеные рыболовы из советского консульства отыскивали в Монреале несколько душ, вполне созревших для добычи. У одного осталась любовь в Ростове-на-Дону, у другого – старушка-мама, третья просто хотела домой, к буханкам клеклого ржаного хлеба, куполам кремлевских соборов и подмосковным вечерам. И предложили им, болезненным, раздвигая вампирские губы, за которыми поблескивали золотые коронки, возвращение а) гражданства и б) на родину. В обмен на щедрость просили всего лишь выступить на пресс-конференции, публично сжечь канадские паспорта, ну и рассказать, почему на родине мамонтов течение ежесекундной духовной и материальной жизни неизмеримо положительнее, чем на растленном Западе. Я смотрел эту телепередачу. В нужный момент дядя Хаим вместе с остальными достал припасенную зажигалку, выданную вторым заместителем консула, поджег перед камерой необходимый документ. Ведущий немедленно приказал загасить, ссылаясь на правила пожарной безопасности. За пару часов перед самолетом дружно отправились

делать шопинг, запастись кожаными пиджаками, джинсами, видеомагнитофонами. Расплачивались кредитными карточками, леденя, но и хихикая про себя: кто их достанет в Советском Союзе? И когда дядя Хаим, горбясь, всходил по трапу в самолет Аэрофлота, в спину ему понимающе смотрел призрак инженера Кириллова из небезызвестного сочинения г-на Исаковского.

Немало я стран перевидал, шагая с винтовкой в руке, но не было горше обиды, чем быть от тебя вдалеке.

Винтовка отсутствует в моем миролюбивом репертуаре, и бестолковая родина моя затерялась в вялом тумане над извилистым ледяным заливом. Чтобы достичь ее на бригантине, требуется месяца три, попутных нет, да и удастся ли уговорить капитана, даже если серебряные деньги на проплыв тяжелеют в кожаном мешочке на шее – словно тот кусок рельса, которым снабжали пассажиров баржи «Вячеслав Молотов»?

Эмпедокл прав: нефтяное время, несмотря на высокую вязкость, в чем-то подобно пресной воде, ибо течет только в одном направлении – сверху вниз.

Я знал, например, что если зайти в булочную на улице Горького, дом шесть и, минуя прилавки с теплыми сайками и батонами ненавистного бородинского, подняться на второй этаж по щербатой лестнице, то почти всегда можно за шесть копеек (с какого-то момента – за двадцать две) выпить за пластиковым столом кофе из настоящей венгерской паровой машины. Таких мест было два или три на всю Москву: воистину сокровенное знание, сынок!

Я знал, что в читальном зале Исторической библиотеки, если записаться справкой от кафедры научного национал-социализма (мол, озадачен курсовой работой по свободе художественного творчества), можно получить невесомый, иссохший от времени томик

стихотворений Мандельштама 1928 года. Это называлось «книга из шкафа». Важно при этом подчеркнуть, что, ставя вопрос о свободе художественного творчества, д-р Геббельс говорит не только о свободе от крепостнической цензуры, реакционно-политического давления, буржуазно-торгашеских отношений, но и о свободе от анархистско-индивидуалистических, а также неарийских влияний.

Я знал, что пишущая машинка «Москва» скверно, ох как скверно печатает, калечит пальцы и часто ломается, а машинка Traveller из Черногории потому и продается свободно, хоть и за немалые деньги, что снабжена нестандартным шрифтом: рукописи, на ней изготовленные, не принимали в научные журналы, а анкеты – в присутственные места. Однако за умеренное количество рублей шрифт можно было переписать.

Была у меня родина, замордованная нехорошими людьми, похожая на мать-алкоголичку. А теперь есть ласковая мачеха.

Куда ни оборотит подслеповатый взгляд вылезший на поверхность крот, приюхиваясь к надземному воздуху розовым влажным носом, всюду мерещатся ему сподвижники и родственники, удалившиеся на ангельских крылах из дольных пределов, пока он почивал летаргическим сном. Активно подозреваю своим заторможенным умом, что Сципион с Летицией также успели присоединиться к большинству или уехать в Черногорию, что одно и то же. Хотя бы потому, что тот или иная могли бы сострадательно сообщаться со мной по электронной почте, мой лучший товарищ и моя законная супруга. Хотя бы потому, что ты не упоминаешь о матери в своих письмах.

И родина моя, видимо, ушла, как утренняя звезда, в астрал, и другая, незнакомая, воссияла на ее месте. (Кому и Камбоджа родина, кстати сказать.)

Пускай, прияв неправильный полет и вспять стези не обретая, звезда небес в бездонность утечет, пусть заменит ее другая – не явствует земле ущерб одной. Не поражает ухо мира падения ее далекий вой, равно как в высотах эфира ее сестры новорожденный свет и небесам восторженный привет.

Впрочем, судьбоносному и мечтательному поступку дяди Хаима предшествовало предусмотрительное посещение юридической консультации для бедных, где ему растолковали, что отказ от канадского гражданства требует не столько публичного аутодафе упомянутого документа, сколько заполнения особой анкеты и уплаты символической госпошлины. С началом российских реформ, то есть года через два, он истребовал в консульстве новый паспорт и вернулся в Монреаль. Помнишь, как беспокоило он дремал у нас в гостиной, на клетчатом диване, пока искал квартиру? Плакал, метался, скрипел зубами?

25

Прежние владельцы лавки были, судя по акценту, венгры, пожилая чета, то и дело дремавшая за прилавком. Иногда я заставал старика за работой. Он стоял на скрипучих коленях, подстелив под них газету, и, хрипло дыша, расставлял по нижним полкам банки с консервированным супом из картонного ящика на тележке. Старуха смотрела на него с любовью и печалью.

Посылая меня за продуктами, ты просил покупать у стариков, чтобы поощрять трудолюбивых мелких предпринимателей, а не гигантские корпорации. Хлеб в лавке был действительно вкусный, европейский; кроме того, я приносил оттуда молоко и йогурт.

Года через два после нашего переезда, весной, двери лавки вдруг оказались запертыми, а еще через месяц-другой ее выставили на продажу. За хлебом и молоком приходилось ходить в супермаркет. Потом лавка открылась снова. Я поздравил нового владельца и разговорился с ним.

– Я верю в честность, умеренность и трудолюбие, – повествовал словоохотливый Омар. – Жизнь – вещь долгая и трудная, однако богатая приятными сюрпризами. Погляди на меня! Мне удалось покинуть Пакистан, занять денег у односельчан, и вот я владелец лавки со всем инвентарем, сам себе хозяин. Ты не представляешь, молодой человек, как мне завидуют дома!

Вместо консервированного супа и перловой крупы в лавке появился индийский рис в рогожных мешочках, высланных изнутри пластиковой пленкой, установился запах гвоздики и мускатного ореха. Колбаса и сосиски исчезли. Отдельную полку Омар отвел под четырнадцать разновидностей соуса chutney. За отсутствием в округе его соотечественников стеклянные банки вскоре покрылись пылью.

– Сколько ни старайся, но основной доход получается от недорогого пива, – делился со мной Омар, укладывая по ящикам принесенную покупателями стеклотару. Винная посуда не принималась, но за пивную взимался небольшой залог, подлежащий возвращению. – Возиться с бутылками, получая полтора гроша за каждую, нет никакого смысла, но закон обязывает. А мы, честные предприниматели, к тому же стоящие в очереди на гражданство, не можем позволить себе такую роскошь, как нарушение закона.

– А что вы думаете об охране природы, Омар? – спрашивал я. – Разве вам не приятно вносить свой вклад в это благородное дело?

– Читай газеты, мальчик, – отвечал он не без высокомерия. – Разнокалиберные стеклянные сосуды, бытующие в обществе изобилия, приходится разбивать и переплавлять. Изготовление новой бутылки обходится дешевле и наносит меньший ущерб природе, чем повторное использование старых.

Кожа у него была не такая темная, как у большинства пакистанцев, лицо круглое, волосы короткие, черные и блестящие, а зубы крупны и белы: один из поводов для постоянной улыбки. От старых хозяев ему досталась вещь, редкая по тем временам: комплект для выпечки хлеба и оплаченный контракт на поставку заготовок из замороженного теста. В стальном шкафу со стеклянными дверцами, наполненном теплым туманом, батоны оттаивали и подходили, увеличиваясь в объеме раза в четыре, в другом – выпекались, покрываясь хрусткой темно-желтой корочкой. Он освоил также круассаны и сдобные булочки, с которыми прежние хозяева не связывались.

Всякому посетителю Омар улыбался, как долгожданному другу, некоторым даже отпуская поклоны, однако лавка приносила сомнительный доход, а держать ее открытой приходилось с семи утра до одиннадцати вечера без выходных.

– На круг выходит меньше минимальной зарплаты, конечно, – печалился Омар. – Зато надо мной нет начальства. Что хочу, то и продаю. Ничего, дело еще раскрутится.

Я стоял перед прилавком, ожидая очередного покупателя. Хлеб обычно просили нарезать, и тогда Омар с гордостью включал жужжащую машину с дюжиной стальных дисков. «Presto!» – восклицал он единственное известное ему итальянское слово, укладывая обработанный батон в полиэтиленовый мешочек. Трудно было удержаться и не просить его попользоваться машиной, но я знал, что он откажет: полированный механизм требовал сноровки и запросто мог отхватить мне пальцы.

Иногда я помогал приносить товары из кладовки или дежурил за прилавком, когда он

разгружал очередной фургончик со съестными припасами. Вначале он многословно благодарил меня, а потом стал одаривать бутылочкой газировки или пакетом чипсов.

Летом мне исполнилось двенадцать лет, возраст совершеннолетия в старой Британии, и я решил найти работу. Понятно, что первым делом я пришел к Омару.

– Чем же я буду тебе платить, мальчик? – рассмеялся он.

– У вас расширится клиентура, – неуверенно сказал я. – Будем выпекать больше хлеба, вывесим рекламу в окне.

Ты забыл, должно быть, но Омару удалось уговорить меня работать бесплатно.

– Незаменимый опыт, – приговаривал он. – Видишь, ты уже обучился обращаться с кассой, вести учет инвентаря, выпекать хлеб, отслеживать срок годности на продукции. Пригодится для си-ви, когда будешь устраиваться на настоящую работу. Кстати, отнеси родителям молока и хлеба. Бесплатно, разумеется.

Через год он разорился. Я встречал его на улице, небритого, в серой рубашке с короткими рукавами, с несвежим воротником.

– Затишье, – говорил он, – но я выкарабкаюсь, я точно выкарабкаюсь. Перед женой стыдно, перед детьми стыдно.

И улыбался, словно по-прежнему стоял за прилавком, а я был покупателем.

Должно быть, ты забыл и многое другое. Главное, не нервничай, не беспокойся, папа. Все хорошо. Доктор уверяет меня, что твоя память со временем восстановится.

26

Нет, сынок, ты ошибаешься по поводу Бога, ибо в тебе пылает юношеская горячность и недостаточная широта взглядов ограничивает твой кругозор. С твоим основным тезисом – отсутствием в мире справедливости – я, несомненно, согласен. Однако речь о справедливости в нашем понимании, а кто сказал, что человек есть мера всех вещей? Протагор? Ну и где он, этот твой Протагор? В какой такой ньюфаундлендской санатории? Может быть, роль представителя справедливости выполняет вирус птичьего гриппа, а может быть, тайфун «Глория» или бразильская водосвинка. А скорее всего, право судить принадлежит самому Господу Богу, пути которого, как печально известно, неисповедимы.

Аэронавт Мещерский поведал мне, что некий шведский энтузиаст-микробиолог зарабатывает свою немалую копейку (...как называются шведские копейки? Почему-то приходит в голову малопригодное слово

стотинка : когда в детстве я собирал монетки, эта болгарская мелочь попадалась довольно часто и практически не ценилась). Остановимся на копейке. Так вот, наш герой выводит особые породы дрожжей для самогонщиков. Да-да. Я знаю, пожалуй, только одну более странную профессию: где-то в гористом Орегоне сверкает оранжевой крышей на альпийском лугу некая ферма, разводящая сверчков, которые грузятся в пластиковые пакеты с дырками для дыхания примитивных легких, затем в картонные коробки и рассылаются по всей стране – на корм любителям домашних ящериц. (Ха! Я невольно совершил смешную грамматическую ошибку. Любители ящериц вряд ли станут питаться сверчками. Разумеется, насекомые идут на корм домашним ящерицам, которых содержат у себя дома любители

таковых в обширных террариумах.) Немало пород дрожжей вывел даровитый дарвинист путем неестественного отбора: для поклонников eau-de-vie, для изготовителей водки, для торопливых, которые хотят распорядиться своей брагой не через неделю, а через двое суток.

Предлагаются и дрожжи для законопослушных, которые доводят смесь до 20 разрешенных по закону градусов, после чего она недурно опьяняет и без всякой перегонки.

По всей планете рассылает сушеные дрожжи в пакетиках из металлизированного пластика с инструкциями на шведском и английском языках оный скандинавский предприниматель.

В первый раз испробовав продукт, аэронавт Мещерский обозлился на невидимого шведа, потому что разболтанные в сахарной воде дрожжи показались ему мертвыми. Впоследствии выяснилось: им требуется время для того, чтобы из своего высушенного состояния перейти в живое, начать перерабатывать сахар на спирт и углекислый газ, как распорядился в их отношении Господь, а затем, увы захлебнуться и погибнуть в собственных экскрементах.

Мы с ними братья, с этими одноклеточными. Им тоже некому и не что жаловаться.

Раз уж мы о викингах: однажды вечером (шел смертный дождь, как сейчас в Ньюфаундленде) с моей родины прибыло известие о кончине старого великого конунга, грудь которого украшалась орденами различных суверенных государств. Он сам охотно награждал своих вассалов из развивающихся стран, рассчитывая на ответную любезность. Великий конунг был кавалером аргентинского ордена Майской Революции и финского ордена Белой Розы, четырежды героем отечества, дважды героем Коммунистического труда, трижды героем Болгарии, Чехословакии, Вьетнама и Германской Демократической Республики, героем труда Вьетнама, однократным героем Кубы, Лаоса и Монголии, кавалером ордена «Солнце Перу» 1-й степени и эфиопской Звезды почета. Одна из его неисчислимых медалей называлась, между прочим, «За восстановление предприятий негритянской металлургии юга».

Цари! Я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья. Но вы, как я подобно, страстны, и так же смертны, как и я.

Слуги иногда заставляли безобидную жертву болезни Альцгеймера, несчастное орудие лишенных чести и совести коммунистов, в его кремлевских покоях, где он, невинно смеясь, скакал в своем маршальском мундире на именной казацкой шашке с золотым изображением государственного герба отечества.

А его пожилая дочь-алкоголичка, сильно страдавшая варикозным расширением вен, проступавших, словно синие ветки, под дряблой кожей толстых голеней, состояла замужем за иллюзионистом из цирка, нещадно избивавшем ее своей волшебной палочкой. Впрочем, эти сведения основывались на слухах и сплетнях, передававшихся иностранными радиостанциями. Частная жизнь великого конунга для печати, изнемогавшей в тисках цензуры, как бы не существовала.

Ты еще совсем маленький был, грудной, только научился переворачиваться со спинки на живот. А мы с твоей матерью Летицией купили в честь значительного события бутылку местного яблочного вермута и не ведали, радоваться или бояться. Я тосковал по родине и надеялся на перемены, а она уверяла меня, что лучше не будет. «Тело твое, тело живет здесь, погребенное в твоём подвале, – вдруг вымолвила она с горечью, – а душа осталась там, как и у Сципиона. Ты не любишь ни меня, ни сына». Видит Бог, мы бы поссорились над своими стаканами (моим – полным и ее – содержащим две или три столовых ложки), но ты заплакал, Летиция заторопилась кормить тебя грудью и вернулась умиротворенная.

Зная о ревности мужа к старому товарищу и не умея рассеять его небезосновательные подозрения, она пыталась платить несчастному изгнаннику той же монетой: ревностью к его

поруганному отечеству, изнемогавшему под железной пятой коммунистов, а ныне изнывающему под свинцовой дланью олигархов, казнокрадов и политехнологов, беспардонно присвоивших плоды демократических преобразований. Несправедливо, но понятно. Да и где она, справедливость (см. выше)?

Не внемлют! Видят и не знают! Покрыты мглою очеса. Злодействы землю потрясают, Неправда зыблет небеса. Приди же, Боже! Боже правых! И их молению внемли. Приди, суди, карай лукавых! И будь Един Царем земли!

Идея славная, одна загвоздка: придет, покарает весь род лукавый и прелюбодейный, да и останется царем без подданных. То-то смеху будет.

27

Всякую субботу утром мы с тобой отправлялись на Сен-Лоран за продуктами. Сначала – в польскую булочную, расположенную по соседству с мастерской по изготовлению серых и темно-красных гранитных надгробий, посверкивавших за решетчатым железным забором звездными искорками слюды. Если стояла зима, ты вез меня на санках; если ночью выпадал снег, который еще не успевали убрать с тротуаров, то он благостно поскрипывал под деревянными полозьями, слепил глаза, и ты рассказывал, что альпинисты нарочно носят черные очки, чтобы сияющий на горных вершинах снег не повредил им зрение. Ты волочил санки, напевая свои «Подмосковные вечера» или «Комсомольцы-добровольцы», а обратно я шел пешком, держа тебя за руку, потому что мы грузили на них приобретенную провизию. Двор могильного заведения был завален каменными заготовками с цилиндрическими углублениями по краям (ты объяснил мне: сверлят отверстия, закладывают взрывчатку, блоки отваливаются от гранитного массива) и образцами продукции: как массивными брусами, символизирующими саркофаги, так и довольно тонкими, дюйма два в толщину, досками, призванными стоять вертикально. «Все мы умираем, – пожимал ты плечами в ответ на мои вопросы, – понятно, что родные и близкие хотят сохранить память об ушедшем».

Объяснение представлялось мне вполне достаточным.

Продавщица в мелких кудряшках, чуть говорившая по-русски, радовалась нам, как своим, и, ничего не спрашивая, протягивала батон белого, половину буханки черного и двух пряничных человечков с глазами и ртом, намалеванными блестящей, как снег, кондитерской глазурью. Одного я тут же съедал (с хрустом отламывая по очереди все конечности, а затем и голову – сублимация детской агрессивности, вероятно), другого мы относили маме, работавшей дома над своей диссертацией о творчестве Сципиона. Если он у нас гостил один (что бывало часто), ты покупал еще четыре круассана – но уже не у поляков, а у французов, если приезжал с новой женой (что бывало редко) – то пять. Потом мы обходили окрестные магазины, запасаясь на будущую неделю всякой всячиной. Ты покупал в венгерской лавочке страдальческий и огромный говяжий язык в красноречивых пупырышках, в греческом магазине – освежеванного кролика с большеглазой марсианской головкой, у китайцев – гигантскую продолговатую редьку и литровую бутылку женьшеневой настойки в алой картонной коробке с золотыми иероглифами. Из рыбного магазина мы уносили увесистый кусок мороженой осетрины с чешуей, неуловимо напоминавшей средневековую амуницию (цветом на срезе похожий на чайную розу), а иногда – фунт-другой свежей красной икры (когда она бывала в продаже, лицо твое светлело от радости). В универсаме ты подолгу томился у овощного прилавка, недовольно бормоча, размышляя, покачивая седеющей головой, брал худосочный кочан полупрозрачного салата или побледневший от истощения флоридский помидор, клал его обратно, сжимал губы. Отсутствие овощей и фруктов в нашем

грузе приводило маму в отчаяние, сквозь слезы она жаловалась, что ей осточертели убогие лакомства твоей молодости, а ты пытался в чем-то убедить ее, сжимая в руке карманный калькулятор. «Ты пойми, я человек пьющий, Летиция. Женьшеневая настойка явно контрабандная: сорок оборотов, а просят за нее в полтора раза меньше, чем за простейшую водку. Не сердись. Как тут устоять? Тем более для здоровья полезно». Оранжевая икра, ошпаренная скромным количеством кипятка, кропотливо отделялась от пленок с помощью вилки, солилась и ставилась в холодильник. Языку полагалось три или четыре часа вариться, наполняя весь дом (так говорила мама) советским запахом, затем ты обдавал его холодной водой и сдирал неаппетитную шкуру. Китайская редька натиралась на терке, заливалась острым маринадом и дня через два-три уже подавалась к женьшеневой настойке, цветом схожей с разбавленными коричневыми чернилами.

Когда я пошел в школу, обнаружилось, что все мои товарищи приносят бутерброды с обычным хлебом, нечерствеющим и лишенным запаха. Меня дразнили («вареный язык», «рыбьи яйца», «польский хлеб»); вскоре, вдоволь нарыдаввшись в школьном туалете, я попросил, чтобы еду мне готовила мама из припасов, хранившихся в холодильнике на ее собственной полке (сельдерей, соевый творог, брокколи, цукини, маргарин, ладные тоненькие гамбургеры, вареный лосось, ломтики плавленого сыра фирмы Kraft).

Ты обиделся, но смирился.

Свежая икра давно исчезла из того рыбного магазина. Тогда с ней не знали, что делать, а ныне втридорога продают японцам – на суши. И торговлю женьшеневой настойкой прикрыли. И осетр – то ли перестал ловиться в наших озерных водах, то ли вывозят его в Америку для нужд значительно возросшего русского населения. Улицу Сен-Лоран не узнать. Многочисленные эмигрантские лавочки, набитые синтетическими кружевными блузками и черными пиджаками, уступили насиженное место гулким бутикам с неоштукатуренными кирпичными стенами, где рвет барабанные перепонки heavy metal; польские ресторанчики (вареники, шницель, сосиски с капустой) сменились где тайландскими, а где японскими; индийские заведения, где ты, отправляясь в Россию, запасался у тюрбаноносных хозяев переносными радиоприемниками и многосистемными видеомагнитофонами, тоже с приходом интернет-магазинов постепенно пришли в упадок и обанкротились. Знаешь, я иногда думаю: в судьбе эмигранта, в сущности, нет ничего особенного. В нашем веке, когда все так стремительно меняется, чуть ли не любая страна за двадцать лет становится совсем иной. И любой человек рано или поздно осознает, что время его ушло, что против своей воли он очутился в незнакомом мире. Хотя, может статься, я и преувеличиваю.

28

Ты так и не научился выбрасывать пластиковые пакеты.

Тонкие и недолговечные, которые выдают в продовольственном, кидались в кучу под раковиной и использовались для выстилания мусорного ведра.

Добротные (то белого, то шоколадного цвета) из государственных винных лавок складывались в одну из картонных коробок, хранившихся в твоём подвале. Впоследствии в них помещалась разномастная одежда с распродаж и благотворительных базаров, которую ты месяцами копил для доставки в обнищавшую Москву.

Наконец, пакеты из магазинов готового платья, украшенные эмблемой торгового заведения, а иногда снабженные прочными ручками из шелковистого шнура, разглаживались на твердой поверхности и помещались в объемистый серый чемодан, исходивший слабым, но едким

запахом винила. Они считались самостоятельными мелкими подарками отдаленным московским знакомым.

Странно, удивлялся я: старые пластинки тоже называются виниловыми, однако совсем не пахнут.

После нескольких поездок за океан у мышиноного чемодана оторвался ремень, отвалилось колесико, а на лоснящемся слоновьем боку появился длинный косою порез, который ты, вздыхая, долго зашивал суровыми нитками с помощью толстой иглы и наперстка, а затем для верности вылил на рану едва ли не целый пузырек белого школьного клея, размазав его салфеткой. Высохший клей преобразился в пленку умеренной прочности, позволившую использовать чемодан еще раза два или три. Иногда ты доставал его из подвала и ставил в мою комнату. Мы играли в прятки. Я был достаточно невелик, чтобы поместиться в чемодане. Ты звал маму. В чемодане было душно и страшновато, но меня утешали ваши веселые голоса. «Где же наш любимый сыночек? Где Лёничка?» – повторяла мама. «Пропал!» – отвечал ты. «Нет! Нет! – восклицала моя мать, прекрасная и юная Летиция. – Я только что услышала, как он хихикнул. Может быть, волшебник подарил ему шапку-невидимку?» «Сын наш исчез, – говорил ты, – надо начинать новую жизнь. Давай для начала избавимся от ненужных вещей, например от этого старого чемодана, которому давно пора на помойку. Подыдем его вместе и вынесем на обочину – пускай его заберет первый же мусоровоз!»

Эти воспоминания слишком сентиментальны, но куда же от них деваться? Ничего дороже у меня, пожалуй, нет пока.

А я перестал употреблять пластиковые пакеты, ты знаешь. Они наносят невозместимый ущерб окружающей среде, потому что не разлагаются в течение ста двадцати лет или даже больше. Экологически сознательные граждане (включая нас с Дженнифер) теперь покупают холщовые сумочки для продуктов, которые можно использовать хоть сто раз. А вообще нынешнее человечество отличается удивительной безответственностью. Напрасно уверял меня Омар, что проще и дешевле выбрасывать использованную стеклотару, а новые бутылки делать из песка и извести заново. Ты понимаешь, что это демагогия. При добыче песка и извести разрушаются плодородные земли, а старые бутылки занимают место на переполненных свалках. Мы с Дженнифер стараемся покупать, например, только такие бумажные салфетки, тетради и прочее, в которых содержится не меньше половины макулатуры. Или возьми мясо, которое мы с ней не едим из гуманитарных соображений. Для изготовления одного фунта мышечной массы зверски убитых животных требуется восемь фунтов соевых бобов, которые ничуть не менее питательны. Подозреваю, папа, что экологическая составляющая в данном случае даже важнее, чем этическая. Можно ли мириться с тем, что за счет животноводства в атмосферу выпускается больше парниковых газов, чем за счет промышленности и транспорта?

Извини, если я увлекся. Не хочется оставлять своим детям замусоренную, непригодную для жизни планету. Между тем истории известны примеры экологических катастроф, когда целые империи приходили в запустение из-за неумеренного, неграмотного потребления. Неужели весь земной шар ожидает подобная судьба?

Вот почему у нас с подругой нет автомобиля и, вероятно, никогда не будет.

Впрочем, быть может, дело в моем воспитании. Вы с мамой годами говорили о покупке подержанной машины, подсчитывали расходы – выходило, что она нам вполне по средствам. В один из маминых дней рождения веселый и обкурившийся дядя Джефффри пригнал к дому разваливающееся чудовище – «Форд» 1970, кажется, года, и подарил его маме. Но оба вы провалились на экзаменах по вождению, а к следующей весне подарок окончательно проржавел, и буксировочный грузовик равнодушно доставил его на автомобильное кладбище. Да и зачем он нам был нужен, по чести сказать? Учиться я ездил на школьном автобусе, ты

работал в основном дома, мама ходила в университет пешком, а если торопилась – проезжала шесть минут на метро. И в гости мы ходили довольно редко. Детство у меня оказалось тихое и, осмелюсь сказать, безмятежное. Наверное, поэтому я иногда так тоскую по маме и по дяде Сципиону, тоже едва ли не члену нашей семьи.

Ладно, пора заканчивать: завтра сдавать работу по уголовному праву, а готово меньше половины. Опять не буду спать всю ночь, но мне не привыкать. Завидую Дженнифер, будущему искусствоведу, потому что у них учебная нагрузка, похоже, раза в три меньше. Зато и зарплата у меня будет раза в три больше, ха-ха. К тому времени ты уже выйдешь из своего дурацкого санатория и сможешь переехать обратно в Монреаль – или в тот город, где я получу работу. То-то заживем, мой милый!

29

Глагол времен! Металла звон! Твой страшный глас меня смущает. Зовет, зовет меня твой стон, зовет – и к гробу приближает. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией, косою блещет, и дни мои, как злак, сечет.

Скучая, я все чаще мучаю – как коса означенный злак – свой казенный, виноват, казенный будильник. Скажем, беззвучного местного времени 17:00. Установить звонок на 17:03 и ждать, словно рысь на сибирском кедре: сейчас разыграется, раскричится истощенным голосом. А то нажать, бывало, на кнопку перевода времени, и тревожно-алые цифры, повинувшись тебе, всесильному, начинают возрастать – вначале по-улиточьи, а затем с первой космической скоростью, олицетворяя быстротечность наших чахоточных дней. Или выдернуть штепсель из розетки. Полупроводниковая тварь мгновенно и безропотно испускает дух. Совесть спокойна. Лишен я жалости к вещам неодушевленным: утюгам, лифтам, микроволновым печам. Мертвый будильник выглядит умиротворенно, словно покойник в гробу.

Ты, сынишка, студент, обремененный, вероятно, значительным долгом за обучение, а перенос праха в Россию, где правит бал бессовестная клика чиновников и бандитов, не только бессмыслен, но и стоит немалых денег. Вообще-то я хотел бы лежать рядом с Летицией, но кладбище для рыбаков-протестантов в Сент-Джонсе меня в случае чего вполне бы устроило. Оно расположено на склоне той самой горы, откуда Маркони в 1891 году передал обнадеживающий радиосигнал в довоенную Европу и получил неукоснительный ответ. Эта обитель скорби отличается чистотой и благоустроенностью; ограды вокруг могил блистательно отсутствуют в знак привычного соблюдения личных свобод и Habeas corpus. Черно-серые гранитные плиты с выбитыми именами и кратким сроком существования столь же незатейливы, сколь однообразны: никаких каменных ангелов и скорбящих матерей, столь естественных где-нибудь в Даниловском монастыре, никаких пескоструйных портретов, которые умельцы в моем отечестве так мастерски переносят на полированный камень с сохранившихся фотографий.

Кстати, вчера, часа в два пополудни, прогуливаясь, я неожиданно обнаружил захоронение неизвестной мне умершей женщины, не только тезки, но и однофамилицы твоей бесценной матери. Участок справа от него по неведомой причине свободен и от памятника, и от покойника, хотя все остальные места в ближайшей окрестности заняты. Полежал на пожухшей траве, понаблюдал за мраморной крошкой мелких облаков, вяло текущих по невысокому северному небу. В этих широтах при надлежащем освещении облака часто видятся не нарисованными, как мы привыкли, но объемными. Я даже вздремнул под мягким эстонским солнышком. Хорошо было. Когда аэронавт Мещерский, мужлан, стал меня расталкивать, издавая густой запах табака и рома, я что было сил отбивался, умоляя его дать

мне досмотреть сон о похожем октябрьском дне в парке Лафонтен, куда мы выбрались втроем на пикник (стоило немалого труда уговорить трудолюбивую Летицию оторваться от работы). Поначалу ты боялся белок, а потом смеялся от счастья, когда они стали брать у тебя орешки из рук. И живая Летиция, а вовсе не ее погребенная сент-джонская тезка, полулежала в отдалении на траве, лучась.

Как узнать, что у тебя в холодильнике слон?

По следам на поверхности торта.

Сколько жирафов поместится в холодильник?

Нисколько, там уже все место занято слоном.

Зачем курица пересекла улицу?

Чтобы попасть на другую сторону.

Праздничные осенние листья уже коричневеют и начинают отделяться от ветвей, облетая. Обладай они разумным сознанием, тоже страдали бы от неизбежности ветреной гибели. Или наоборот: додумались бы до своей связи если не с вечным, то достаточно долгоживущим деревом: стволом, корнями, корой. Так и мы, осмелюсь подать голос, прикреплены к мировому дереву. Другой вопрос в том, что собственная, пусть и глинистая, жизнь для нас, питекантропов, куда дороже существования этого обрубленного тополя. Кто именует его Вселенной, кто матерью-природой, кто Богом, которому мы необходимы для превращения солнечной энергии в крахмал и кленовый сироп.

Твоей-то правде нужно было, чтоб смертну бездну преходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился и чтоб чрез смерть я возвратился, Отец! В бессмертие твое.

Аэронавту Мещерскому было жалко убивать боцмана Перфильева. К тому же, как гласит мудрая русская пословица, человека истребить – не программу с компьютера удалить. Во втором случае все чисто. Перезагружаешь машину – и софт опять заводится как новенький. С человеком сложнее. Во-первых, если заведется, то уже в другом измерении в другой жизни. Будет беспилотный, в смысле, бесплотный, в тунике или тоге с пурпурной полосой по краю, уж не знаю, во что у них там, в раю, облачаются. И вот так, запросто, уже не выпьешь с ним возбуждающего напитка vodka, не закусишь соленым грибом или ломтиком трески горячего копчения. Во-вторых, то, что мы называем человеком, неотделимо от его телесной оболочки. Я видел на YouTube расплывающиеся черно-белые кадры, снятые беспристрастной видеокамерой наблюдения во время ограбления банка. Смертельно раненные жертвы не читали монологов из пьес Расина, не проклинали своих убийц. Они просто кричали, как дети или зайцы. Жалобно так. И действительно, когда попадает в твое белое тело пуля из автомата или иного огнестрельного оружия, прежде всего очень больно.

Нет, в кинематографических фильмах этого не показывают.

И когда ты ударяешь живого человека, своего, по правде сказать, приятеля, ножом в певчее горло, он исходит истошным криком от страдания и страха, пока хватает дыхания, а из перерезанной артерии фонтаном хлещет кровь, заливая рубашку умирающего (желтый вельвет в мелкий рубчик с вытканными васильками), его грудь, руки, живот. Крови поразительно много, на ощупь она неожиданно горяча. Ты приходишь в ужас, стараешься зажать рану ладонью, суетливо шепчешь что-то жалкое – но уже поздно.

Папа, ты бы успокоился, а? Ну что ты пишешь мне про такие страсти. Забудь про своего гнусного аэронавта, который тебя регулярно спаивает. Заявится в следующий раз – выгони, сошлись на плохое настроение или занятость. У тебя за плечами огромная жизнь, полная приключений и прекрасных воспоминаний. Перед тобой – тоже немало лет достойной зрелости. Будем жить рядом, путешествовать, заниматься вместе русским языком. Помнишь, ты мне читал стихи какого-то старого поэта?

Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслажденья средь горестей, забот и треволненья. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Я тогда не понял, почему он говорит «други» вместо друзья, а еще спрашивал тебя, не алкоголик ли твой поэт, мечтающий в старости «упиться». А сейчас вижу, что стихи совсем неплохие, мудрые.

Твой метафизический кленовый сироп напомнил мне одно давнее мартовское воскресенье, когда мы отправились на ферму. Я никуда не хотел, потому что за неделю до того ты принес для мамы новенький Макинтош – с таким же экраном размером с ладошку, как твой старый, зато не черно-белый, а цветной, с жестким диском аж в одну сотую сегодняшней флэшки. Одноклассники завидовали: им не дозволялось играть на родительских компьютерах а я мог пользоваться и твоим, и маминим, разумеется, когда они были свободны. Дисковод поскрипывал, как несмазанная дверь под сквозняком, пока томительно долго, минуты три, загружалась моя любимая стрелялка. «Лучше бы ты читал», – вздыхала мама, но я притворялся, что не слышу. (Надо сказать, что книг у нас в доме было больше, чем у всех моих товарищей по школе вместе взятых.) И русские детские книжки, привезенные из Москвы или купленные у Камкина, занимали две полки у меня в комнате. К счастью, вам удалось меня уговорить. Часа полтора тащились на автобусе, потом пересели на старенький мини-вэн хозяина, дежуривший у остановки. День стоял солнечный и теплый, но снег за городом еще и не думал таять. Я смотрел на безлиственный кленовый лес и не мог поверить, что деревья уже начали просыпаться. Путешествие по лесу: мои высокие ботинки утопают в мягком снегу, ноги быстро промокают – но мама припасла сухие шерстяные носки, так что не беда. Почти ко всем стволам прикручены оцинкованные ведра, в которые капает мутноватый сок из проделанных в древесине отверстий со вставленными трубочками. Сок, отчерпанный одноразовым стаканчиком, свеж и холоден, однако почти несладок. Отогреваемся в столовой, где подают праздничный обед: запеченную ветчину с кленовым сиропом, вареную брюкву, гороховый суп. Все, как двести лет назад или, во всяком случае, двадцать, когда на такой же весенний праздник родители возили маму. Вместо второго я закусываю суп домашним хлебом из серой муки, политым тем же сиропом. Горожане наслаждаются чистым воздухом и деревенской пищей, пьют чай с кленовым сахаром, шумят, смеются. Почти все – с детьми. Десерт на улице: кто-то из хозяев льет горячий кленовый сироп на мокрый снег в железном лотке, вставляет в каждую порцию отдельную лучинку. Сироп застывает, превращаясь в леденец, вкуснее которого нет ничего на свете. Мама согласна. (Собственно, ей и принадлежала идея поездки.) Ты рассказываешь мне, что на советские праздники на улицах тоже продавались леденцы в виде петушков, правда сделанные из обычного сахара. Дети соблазнялись на ядовито-красные, а родители объясняли им, что коричневые лучше, потому что содержат натуральную карамель, а не химический краситель. И еще повсюду продавались воздушные шарики, наполненные водородом из баллона, с хвостиком, перевязанным бечевкой. И мячики на тонкой аптечной резинке, изготовленные не то из ваты, не то из мятой бумаги и обтянутые конфетной фольгой.

Здорово было бы когда-нибудь сесть и написать вдвоем книгу о нашем детстве. Знаешь, я думаю, что материальная сторона жизни у всякого поколения и в каждой стране своя, неповторимая, со своими маленькими радостями и огорчениями. Несколько недель подряд ты читал мне книгу про доисторического мальчика. Все казалось необычным – охота на

мамонтов, шкуры, потухший костер в пещере, суливший гибель всему племени. И все же суть жизни – для всех общая. Написать такую книгу, обнаружив узелки, черты сходства между людьми, выросшими в разное время и в совершенно разной обстановке, но всетаки любящими друг друга. Ведь когда близкие делятся друг с другом воспоминаниями, разве это не означает взаимного духовного обогащения? Правда, я не слишком хорошо владею пером, но на это есть ты с твоим недюжинным талантом журналиста. Ты мог бы приступить к работе прямо сейчас. Подозреваю, как скучно тебе в этой дыре, к тому же без своего угла. Я слышал, что за счет нефтяных денег в России значительно повысилось качество жизни. Укрепилось книгоиздание. Уверен, что и твои книги пользовались бы спросом.

Только не думай, дорогой мой папа, что я уговариваю тебя жить прошлым. Занося его на бумагу, ты творишь настоящее, да и будущее для грядущих читателей. Не хандри, мой милый, лучше прислушайся к моему совету. Кстати, сегодня отправил тебе посылочку из русского магазина. Твои любимые соленые огурцы, охотничьи сосиски, несколько банок шпрот, конфеты «Мишка на севере» и пачка индийского чая со слонем, того, который ты все время привозил из Москвы, и буханка черного хлеба в хорошем воздухонепроницаемом пластике. Не тоскуй, не падай духом – скоро увидимся. Я уже заждался.

31

Обрабатывая попавшие мне в руки материалы, я старался по возможности ничего в них не изменять, считая, что в таком случае они будут обладать более значительной художественной ценностью. К сожалению, сложное душевное состояние авторов приведенной выше переписки не могло не повредить такому простейшему, но необходимому аспекту, как связность повествования. Любому читателю, чтобы не чувствовать себя одуроченным, даже из самого залихватского

дискурса все-таки хочется извлечь некий сюжет.

Для облегчения этой естественной задачи привожу несколько конкретных обстоятельств, имеющих отношение к изложенной истории.

Наш ньюфаундлендский узник, назовем его Иваном, родился, как и я, в 1950 году. Его отец Сергей Свиридов – в 1929 году. Мать его (соответственно, бабушка Ивана), лейтенант НКВД, в 1938 году была осуждена на десять лет заключения в ИТЛ без права переписки. Скончалась 10 ноября 1938 года от острой сердечной недостаточности. Сын, как уже упоминалось, вырос в детском доме в Карагандинской области. Служил в Советской армии в подмосковном городе Химки. Наталья Свиридова, мать Ивана, познакомившись с кротким солдатом в 1948 году в Парке Горького у комнаты кривых зеркал, через два месяца вышла за него замуж. Их единственный сын Иван был исключен с четвертого курса филологического факультета МГУ за распространение клеветнической литературы, содержащей заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Через год получил повестку в армию и достаточно вежливое предложение уехать за границу. Выбрал второе. Обыкновенная история тех времен, излагать которую в подробностях не стану за ее тривиальностью.

Близко дружил с сочинителем Сципионом, исключенным из университета раньше, но высланным за границу одновременно с ним и по тому же делу. В Риме, перевалочном пункте для эмигрантов из России, собирает на Форуме глиняные черепки. Проливает слезы восторга и умиления в продуктовых лавках. Страдает от тоски по утраченной родине. В качестве окончательной страны назначения выбирает не США, как все, но Канаду, ссылаясь на невозможность дальнейшего проживания в одной из великих держав. Сципион, выхлопотав

себе социальное пособие, поселяется в Вермонте, ссылаясь на благотворность этой земли для сочинителей. Сходится с Летицией, живет с ней года полтора. Бросает беременную, процитировав Борхеса: зеркала и совокупление одинаково отвратительны, ибо умножают число живущих. Иван Свиридов делает предложение руки и сердца вернувшейся в Канаду временной жене своего друга (поступившей тем временем в аспирантуру кафедры славистики), которое она со смешанными чувствами принимает. Роды. Счастливый отец перерезает ножницами пуповину. Младенец Леонид радостно кричит.

Далее везде.

Скромный быт четы Свиридовых в обаятельном и почти европейском Монреале (где я и сам прожил больше четверти века). Улочки, парки, наружные лестницы, выстланные джутовой рогожкой – чтобы не поскользнуться. Серые шпили церквей, переоборудованных в кондоминиумы, летом – джазовый фестиваль, зимой – катание на коньках по замерзшему пруду в парке Лафонтен, олимпийский стадион с недостроенной съемной крышей. Трущобная квартирка за двести долларов в месяц, однако с подвалом и задним двором, где на пяточке в пару квадратных метров, расчищенном от щебня и обломков кирпича, выращивается кинза, кресс-салат и маргаритки. Дощатые полы выстланы коврами, удачно подобранными на помойке. Любовь. С милым рай и в шалаше. Неудачные заработки отца (копеечная эмигрантская журналистика, переводы), стипендия матери. Пособие на ребенка откладывается на особый счет в банке – заплатить за обучение сына в университете. (В конечном итоге хватило на полтора курса.) С определенных пор старый друг Сципион регулярно навещает счастливую чету, к большому неудовольствию мужа.

За десять лет Россия неузнаваемо изменяется. Сципион проводит там по шесть-семь месяцев в году, наслаждаясь долгожданной славой. Впрочем, Иван также пристроился в некую сомнительную фирму и часто бывает на родине. Занятно, что путешествуют они, как правило, в противофазе. Бывает ли в это время Сципион в гостях у Летиции и своего биологического сына – неизвестно.

Мальчику исполняется десять лет. Его происхождение охраняется в семье подобно государственной тайне. Он увлекается первыми компьютерными играми и коллекционированием комиксов. Предмет особой гордости – выпуск 1948, что ли, года, где погибает Супермен. Обошелся в три месяца откладывания скудных карманных денег, нечитанный, в ломком целлофане. Супруга, защитив диссертацию, выигрывает конкурс на должность доцента в далеком и провинциальном Ньюфаундленде. «Наконец-то новая жизнь!» – восхищенно восклицает Свиридов, целуя любимую жену в прядку русых волос, трогательно опускающуюся на ухо. («И никаких Скорпионов», – собирается добавить он, но благоразумно воздерживается, потому что обсуждать эту тему между ними не принято.)

Вылет в Сент-Джонс с парой чемоданов (контейнер с основным имуществом прибудет осенью). Двухэтажный дом на склоне холма с видом на тихую гавань, по которой прямо под окнами высятся, проплывая, величественные белые корабли. Венценосный август, обустройство нового жилья. «У меня никого нет дороже тебя и сына», – шепчет Свиридов жене. Она молчит. Поют дрозды, мерцают скромные звезды, постельное белье пахнет свежескошенной лавандой.

Через две недели в дверь квартиры раздается звонок. Бесценная Летиция с утра ушла в университет. Свиридов неохотно спускается из своего кабинета, где трудится над очередным бизнес-предложением для упомянутой сомнительной фирмы, кажется, по строительству в Москве современного мясокомбината для переработки сибирских медведей в докторскую колбасу. В дверях стоит улыбающийся до ушей сочинитель Сципион. «Самолет из Москвы в Нью-Йорк остановился на вашем богоспасаемом острове на дозаправку, – разъясняет он. – Чем черт не шутит! Уговорил пограничников меня выпустить, благо летел без багажа. Господи, как я по вас соскучился!»

В полутемном магазине подержанных вещей, пропахшем пылью и залежавшейся старой одеждой, Свиридов в свое время за гроши приобрел прекрасный кухонный нож золингенской стали. Знаменитый сочинитель, сидя спиной к нарезавшему хлеб товарищу, стал говорить о том, что и сам бы пожил годик-другой в Ньюфаундленде с его базальтовыми скалами, вересковыми пустошами и дикими зайцами, может быть, снял бы комнатку поблизости, если даже не у них в доме. Недавно наточенный нож перерезал ему горло почти так же легко, как батон хлеба. Полагаю, он даже не успел понять, что произошло.

Прибывшая вечером по вызову Летиции Скорая помощь забрала как труп, так и безнадежно утратившего рассудок убийцу. На следующий день несчастная молодая женщина лишила себя жизни (талантливо разыграв несчастный случай, чтобы сын не потерял страховку; из уважения к ее памяти не стану рассказывать, каким способом). В дополнение к страховке кафедра славистики выделила посильную сумму на приобретение двух соседних участков на кладбище. Мальчик Леонид остался в Монреале с бабушкой.

Что до нашего героя, то его доставили под конвоем в здание губернского дворца Фемиды, чтобы представить судье, который тут же вынес необходимое постановление. Почти все десять лет в больнице для особо опасных преступников он находился в растительном состоянии. По освобождении был направлен в обычную психиатрическую лечебницу по месту последнего жительства. За полгода, проведенных там, успел накопить граммов пятьдесят разноцветных таблеток, которые одним смутным вечером и проглотил, закатав в хлебный мякиш и запив стаканом ямайского рома.

Остается добавить, что злополучного самоубийцу похоронили рядом с любимой женой. Место освободилось года два назад, когда российское министерство культуры и фонд, по-моему, Горбачева организовали перевоз праха трагически погибшего Сципиона в Переделкино, на писательское кладбище. Почти не владеющий русским языком Леонид, узнавший семейную тайну из предсмертной записки матери, присутствовал на церемонии в качестве почетного гостя, и немногочисленная толпа, шушукаясь, поражалась его удивительному сходству с покойным.

## Примечания

1

Знак представляет собой вышитый на краповом сукне овал с мечом, серпом и молотом в центре. От майора госбезопасности и выше – овал золотистого цвета, меч, серп и молот – серебристого. От капитана госбезопасности до сержанта госбезопасности включительно овал и клинок меча – серебристого цвета, эфес меча, серп и молот – золотистого цвета. В соответствии с приказом № 396 от 27 декабря 1935 года знак носится на левом рукаве на 10 см выше локтевого сгиба.

2

Воротник гимнастерки стояче-отложной с застежкой на два крючка и петли. На воротнике

нашиты петлицы. Передний разрез гимнастерки прикрыт планкой и имеет открытую застежку на трех малых форменных пуговицах. На груди два накладных кармана с трехмысковыми клапанами, с застежкой на одну малую форменную пуговицу. Рукава – двухшовные, с двумя складками внизу, с разрезными обшлагами-манжетами, с застежкой на две малые форменные пуговицы. На воротнике и обшлагах гимнастерка имеет малиновый кант. Брюки изготавливаются из шерстяной ткани темно-синего цвета. Они состоят из двух передних и двух задних половинок, имеют два боковых прорезных кармана, один часовой карман, один задний карман, два поясных затяжника и внизу штрипки. Брюки застегиваются на пять пуговиц и один крючок. По боковому шву брюки имеют малиновый кант.

3

Первый этап изготовления лайки именуется шакшеванием. Для приготовления шакши разводят собачьи экскременты водой и массу подвергают гнилоственному брожению 2–3 недели; для употребления эту массу разбавляют теплой водой и в такой жидкости держат кожи 4–12 часов, часто перемешивая палками. Для приготовления дубильной смеси растворяют в кипящей воде квасцы и поваренную соль, затем в чане, назначенном для дубления, замешивают муку в тесто с теплой водой, прибавляют яичных желтков, предварительно размешанных в воде, затем квасцовый раствор, достаточно охлажденный, и все хорошо перемешивают.

4

Я хотел бы сейчас сдохнуть, просто сдохнуть. Не осуждайте меня ( фр .).

5

В Интернете обнаружилась следующая информация: «Знаменитый “русский негритенок” из картины

“Цырк!” . Сын афроамериканца, оставшегося в СССР и здесь трагически погибшего, и театральной художницы Веры Араловой. Закончил нахимовское училище, старший лейтенант подводного флота. Затем советский поэт с главной темой – дружба России и Африки». Еще ссылка: «В последние годы Джиму Паттерсону и его матери жилось особенно трудно. Напечатать сборник стихов, заработать на жизнь стало практически невозможно. Ни пенсии матери, ни пенсии сына явно не хватало. Долгое время они жили на средства, которые имели от сдачи внаем квартиры. В конце концов Джим распродал мебель, раздарил вещи друзьям и знакомым и купил в авиаагентстве билеты за океан. Сейчас он живет в Вашингтоне. Рассказывают, что Джим с выставкой картин своей матери ездит по стране, зарабатывает деньги. Пробовал он сниматься и в кино, но из этого ничего не вышло. И по-прежнему он пишет, пытается издать на английском языке сборник стихов. Одним словом, всеми возможными способами старается заработать на жизнь. Как выяснилось, жить в Америке ничуть не легче, чем в России...» (Добавлю, что в моей повести вольно цитируются и многие

другие интернет-источники и архивные материалы, перечислить которые представляется невозможным за недостатком места.)

6

«Слова о том, что марши Дунаевского заглушали стоны репрессированных в 1937 году, – это гадкие слова! Он не был композитором, заглушающим стоны. Он просто видел радость жизни, он любовался ясным небом. Он видел, сколько в этой стране хороших людей, и воспевал их жизнь. И в день 100-летия со дня рождения этого

абсолютно великого композитора еще раз хочу напомнить, какого замечательного, бессмертного соловья из Лохвицы имело наше Отечество. Музыка эта будет звучать всегда. Вот за это я ручаюсь» (интернет-газета «Дуэль», 2000, стиль и жирный шрифт источника).

7

Габардин – шерстяная ткань, вырабатываемая из мериносовой пряжи, очень тонкой, крученной в два конца для основы, и менее тонкой, одинарной, – для утка. Благодаря применению особого вида переплетения – сложной саржи – на лицевой поверхности образуется резко выраженный мелкий рубчик, идущий наклонно под углом 60–70°. Из габардина шьют весенне-летние мужские и женские пальто, а также костюмы и некоторые виды офицерского обмундирования. Шевиот – мягкая шерстяная ткань саржевого переплетения, сотканная довольно редко. Ее подвергают валянию и стрижке. Шевиот бывает только одноцветным – серым, черным, синим. Используется в основном для шитья верхней одежды. Молескин – тяжелая плотная прочная ткань усиленного сатинового переплетения с гладкой поверхностью, гладкокрашенная.

8

Пишущая машинка – механическое, электромеханическое или полностью электронное устройство, оснащенное набором клавиш, нажатие которых приводит к печати соответствующих символов на документе. Широко использовалась в XIX–XX веках. В настоящее время пишущие машинки по большей части вышли из употребления, их функцию стали выполнять персональные компьютеры. Нанесение символов на поверхность бумаги выполнялось с помощью специальных рычагов, заканчивающихся площадками с металлическими или пластиковыми литерами. При нажатии соответствующей клавиши такой рычаг ударял по пропитанной чернилами ленте и оставлял, таким образом, отпечаток литеры на подводимом листе бумаги. Перед печатью следующего символа выполнялся автоматический сдвиг бумажного листа (и, как правило, ленты). Для печати нескольких копий одного и того же документа использовались листы копировальной бумаги, прокладываемые между обычными бумажными листами.

Я молю, как жалости и милости,  
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых  
Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженный  
Индевеет – денежный, обиженный...

Но фиалка и в тюрьме – с ума сойти  
в безбрежности!  
Свищет песенка-насмешница, небрежница,

Где бурлила, королей смывая,  
Улица июльская кривая.

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле  
Государит добрый Чаплин Чарли, —

В океанском котелке с растерянною точностью  
На шарнирах он куражится с цветочницею...

Там, где с розой на груди в двухбашенной  
испарине  
Паутины каменеет шаль,

Жаль, что карусель воздушно-благодарная  
Оборачивается, городом дыша, —

Наклони свою шею, безбожница  
С золотыми глазами козы,

И кривыми картавыми ножницами  
Купы скаредных роз раздразни.

О.Э. Мандельштам, 3 марта 1937 года

10

Галалит – роговидная пластмасса на основе молочного белка (казеина), дубленного муравьиным альдегидом.

11

В состав комплекта снаряжения входят: 1. Поясной ремень – шириной 50 мм с двухшпильковой пятистенной пряжкой и находной шлевкой; для придания стойкости и внешнего вида с внутренней стороны ремень подшит тонкой кожей и прострочен. 2. Две поясные короткие муфты – каждая муфта имеет одно полукольцо вверху и два полукольца внизу; к верхним полукольцам пристегиваются концы плечевых ремней, к нижним – полевая сумка и короткий и длинный пасики для шашки. 3. Два длинных задних плечевых ремня –

один конец ремня имеет отверстия для шпенька пряжки передних плечевых ремней; на другом конце пробито по два отверстия с прорезями и имеется по одной запонке для пристегивания к верхним полукольцам короткой муфты и носильных петель кобуры. 4. Два коротких передних плечевых ремня – на одном конце каждого ремня пришита пятистенная одношпеньковая пряжка, на другом пробито по два отверстия с прорезями и имеется по одной запонке для пристегивания к верхним полукольцам короткой муфты и носильных петель кобура. 5. Кобур для револьвера – с двумя поясными носильными петлями, нашитыми на наружной стороне задней стенки кобура и гнездами для протирки; каждая петля имеет в верхней части полукольцо для пристегивания концов переднего и заднего плечевых ремней. 6. Полевая сумка – с двумя носильными ремнями, нашитыми на наружной стороне задней стенки; к концам носильных ремней пришиты застежки-карабины, с помощью которых сумка пристегивается к нижним полукольцам поясных муфт. 7. Палетка – двухстворчатая, с плечевым носильным ремнем и матерчатой прокладкой между пластинками целлулоида. 8. Револьверный ремень – с двумя малыми карабинами по концам для пристегивания к кольцу рукоятки револьвера и полукольцу носильной петли кобуры или пятистенной пряжки переднего плечевого ремня. 9. Чехол и шнур для свистка – надеваемые на длинный правый задний плечевой ремень. 10. Короткий пасик для шашки. 11. Длинный пасик для шашки. 12. Фляга – емкостью в 3/4 литра; алюминиевая, с навинчивающейся пробкой. 13. Чехол для фляги – суконный, с ремненным приспособлением для надевания фляги на поясной ремень.

12

Метод длинного сброса (long drop) изобретен в Америке в 1872 г. Уильямом Марвудом (William Marwood) в качестве научной гуманной альтернативы традиционному методу повешения (short drop), приводящему к мучительной смерти от удушья (асфиксии). Он предусматривает использование веревки, длина которой рассчитывается по специальным таблицам в зависимости от веса приговоренного, и высокой платформы, снабженной люком. В конце падения тело приговоренного продолжает ускоряться за счет силы тяжести, однако его движение ограничивается за счет петли, надетой на горло. Если узел петли расположить слева под нижней челюстью, то голова в момент остановки поворачивается назад, что в сочетании с инерцией движения тела вниз обеспечивает перелом шейных позвонков и разрыв спинного мозга, т. е. мгновенную потерю сознания и быструю смерть.

13

В ходе строительства писательского поселка возникла необходимость переселения отдельных местных жителей. Вопрос был решен с максимальной справедливостью: переселенцам выделялся участок в том же районе, не далее двух-трех километров от прежнего места жительства, и достаточное количество средств для нового строительства, а также лимиты на дефицитные стройматериалы, с сохранением членства в колхозе; привлеченным к обслуживанию Дома творчества предоставлялись отдельные квартиры или комнаты в бараках новой постройки. Жалоб ни от одного из переселяемых не поступило.

14

Мужские, пыльниковые, стебли конопля – это посконь, бессемянка, а женские, с семенем, – непосредственно конопля (пенька). Как только запылит над конопляником, пора дергать посконь. Это значит, что женские стебли опылились и теперь посконь необходимо убрать, связать в снопы. Когда снопы подсыхали, их расстилали на солнечной полянке, предварительно обив с корневищ землю. Высохшую посконь убирала под навес, затем мяли мялками, выбивая кострику, и расчесывали гребенками. В результате получалось волокно, которое пряли на самопряхе, а из полученных ниток на стане ткали посконное полотно. Его отбеливали в щелоке и расстилали на лужайке под солнцем. Чтобы добиться лучшей белизны, процедуру повторяли не один раз. Полотно предназначалось для мужских штанов и рубах, используемых в качестве рабочей одежды, а иногда и для нижнего белья. Рубахи и портки шили теми же посконными нитками, из которых ткали полотно. Предварительно их сучили (из воспоминаний С.Т. Редичева о своем детстве в начале 30-х годов, «Наука и жизнь», 2005).

15

Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай (англ .).

16

Портянка – нижнее белье, прямоугольный (примерно 35 x 90 см) кусок теплой и прочной ткани, который использовался в старину вместо носка. Портянки носили с лаптями (см. также онучи) или с сапогами. В настоящее время портянки широко используются в Российской армии. Для того чтобы портянка не разматывалась при ходьбе и беге, ее нужно особым образом плотно наматывать на ногу. Наматывать портянку следует от носка ноги и непременно «наружу», а не «внутри», чтобы при ходьбе она не сбивалась и не натирала ногу. Нога в портянке практически завернута в два слоя ткани, что лучше сохраняет тепло, а при кратковременном попадании в воду намокает только наружный слой портянки. Портянки бывают двух видов: летние и зимние. Летние портянки изготавливаются, как правило, из сукна либо из хлопка (зависит от производителя), зимние – из байки либо из ткани составом 50 % хлопка и 50 % шерсти.

17

Может быть, это точка безумия,  
Может быть, это совесть твоя —  
Узел жизни, в котором мы узнаны  
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных  
Добросовестный свет-паучок,  
Распуская на ребра, их сызнава  
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,  
Направляемы тихим лучом,  
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,  
Словно гости с открытым челом, —  
Только здесь, на земле, а не на небе,  
Как в наполненный музыкой дом, —  
Только их не спугнуть, не изранить бы —  
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...  
Тихо, тихо его мне прочти...

О.Э. Мандельштам, 15 марта 1937 года

18

«Я и впрямь задним умом крепок» (  
фр .).

19

См. в Интернете тему «Грузинская кухня».

20

Вычеркнуто главным врачом больницы.